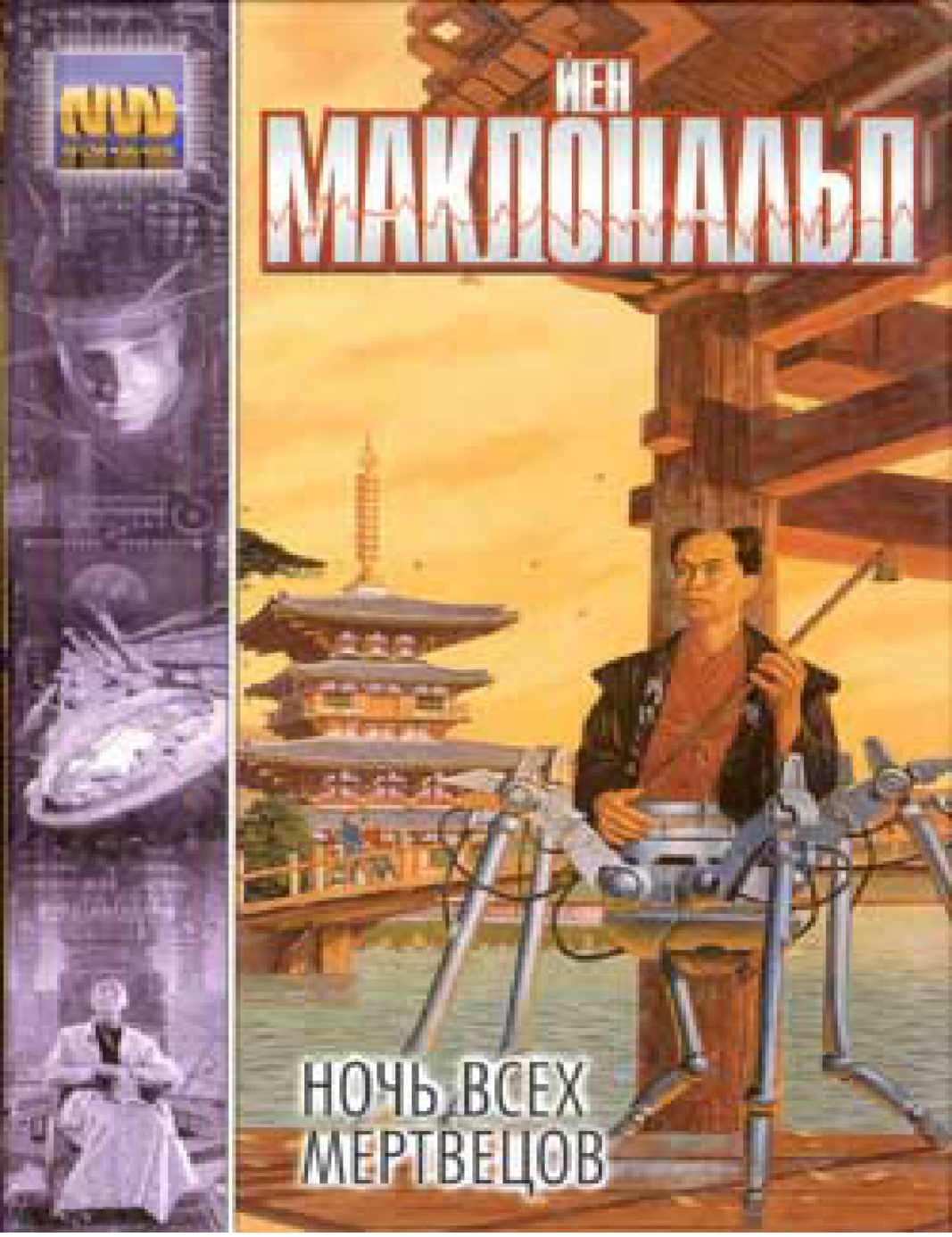
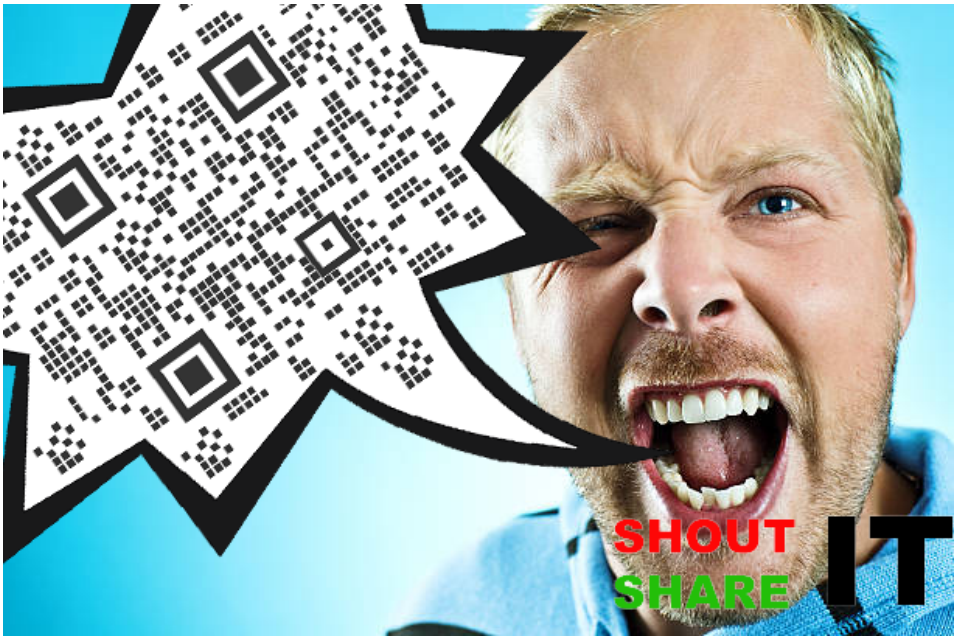

ИЕН
МАКДОНАЛЬД
НОЧЬ ВСЕХ МЕРТВЕЦОВ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Перед вами — АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФАНТАСТИКА!!! Острая. Парадоксальная. Забавная. Горькая.

Заставляющая читателей восхищаться — и возмущаться, спорить — и обсуждать прочитанное.

Фантастика, которая не оставит равнодушным НИКОГО!

Йен Макдонапьд. Подлинная «звезда» британской фантастики наших дней — и... писатель, известный отечественному читателю лишь по немногим журнальным публикациям.

Перед вами — ПЕРВОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАНИЕ Йена Макдональда, создателя поистине уникальных по силе и оригинальности миров.

Здесь воскрешенные мертвецы, составляющие почти треть населения Земли, устраивают грандиозные вечеринки, интернет-журналисты расследуют СТРАННЫЕ паранормальные события, а Чага, инопланетная флора, меняет людей по собственному сюрреалистическому разумению.

Это — повести Йена Макдональда, автора, по словам критиков, обладающего даром «помещать в самые нереальные миры реальных людей».

Не пропустите!

- Макдональд Йен — Ночь всех мертвецов
  - ○
  - ○ НОЧЬ ВСЕХ МЕРТВЕЦОВ
    - ■
    - ■ понедельник
    - ■ вторник
    - ■ среда
    - ■ четверг
    - ■ пятница
    - ■ суббота
    - ■ воскресенье
  - ○ КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА...
  - ○ ИСТОРИЯ ТЕНДЕЛЕО

Макдональд Йен — Ночь всех мертвецов

Содержание:
Ночь всех мертвецов
Камень, ножницы, бумага
История Тенделео

НОЧЬ ВСЕХ МЕРТВЕЦОВ

© Перевод С. Силакова, 1999.

понедельник

На горе у Сола полетела передача. Случилось это так: он переключился на шестую скорость, чтобы одолеть крутой подъем. Но шестой скорости не оказалось. Ни пятой, ни четвертой — одна нулевая.

Элена, уже достигнув вершины, насмехалась над тем, как он надрывается и потеет на вьющейся между сосен тропке. Его набухшие мускулы стали похожи на узловатые стволы мезозойских хвойных деревьев, вены и сухожилия натянулись, как канаты висячего моста. Но тут она увидела, что зубчатка отломилась и крутится сама по себе.

Их велосипеды уже успели доблестно выдержать тяжелый переход через горную пустошь, что раскинулась к югу от Ногалеса. Две тысячи долларов штука — но продавец поклялся девичьей честью всех своих незамужних сестер, что эти внедорожники фирмы МТВ проедут где угодно, исполнят любое желание седока — хоть сам пик Эль-Капитан покорят, если надо. И вот на пятый день похода — в трех днях пути от ближайшего дилера фирмы «Дерт-Лобо», как сообщила карманная электронная карта Элены, — зубчатая передача превратилась в две одинаковые половинки. А впереди еще десять дней, еще четыреста миль, еще пятьдесят гор, которые так нравятся Соломону Гурски. И все нужно пройти на высшей передаче.

— Вы это должны были предвидеть, господин инженер, — заметила Элена.

— Когда я плачу за велик две тысячи баксов, я никому ничего не должен, — ответил Соломон Гурски. На вершине высокой горы Кровь Христова было жарко — полуденный зной, пропахший смолой престарелых сосен. Знойное марево заволакивало обе долины — ту, откуда Сол с Эленой приехали, и ту, куда они держали путь. — И вообще, знай — я не по этой части инженер. Мои шестеренки гораздо меньше. И, кстати, не ломаются.

Элена отлично знала, по какой части он инженер, да и он знал, каких наук она доктор. Но их роман только начинался — он был в той стадии, когда коллеги по научной работе, сделавшись, к собственному удивлению, любовниками, с огромным удовольствием прикидываются почти незнакомыми между собой.

Согласно карте Элены, в пяти милях ниже по долине имелся населенный пункт. Он назывался Реденсьон. Вполне возможно, что там найдется умелый и расторопный сварщик, ничего не имеющий против норте-долларов.

— Твое счастье — поедем под горку, — сказала Элена,

оседлала, сверкнув ярко-синими стегаными шортами, велосипед и пулей унеслась вниз. Не прошло и секунды, как Сол Гурски (рубашка-шорты-туфли-очки-шлем), продираясь сквозь заросли шалфея, устремился вслед. Их отношения все еще не стали привычкой, был тот упоительный период, когда страсть разгорается при одном взгляде на обтянутую ярко-синей лайкрой попку.

Реденсьон значит «избавление». И поселок действительно был избавлением от проблем, какие только возможны в этих приграничных горах: здесь имелись бензоколонка, магазин и кемпинг с трейлерами, где можно было поселиться на день, на неделю или, если вам совсем уж некуда деваться, на всю жизнь. Кафе для дальнобойщиков и джакузи для ночного активного отдыха прямо под звездным небом приграничья. Никаких сварщиков. Вместо них — кое-что получше. Всплывшая из жаркого марева густая крона солнечного дерева — такова была первая примета, подсказавшая ехавшим по дряхлому, покрытому трещинами, пустынному шоссе путникам, что Реденсьон уже рядом.

Завод находился в уродливой кирпичной пристройке к домику, где торговали бензином и едой. Сол и Элена обогнули домик. За ними, плененный этими разряженными в попугайские цвета фантастическими существами с колоссальными очками-консервами вместо глаз, увязался какой-то шофер-дальнобойщик. На ходу он жевал сандвич. Других дел в Реденсьоне в этот знойный понедельник он явно не нашел. Что до Хорхе, хозяина заведения, то он выглядел слишком молодо для того, чтобы торговать бензином, едой, прицепами и прочими молекулами в Реденсьоне — в зной ли, в холод. Хорхе было лет тридцать (тридцать-плюс-жизненный-опыт). Брюнет с серьезным лицом. В нем чувствовалась какая-то надломленность. Элена сказала Солу по-английски, что у Хорхе, похоже, тяжело на душе. Но сломанной передачей он занялся рьяно, сам помог Солу снять ее с заднего колеса. Восхищенно воззрился на ровненький, гладкий разлом.

— Это я могу сделать, — заявил он. — Работы на час-полтора. А пока не хотите ли освежиться в джакузи? — Последнюю фразу он произнес, морща нос, брезгливо принюхиваясь к двум велосипедистам, которые спустились с горы в самый жаркий час. Шофер ухмыльнулся. Элена нахмурилась. — Вас там никто не побеспокоит, — настаивал Хорхе, хозяин нанозавода.

— Есть что-нибудь попить? — поинтересовалась Элена.

— Конечно. Кока, спрайт, пиво, агуа-минераль* [минеральная вода *(исп.)*. — *Здесь и далее примеч. пер.*]. В магазине.

Элена обошла шофера, держась как можно дальше, и отправилась исследовать холодильник. Сол вошел вслед за Лорхе в цех и стал смотреть, как тот кладет передачу в сканер.

— Вообще-то это и моя профессия, — проговорил Сол из вежливости, пока лазеры производили трехмерную съемку маленького зубчатого зиккурата.

Сол сказал это по-испански. По-испански говорили все. Отныне испанский был всеобщим языком не только на южной, но и на северной территории.

— У вас завод?

— Я инженер. Я делаю эти штуки. Не сканеры — текторы. Я их конструирую. Наноинженерия.

Монитор сообщил Хорхе, что съемка завершена.

— Для корпорады «Тесслер», — добавил Сол, когда Хорхе запустил процессор.

— Что мне с ней сделать?

— Я хотел бы надеяться, что она больше не подложит мне свинью. Вы можете слепить ее из алмазов?

— Все на свете — лишь атомы, амиго.

Сол принялся рассматривать камеры нанопроцессора. Ему нравилось, что они были похожи на дистилляторы для виски: круглобрюхие, высокогорлые, они протыкали крышу завода и упирались в растопыренные пальцы солнечного дерева. Ох и крепкий же дух в этих дистилляторах — дух межгалактического вакуума, холод абсолютного нуля и призраки-текторы, которые снуют в студеной пустоте, тасуя атомы. Сол жалел, что законы физики не позволяют снабжать нанозаводы смотровыми окошечками. Жаль, что нельзя, опустив глаза, увидеть акт творения сквозь безупречно прозрачный бриллиантовый лист. Ну да ладно — пусть созидание вещей остается незримой для глаз тайной. Возможно, так лучше. Все на свете — лишь атомы, амиго. Да, но очень важно, что ты сделаешь с этими атомами, куда их погонишь. К каким странным сожительствам и мутациям принудишь.

Он вообразил себе, как крохотные — даже меньше вирусов — машины, умные связки атомов таскают углерод по корням нанозавода, что зарылись глубоко в землю Реденсьона. Поднимают его по капиллярам к камере процессора, лепят из него алмазы в заказанной им, Солом, форме.

Алмазная передача для велосипеда.

Сол Гурски поежился в своей легкой амуниции велотуриста — холод нанопроцессора пронзил его душу.

— Это тоже мой ребенок, — сказал он. — Я конструировал для него текторы.

— Я в этих делах мало понимаю. — Хорхе достал из стоявшего на полу ящика пару бутылок пива. Открыл их о дверной косяк. — Купил всю лавочку целиком у одного человека два года назад. Он уехал на север, в Трес-Вальес. Вы оттуда?

Пиво было холодное. В несравнимо более глубокой, темной, холодной утробе процессора суетились наномашины.

— Оттуда — как и все.

— Ну, пока еще не все... Как вы сказали, где вы работаете? «Нанознс»? «Эворт-Оз-Вест»?

— «Тесслер-корп». Заведую лабораторией биологических аналогов.

— Никогда о такой не слышал.

«Еще услышите», — собирался сказать Соломон Гурски. Но тут раздался крик.

Крик Элены.

Нет, подумал он на бегу, дело было не в том, что он узнал голос Элены (на данной стадии отношений такого в принципе не могло быть), просто он знал, что тут больше некому кричать.

Она застыла у распахнутой задней двери «Бензина и еды», бледная и дрожащая в ослепительных лучах солнца.

— Простите, — проговорила она. — Я только хотела налить воды. В холодильнике простой воды не было, а кока-колы мне не хотелось. Я только хотела налить воды из крана.

Чувствуя спиной, что за ним идет Хорхе, Сол вошел в кухню. Мужской беспорядок: двадцать кружек с недопитым кофе, коробки от пончиков, пивные банки, молочные пакеты. Ложки, ножи, вилки. Он сам тоже так жил, и Элена вечно его песочила, что он не моет за собой посуду — просто берет каждый раз чистую. И тут Сол увидел за дверью фигуры. Откуда-то донесся голос Хорхе:

— Простите, но это мой дом.

Их было три: красивая, много потрудившаяся на своем веку женщина и две маленькие девочки, одна младшего школьного возраста, другая — не так давно научившаяся ходить. Они сидели на стульях, держа руки по швам, и смотрели прямо перед собой.

Лишь благодаря тому, что они не моргали, что их тела не вздымались в такт дыханию и сердцебиению, Сол догадался, кто перед ним.

Цветовая гамма была абсолютно адекватной. Он прикоснулся к щеке женщины, к свисающему темному локону. Все теплое, мягкое. Как у настоящей. Текстура — один в один кожа. Его пальцы оставили след на пыльной щеке. Они сидели не мигая, не шевелясь, женщина и ее дети, замурованные в склеп из своих личных вещей, а ныне — экспонатов. Фотографии, игрушки,

мелкие украшения, любимые книги и безделушки, гребни, зеркала. Картины и одежда. Вещи, из которых строится жизнь. Сол расхаживал между фигурами и их имуществом, зная, что вторгся в святилище, но влекомый необоримой силой к этим симулякрам.

— Это ваши? — где-то вдали спрашивала Элена, а Хорхе кивал, и его губы шевелились, но слова не получались. — Простите, пожалуйста, простите, ради бога.

— Сказали, разрыв, — произнес наконец Хорхе. — Ну знаете, эти шины, про которые говорят, что они сами себя латают и никогда не рвутся? Они порвались. Они полетели за барьер вверх тормашками. Так сказал шофер грузовика. Раз — и все, он видел, как они висят вверх тормашками. Точно время для них остановилось, понимаете. — Он замолк. — Потом у меня долго было темно перед глазами: совсем спятил, знаете? Когда я снова стал видеть жизнь, я купил вот это все на страховку и компенсацию. Как я говорю, все на свете — лишь атомы, амиго. Надо их расставить в правильном порядке. Загнать куда хочешь, заставить делать что ты хочешь.

— Извините, что мы зашли без спросу, — произнесла Элена. Но Соломон Гурски стоял среди реконструированных мертвецов, стоял с таким лицом, будто его взгляд, пронизывая близкие вещи, уперся во что-то далекое, увидел самого Бога.

— Здесь народ добрый. — Но улыбка Хорхе была мучительной, точно на лице рвались швы. — В таком месте могут жить только немножко чокнутые или которые сами не знают, чего хотят.

— Она была очень красивая, — проговорила Элена.

— И есть.

В солнечных лучах, проникавших в комнату через окно, роились сияющие пылинки.

— Сол?

— Ага. Иду.

Через двадцать пять минут алмазная передача покинула камеру. Хорхе помог Солу приладить ее к велосипеду, стоившему две тысячи норте-долларов. Затем Сол сделал круг вокруг магазина-бензоколонки-конторы-кемпинга, внутри которого под медленным дождем пыли восседали немигающие идолы мертвых. Сол переходил со скорости на скорость, повышал их и понижал. Первая-вторая-третья-четвертая-пятая-шестая. Шестая-пятая-четвертая-третья-вторая-первая. Потом он заплатил Хорхе пятьдесят норте — мизерную сумму, которую тот запросил за свои алмазы. Элена помахала Хорхе, и они выехали из Реденсьона на шоссе.

Они занимались любовью у костра, на вершине горы. Под

ними был ковер из сосновых иголок. Над ними — звезды. Их роман находился в фазе жадности, беззастенчивости, открытий. Давняя смерть, живущая в лежащей внизу долине, не позволяла им терять время зря. Потом он надолго замолчал, замкнувшись в собственных мыслях, а когда она спросила, о чем он думает, ответил:

— О воскрешении мертвых.

— Но они не воскресли, — сказала она, моментально поняв, что он имеет в виду — то же самое угнетало и ее на этой открытой звездам вершине. — Это просто изображения вроде картин или фотографий. Статуи воспоминаний. Симулякры.

— Но для него они реальны. — Перекатившись на спину, Сол уставился на теплые звезды приграничья. — Он мне сказал, что разговаривает с ними. Если бы его нанозавод мог заставить их двигаться, дышать и отвечать ему, он сделал бы это. И кто бы тогда осмелился назвать их нереальными?

Он почувствовал, как поежилась Элена.

— Что такое?

— Подумала об этих лицах. Представила их в реакторе, в холоде и пустоте, и как текторы по ним ползают.

— Ага.

Долго-долго — звезды успели передвинуться — никто из них не говорил ни слова. Потом Соломон Гурски ощутил внутри себя вновь разгорающийся жар и, обернувшись к Элене, ощутил тепло ее плоти, которая отчаянно жаждала его второй маленькой смерти.

вторник

Марша уже начинала беситься в своей пластиковой корзинке: металась из угла в угол, дергала решетку.

Сол Гурски поставил корзинку (типа тех, в которых обычно перевозят кошек) на сетчатое покрытие посадочной площадки и вгляделся в красновато-бурый смог, высматривая приближающиеся аэролеты. Фотохромные молекулы, приращенные к его зрачкам, потемнели — над ТВМА занималась заря очередного жаркого, ослепительного, ядовитого дня. Марша завизжала.

— Заткнись, проклятая, — прошипел Сол Гурски. Пнул корзинку. Марша, что-то тараторя, просунула свои ручки сквозь решетку, пытаясь дотянуться до свободы.

— Слушай, ну чего ты хочешь от обезьянки, — упрекнула Сода Элена.

«От обезьянки». В том-то и беда. Обезьяны раздражали его самим фактом своего существования. Иногда просто доводили до белого каления. Мелкие твари, миниатюрные гомункулусы, выдающие себя за людей. Ловкие маленькие пальчики, мудрые крохотные глазки, выразительные лица с ладошку. Но за этими лицами, за этими неотличимо-человеческими пальцами скрываются тупые животные.

Сол знал, что его неприязнь к обезьянам абсолютно алогична. Но все равно с огромным удовольствием убил Маршу, распятую суперпластырем на снежно-белом лабораторном столе. Намылить, выбрить, вонзить иглу.

Конечно, тогда она еще не была Маршей. Просто особью вида резус. Безымянным орудием из плоти и крови. Экспериментом номер 625G.

Наверное, она развизжалась из-за смога. Надо было достать для нее очки, в каких пуделей выгуливают. Но Марша вмиг сорвала бы их с себя своими маленькими человечьими пальчиками. Она умная — у нее хватило соображения остаться дурой обезьянкой.

Элена стояла на коленях перед корзинкой, играя в «сороку-воровку» со стиснутыми кулачками, торчащими Из-за решетки.

— Смотри, еще укусит.

У него самого рука все еще ныла. Мокрая, дрожащая, в спастическом состоянии после резервуара, Марша все же достаточно владела своей моторикой, чтобы повернуть голову и прокусить Солу большой палец до кости. Макака-вампир: вурдалачья жажда крови. Мерзкая тварь. Он с удовольствием

убил бы ее еще раз — не будь она бессмертной.

Все три существа на посадочной решетке подняли глаза к небу, когда сквозь завеси монотонного шума (от беспрестанно работающих двух миллионов автомобильных моторов) пробился рев двигателей аэролета. Он летел с юга, с той стороны долины, где на Гуверовском бульваре, прямо на линии тектонического разлома сама себя растила новая штаб-квартира корпорады. Он летел низко и быстро, опустив нос, воздев к небесам зад — точно огромный жук, чье дыхальце уловило пьянящий запах углеводорода. Окрестные пальмы закачались под воздушными струями из его турбин. Аэролет, перестроившись на вертикальный режим, опустился на посадочную площадку института. Сол Гурски и Элена Асадо закрыли руками свои уже защищенные от солнца глаза, спасаясь от взметенных в воздух листьев и пыли.

Марша носилась по своей пластмассовой клетке, вереща от ужаса.

— Доктор Гурски, — Солу показалось, что с этим конкретным корпорадистом он еще не встречался, но точно сказать было сложно — Адам Тесслер старался, чтобы его персональные ассистенты походили на клонов из его же нанопроцессора, — у меня не хватает слов, чтобы выразить восхищение мистера Тесслера вашей работой.

— Ты должна полететь со мной, — сказал Сол Элене. — Идея твоя. — И уже ассистенту: — Доктор Асадо должна полететь со мной.

Элена пригладила свои всклокоченные воздушными струями волосы:

— Нет, Сол, там мне не место. Это было твое дитя. Ты его выносил и родил. И потом, ты же знаешь, ненавижу общаться с «пиджаками».

Последнее предназначалось для улыбчивого ассистента — но тот уже вел Сола к распахнутой дверце.

Сол пристегнул ремни, и воздушный корабль, запустив турбины, накренился. Сол проводил глазами Элену — та, помахав рукой, побежала обратное зданию института. Крепко вцепившись в корзинку, ощутил что-то вроде удара под дых — аэролет перешел на горизонтальный режим. В корзинке, перепуганная до полусмерти, сама с собой толковала мертвая обезьянка.

— Что у вас с пальцем? — спросил корпорадист.

Когда Сол расколол резервуар и вытащил макаку Маршу из вод ее второго рождения, обезьянка жутко сердилась: похоже, не из-за того, что побывала на том свете, а потому, что промокла. Миг абсолютного, священного безмолвия, затем — одновременно

— грязное ругательство и струя крови и, наконец, ликующий рев всей команды, работавшей над проектом «Лазарь». Обезьянка, встревоженная дикими аплодисментами и криками, шныряла по полу в поисках убежища повыше. Элена поймала ее, когда та, судорожно дергаясь, пыталась безуспешно вскочить на стол. Элена завернула ее в термоизолирующее одеяльце и засунула бьющееся в корчах существо в наблюдательный инкубатор. Не прошло и часа, как у Марши полностью восстановилась регуляция моторики, и она уже глодала углы своего пластикового манежа и вычесывала воображаемых блох. Пока фургоны доставляли в институт штабеля пиццы и ящики с дешевым мексиканским шампанским, кто-то догадался позвонить Адаму Тесслеру.

В воздухе ожившей обезьянке не понравилось. Она разразилась такими визгливыми причитаниями, что даже пилот не выдержал.

— Перестань, — рявкнул Сол Гурски. Но тварь и не думала его слушаться, а, раскачиваясь на своем голом заду взад-вперед, вопила еще пуще.

— Разве можно так разговаривать с историческим событием? — проговорил ассистент. Нагнувшись к решетке, ухмыльнулся, пошевелил пальцами, пощелкал языком. — Привет, братишка. Как его звать?

— Вообще-то это сестренка. Мы зовем ее Марша. Она же Невеста Франкенштейна.

«Куси его», — подумал Соломон Гурски. Под брюхом аэролета «Тесслер-корпорады» плыли десять тысяч зеркальных бассейнов. Франкенштейн создавал нежить. В том-то и суть. В том-то и новаторство.

На дворе стоял Век Всевластия, но люди не удовольствовались своим умением превращать любую ненужную вещь в нужную. Ибо продолжало существовать нечто, не желавшее подчиняться текторам «Нанозиса», «Аристида-Тлаксальпо» и других отцов нанотехнологической революции. То была смерть. Весь оптимизм и отчаяние Века Всевластия выражены в Постулате Уотсона — словах одного из пионеров нанотехнологии. «Забудьте о превращениях мусора в нефть и астероидов в ряды «фольксвагенов», о возможности повесить в гостиной точную копию холста Ван-Гога. Первоочередная задача нанотехнологии — сделать нас бессмертными».

Вложенные в исследования пять миллиардов ТОБ-долларов разрушили последнюю преграду. Текторы трансформировали все, к чему прикасались, и убивали все, что трансформировали. Команда Гурски и Асадо раньше своих конкурентов создала вирусы-репликаторы, которые внедрялись в живые клетки и

превращали их в матрицы на базе текторов. Их ДНК множились, точно споры, в миллионах экземпляров. Гурски и Асадо вывели алгоритм смертоносной эффективности карцином. Провели эксперименты в пробирках и резервуарах. Нарекли еще одну безымянную макаку-резуса Франкенштейном и впрыснули в ее тело текторы. На глазах Сола и Элены крохотные машины медленно превращали тело обезьяны в нечто, чего не могла вообразить себе даже гангрена.

Элена хотела добить макаку из жалости, но они боялись открывать резервуар, опасаясь заражения. Спустя неделю животное отмучилось.

Монстр развалился на части. Именно так это выглядело. И тут Асадо и Гурски вспомнили жаркий день в поселке Реденсьон, когда Сол обзавелся алмазной передачей.

Если смерть — комплексный процесс, нагромождение микросмерти поверх мини-смерти, поверх малой смерти, поверх среднего-размера-смерти, вполне возможно, что жизнь повинуется тому же энергетическому закону. Неуклонно нарастающая антиэнтропия. Модель финансовой пирамиды.

Вывод Гурски из Постулата Уотсона: «Первоочередная задача нанотехнологии — воскресить мертвых».

Из янтарного марева поднялась Черная Башня. Придуманный Солом и Эленой для собственного употребления шуточный термин пошел гулять из уст в уста, и теперь весь персонал научно-исследовательского подразделения корпорады именовал сооружение, которое Адам Тесслер строил на дне долины, «Барад-Дуром, что в Мор-доре, над коим клубится красный смог», а Адама Тесслера — его бессонным Всевидящим Глазом.

Сейчас башня насчитывала больше пятидесяти ярусов, но, судя по всему, не собиралась этим ограничиваться. Как только очередная секция затвердевала и впадала в спячку, в нее, проделав отверстие в стене, вселялся следующий элемент разветвленной корпорации Адама Тесслера. Архитекторы-люди понятия не имели, когда она перестанет расти. Может быть, когда достигнет километровой или полуторакилометровой высоты — если стабилизируются и отомрут архитекторы-текторы. Сол ненавидел ее глянцево-черные зубцы и наросты и вообще всю эту помесь геологических процессов с раковой опухолью. Стиль — Гауди, материал — дерьмо.

Аэролет завис высоко над стройкой, отдался во власть навигационного поля, сделал круг.

«Все на свете — лишь атомы, амиго», — сказал тот парень, хозяин нанозаводика. Сол запамятовал его имя. Живые и мертвецы сложены из одинаковых атомов.

Они начали с малого — с парамеций, с амеб. С едва живых существ. Так и пошло. Беспозвоночные. Реанимированные тонконогие тараканы, снующие по инсектарию. Биологические машины, наномашины — все равно машины. Машины для выживания. Теперь дави их, не дави — все бесполезно: они возвращаются с того света.

Что толку воскресать, если когда-нибудь опять умрешь?

Тараканы возвращались к жизни. И вновь возвращались. И вновь.

Теперь уже Сол осторожничал, ратовал за то, чтобы неторопливо подняться по всем ступенькам эволюционной цепи. Но Элена не желала медлить. Она хотела взяться за обезьян. От обезьяны недалеко до человека.

На его глазах орда текторов набросилась на животное, содрала кожу с плоти, плоть с костей, разъяла сами кости. На его глазах наномашины сложили все это вновь в форме обезьяны. Она покоилась в жидкости — целая и невредимая, но, судя по приборам, мертвая. И вдруг линия на мониторе подпрыгнула и еще раз подпрыгнула, и в такт ей задергалась вторая, и подключилась третья, и вскоре все линии на экране резвились сообща, и мертвое существо восстало из праха.

Аэролет спускался, держа курс точно в центр белого креста на посадочной площадке, которая прилепилась к боку растущей башни. Аппарат приземлился. Покачался на своих жучьих лапках. Надпись «Пристегнуть ремни» погасла, трап выдвинулся.

— Веди себя прилично, — приказал Соломон Гурски обезьяне.

Всевидящий Глаз ждал у дверей башни. Его сопровождали верные назгулы.

— Сол.

Теплая сильная рука стиснула его пальцы, на за все годы знакомства с Адамом Тесслером Соломон Гурски не доверял ему ни секунды — ни как студенту нанотехноло-гического факультета, ни как главе самой динамичной нанотехнологической корпорады в Сфере Совместного Процветания Тихоокеанского Бассейна.

— Ах вот она какая? — Адам Тесслер нагнулся к корзинке и загукал, обращаясь к обезьянке.

— Она кусается.

— Вижу. — Марша вцепилась в палец Адама своей крохотной розовой ручкой гомункулуса. — Итак, ты победил последнего врага человечества.

— Нет. Не победил. Просто обнаружил то, что расположено с той стороны смерти. Не бессмертие — воскрешение.

Адам Тесслер открыл клетку. Марша, вскарабкавшись по его руке, уселась на плече пиджака от Скарпаччи. Тесслер пощекотал ее мохнатое брюшко.

— А люди?

— Укажи мне однопроцентную разницу между ее ДНК и нашей.

— Ага. — Адам Тесслер зажмурился. — Это только усложняет дело.

По телу Соломона Гурски, точно болезнь, разлился страх.

— Оставьте нас, пожалуйста, — сказал Адам Тесслер своим ассистентам. — Через минутку я к вам присоединюсь.

Не говоря ни слова, они гуськом удалились в аэролет.

— Адам?

— Сол, почему ты это сделал?

— О чем ты, Адам?

— Сам знаешь, Сол.

Стоя на посадочной решетке, приваренной к пятьдесят третьему ярусу башни «Тесслер-корпорады», Сол Гур-ски на миг умер. Затем он вернулся к жизни и с холодной ясностью осознал, что все может высказать вслух, что ДОЛЖЕН все высказать вслух, ибо уже мертв и теперь его ничем не испугать.

— Ты слишком много на себя берешь, Адам. Хочешь, делай автомобили, выращивай дома, составляй в нанокамерах лекарства по специальным заказам — пожалуйста. Но это — совсем другое дело. Это — воскрешение мертвых. Это — все люди отныне и до конца Вселенной. Нельзя допустить, чтобы ты владел патентом единолично. Монопольное право на вечную жизнь принадлежит только Богу.

Адам Тесслер вздохнул. Радужные оболочки его глаз спрятались за темным слоем фотохромных бактерий. Непроницаемый взгляд.

— Ну и?.. Давно?

— Тринадцать лет.

— Я думал, что знаю тебя, Сол.

— И я думал, что знаю тебя. — Здесь, в высоте, воздух был чист, свеж и прозрачен. — Как ты выяснил?

Адам Тесслер погладил обезьянку по голове. Она попыталась вывернуться из его пальцев, оскалив острые зубки.

— Выходи, Мариса, — теперь можно.

Высокая мускулистая женщина, которая вышла из башни на решетчатую площадку, была отлично знакома Солу. Он помнил ее по туристической мастабе на Юкатане, и по горнолыжному трамплину на Аляске, и по казино, выращенному на искусственном, рожденном нанотехнологиями рифе в Южно-

Китайском море. Из бесед, которые они вели по надежным каналам связи и лично, на конспиративных встречах, он знал, что она заговорит нежным низким голосом с австралийским акцентом.

— Когда твоим хозяином был Аристид Тласкальпо, ты лучше одевалась, — сказал Сол.

Сейчас женщина была в кожаном костюме, какие носят уличные девки. Она улыбнулась. С прежних времен ее улыбка тоже поистрепалась.

— Почему именно они? — спросил Адам Тесслер. — Мало ли кому ты мог меня продать — но этим лохам?

— Разве это важно? — сказал Сол Гурски. — Знай, Элена тут абсолютно ни при чем.

— Знаю. Ей ничего не угрожает. На данный момент.

В этот миг Сол Гурски осознал, что его ждет, и задрожал, обуянный внезапным острым желанием что-нибудь уничтожить, прежде чем уничтожат его самого. Усилием воли он подавил в себе гнев и, протянув руку к обезьянке, пощелкал пальцами. Марша, наморщив лоб, перемахнула с плеча Тесслера на ладонь Сола. Он моментально схватил макаку за шею, вывернул позвонки, переломил их. Отшвырнул извивающееся в конвульсиях тельце. Оно упало на красную сетку.

— Понимаю твое чувство, — заявил Адам Тесслер. — Но она возродится вновь, и вновь, и вновь. — Вступив на нижнюю ступеньку трапа, он обернулся: — Ты хоть немного представляешь себе, как сильно меня расстроил, Сол?

— Честно тебе скажу — плевал я на это! — крикнул Соломон Гурски, но его слова потонули в гуле запущенных турбин. Аэролет, ненадолго зависнув над площадкой, скользнул вниз, к расчерченным по линейке бескрайним просторам города и улетел в сторону северных холмов.

Сол Гурски и Мариса остались на платформе одни.

— Действуй! — крикнул он.

И осознал, что мускулы, которые так нравились ему, — всего лишь аугменты. Ее пальцы схватили его за шею и подняли над площадкой. Задыхаясь, он сучил ногами в воздухе и урывками глотал воздух. Держа его одной рукой, она подошла к самому краю.

— Действуй, — попытался сказать он, но ее пальцы задушили все слова в его горле. Улыбаясь, она держала его над пропастью. Он наделал себе в штаны и понял, что это и есть экстаз, что испражнение всегда было экстазом. Именно поэтому взрослые запрещают детям испражняться в трусы — первобытные, звериные радости стоят вне закона.

Сквозь кровавый туман он увидел, как ползет к ним, перебирая розовыми человечьими пальчиками, крохотное, скукоженное тело Марши с вывернутой назад головой, и ее глазки, не мигая, созерцают солнце. Затем женщина наконец-то разжала пальцы — и, прошептав «спасибо», он начал падать к ослепительно белым погребальным огням Гуверовского бульвара.

среда

Сегодня вечером сегуридадос вышли на бульвары — охотиться на мертвецов-нарушителей. Живцы-сегуридадос были чудовищами — богатыми скучающими чудовищами. Эти женщины и мужчины, эти «серристо»* [крутые *(мекс. сленг)*.] с огромным удовольствием корчили из себя ангелов Большой Смерти в мире, где все прочие разновидности смерти были временными. На живцов было противно смотреть — зато их машины были прекрасны. «Мечадоры» — роботы-богомолы с клювами из ванадированной стали и двумя скорострельными огнеметами системы «МГЛА-27», которые выстреливали пятьдесят самонаводящихся снарядов в секунду, а те, в свою очередь, за полсекунды до поражения цели превращались в рой солярной картечи. Пятнадцать органов чувств расширенного спектра действия анализировали мир; а маневрировали роботы при помощи узкофокусируемых генераторов-импеллеров. И абсолютно никаких потугов на милосердие. Большая Прекрасная Смерть.

На холмах стоял дом с высоким, широким окном на втором этаже. Мужчина застыл у окна, точно посередине. Он наблюдал, как охотятся мечадоры. Их было четверо: разбившись на пары, они прочесывали обе стороны авеню. Он увидел, как робот с надписью «Смерть мертвецам» на тектопластиковой шкуре, разок пыхнув электрогравитационной энергией, перемахнул через живую изгородь с усадьбы Сифуэнтесов на их участок. Проплыл над газоном, поводя чуткой головой с клювом. Замешкался, отсканировал окно. На секунду взгляд его пяти фасеточных глаз скрестился с взглядом мужчины. Робот двинулся дальше. Его импеллер оставлял на чисто выбритом газоне следы — земляные водовороты. Мужчина не отвел глаз от улицы, пока мечадоры не скрылись из виду, пока по проспекту не прошли сегуридадос в устрашающих и пошлых боевых скафандрах, угрожая воображаемым врагам своим отвратительным оружием.

— Теперь уже каждый вечер, — заметил мужчина. — Совсем сдрейфили.

Спустя миг в просторной комнате с деревянным полом, где находился мужчина, появилась женщина, одетая в виртуальный инфандр. Она выскочила из «Паутины» с такой поспешностью, что пообрывала щупальца скафандра, которые теперь торопились втянуться обратно в узлы сететкани. Темноволосая, смуглая, страшно обозленная. Злость пополам с испугом.

— Сколько раз я тебе говорила: не подходи к этому окну!

Никогда! ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ!

Соломон Гурски пожал плечами. За те несколько недель, что он прожил в ее доме, женщина успела возненавидеть эту ужимку. Мертвецы по-своему, по-особому пожимают плечами: когда Сол это делал, в ее большом, теплом, красивом доме на холмах веяло холодом преисподней.

— Это меняет дело, — заявил мертвый мужчина. Элена Асадо натянула брюки из «умной кожи» и сетчатую блузку. Прямо поверх инфандра — она не снимала его с тех самых пор, как стала предательницей. Двенадцать часов в день она проводила в виртуальном мире, подключив к «Паутине» свои глаза, уши, нос, душу — вела войну с человеком, который убил ее возлюбленного. С тем же успехом можно воевать с демиургом, думал Соломон Гурски долгими, пустыми часами в этих приветливых, наполненных светом комнатах. Тесслер — владыка жизни и смерти. Элена снимала скафандр только для того, чтобы опорожнить кишечник и помыться. Ну и рано утром, в голубоватых сумерках, какие бывают только в больших городах, для невеселого соития на большой белой постели. Время и злость высушили и закалили ее тело. Элена Асадо превратилась в существо, скрученное из тугой проволоки. Женственность слетела с нее, сменившись решимостью отомстить Адаму Тесслеру. Отомстить — уничтожить режим, установленный на Земле после того, как Тесслер подарил миру способ воскрешения мертвых. Подарил — нет, какое уж там подарил. Тесслер не Иисус, чтобы гарантировать жизнь вечную всем истинно уверовавшим. Вера — дело неприбыльное. Адам Тесслер забирает все — оставляя тебе лишь твою душу. Если ты можешь вносить солидные взносы за «иммортализад»* [Бессмертие *(исп.)*.], все нормально: благодаря страховке ты возродишься совершенно свободным, без цента долга. Остальные девяносто процентов мертвецов планеты Земля отрабатывали свое спасение согласно условиям контрактов, ввергающих их во временную крепостную зависимость от Дома Смерти — сети воскресительных цехов при корпораде «Тесслер-Танос». Контракты заключались на много столетий. Время принадлежало мертвецам. Но сами они стоили дешево.

— Их напугала история с «Эворт-Оз-Вест», — сказала Элена Асадо.

— Горстка контрададос отказывается от своих обязательств на каком-то занюханном астероиде — и они уже трусят, что небо свалится им на головы?

— Они называют себя «Свободными Мертвецами». Дай вещи имя — и ты дашь ей силу. Это лишь начало. «Эворт-Оз-Вест», все остальные орбитальные и дальнекосмические промышленные

корпорады — они давно поняли, что вне Земли их контракты будут недействительны. Они уже проиграли. Космос принадлежит мертвым, — сказала женщина.

Сол пересек эту просторную комнату и подошел к другому окну, к безопасному, под которым в глубокой ложбине расстилалась панорама ночного города. Рисунок его ладони, служивший ключом, расконфигурировал стекло. Вокруг заклубилась ночь, городская ночь, пропахшая можжевельником, сексом, дымом, смуглым полуденным зноем. Он подошел к балконным перилам. Бульвары мерцали, точно карта сознания, но в сердцевине этой карты расстилалось огромное черное пятно амнезии — аморфная зона, где свет отсутствовал, где не работала геометрия городской планировки. Сент-Джон. Некровилль. Мертвоград. Город мертвых, город в городе, окруженный стенами и рвами, охраняемый теми же вояками, которые патрулировали бульвары. Город комендантского часа. Каждый вечер на закате, в двадцатикилометровой высоте над Мегаполисом-Трес-Вальес расцветали алые пульсирующие сполохи искусственной зари: этот небесный знак приказывал всем трем миллионам мертвецов вернуться с живых улиц в свои некровилли. Мертвецы проходили через пять массивных ворот в форме буквы «V», разделенной пополам горизонтальной линией. Энтропическая, телесная жизнь спускается вниз; жизнь вечная, воскрешенная восходит вверх, пересекая разделительную линию смерти. Таков закон, таково правило сегрегации. Мертвецы есть мертвецы, живые есть живые. И вместе им не сойтись — как не сходятся ночь и день.

Тот же самый знак был вплавлен в ладонь всех воскрешенных, покидавших резервуары Дома Смерти.

Неувязочка вышла, подумал Сол. Не все соблюдают комендантский час. Он поднес свою ладонь к глазам, изучая линии и бугорки, точно пытаясь прочесть по ней свою судьбу.

Он видел знак смерти на руке служанки Элены — видел, как он загорается одновременно с зарей.

— Никак не можешь поверить, что это возможно?

Незаметно для него Элена тоже вышла на балкон и остановилась за его спиной. Он почувствовал, как она прикасается к его волосам, к плечу, к голой руке. Кожа к коже.

— Индейское племя «проколотых носов» верит, что мир погиб на третий день существования, а мы живем в сновидениях его последней ночи. Я упал. Я ударился об ослепительно белый свет — он оказался твердым. Твердым, как алмаз. Может, мне только снится, что я жив, а мои сны — последние раздробленные секунды моей жизни.

— Тебе могло такое присниться?

— Нет, — сказал он, помедлив. — Я больше ничего вокруг себя не узнаю. Не могу понять, как из того, что я помню, мог получиться нынешний мир. Столько всего пропало бесследно.

— Я не могла ничего предпринять, пока не уверилась, что он не подозревает. Он все предусмотрел.

— Это в его стиле.

— В байку про аварию аэролета я с самого начала не верила. Вселенная, конечно, — дама ироничная, но аккуратность ей несвойственна.

— Я все думаю о том бедняге пилоте, которого он тоже убрал, чтобы все выглядело аккуратно. — Ветер принес из города мертвых отдаленный барабанный бой. Завтра большой праздник — Ночь Всех Мертвецов. — Пять лет, — проговорил он. Услышал, как прервалось ее дыхание, и понял, о чём она сейчас спросит и что последует за этим.

— Что чувствуешь, когда становишься мертвым? — спросила Элена Асадо.

За несколько недель заточения в этом доме на холмах он, незаконный мертвец, неклейменый, незакрепощенный контрактом, понял, что она спрашивает не о переживаниях воскрешенных людей. Ее интересует тьма до воскресения.

— Ничего, — ответил он так, как отвечал всегда. То была истина, но не правда, потому что «ничего» — феномен человеческого сознания, а во тьме, наступившей после сокрушительного света на перекрестке Гуверовского бульвара, не осталось никаких следов сознания — ни человеческого, ни какого-либо еще. Ни снов, ни времени, ни утрат, ни света, ни тьмы. НИЧЕГО.

Теперь ее пальцы гладили его кожу, пытаясь нащупать остаточный холод этого «ничего». Повернувшись к городу спиной, он подхватил ее на руки и понес к большой пустой кровати. За месяц новой жизни он отлично усвоил правила игры. Он отнес ее к большой, широкой белой кровати, освещенной огнями лежащего внизу города. Все было холодно и формально — как и в прошлый раз, и в позапрошлый, и позапоза… Он знал, что для нее это не просто соитие с любовником, который вернулся после изгнания из далекого далека. По трепету, по дерганью ее мускулов он чувствовал: ее возбуждает именно идея секса с мертвецом. Именно его природа чаровала и отталкивала Элену. Роль фетиша в чужом извращении его ничуть не смущала. Но тело, когда-то известное под именем «Соломон Гурски», знало кое-что другое — нечто, известное лишь мертвым. Не все, что умерло, потом воскресает. Облик, личность, разум возвращаются. Но любовь не переживает смерти.

После секса она любила слушать его рассказы о воскресении: о том, как «ничто» превратилось в «нечто», и он увидел сквозь мельтешение текторов ее склоненное лицо. Но этой ночью он ничего не рассказывал. Он спрашивал.

— Как я выглядел? — задал он вопрос.

— Твое тело? — переспросила она. Он не стал ее разубеждать. — Опять хочешь посмотреть фотоснимки из морга?

Обугленную ухмылку пустой оболочки он и так помнил наизусть. Руки, вытянутые по швам. По этой детали она сразу обо всем догадалась. Погибшие в огне умирают, воздев кулаки кверху, сражаясь с пламенем.

— Даже после того, как тебя эксгумировали, я не могла тебя сразу воскресить. Знаю-знаю, ты мне передал его слова, что на данный момент мне ничего не угрожает. Но было слишком рано. Технология еще недостаточно развилась, и он бы сразу узнал. Прости, что мне пришлось держать тебя на льду.

— Ничего, я даже не заметил, — сострил он.

— Я все спланировала с самого начала. Все предусмотрела: уволиться из «Тесслер-Танос», нанять нелегальный резервуар в Сент-Джоне. Дом Смерти не знает и одной десятой о том, что там творится.

— Спасибо, — сказал Сол Гурски. И тут почувствовал ЭТО. Почувствовал ЭТО, увидел ЭТО, точно свое собственное тело. Она ощутила, что Сол напрягся.

— Опять воспоминания?

— Нет, — проговорил он. — Наоборот. Вставай.

— Зачем? — растерялась она.

Сол уже натягивал на себя одежду: прикосновение шелка, прикосновение кожи.

— Время, которое тебе дал Адам...

— Да?..

— Оно истекло.

Машина морфировала в сплющенную, гоночную. У поворота, где авеню начинала спускаться с горы, они оба ощутили энергетическую волну: над ними низко-низко летело нечто огромное, абсолютно беззвучное.

— Бросаем машину, — приказал он.

Двери уже откинулись, точно крылья чайки. Три шага — и дом за их спинами взлетел на воздух, растаял в белом огне. Пламя силилось их всосать, тянуло назад в свою зону аннигиляции земного притяжения. Но тут ударная волна швырнула их, машину и всех бездомных существ на мостовую авеню. Несмотря на вой домашней сигнализации, вопли соседей, рев и треск пожара, Сол услышал, что воздушное судно делает

круг над испепеленной асьендой. Схватив Элену за руку, он бросился бежать. Аэролет прошел над ними. Машина испарилась в протуберанце белой энергии.

— Черт! Нанобоеголовки!

Они полубегут, полускатываются по террасам многоярусных садов. Элена уже задыхается. Высоко вверху кружит аэролет, заслоняя массивной тушей тусклые звезды, вынюхивая Сола с Эленой своими экстрасенсорными органами чувств. Внизу по садам уже рассыпаются, начиная прочесывание, многочисленные сегуридадос.

— Как ты узнал? — хрипит Элена.

— Увидел, — отвечает Соломон Гурски.

Целая компания серристос расслабляется в бассейне. Сол с Эленой срывают вакханалию — едва завидев их, перепуганные гуляки пускаются наутек. Ниже, еще ниже. Аугментированные кибергончие, рыча, провожают их своими инфракрасными глазами; системы домашней защиты, пробуждаясь от спячки, фиксируют их изображения, вызванивают полицию.

— Увидел? — переспрашивает Элена.

Сол с Эленой выскакивают из проулка между заборами прямо на бульвар. АПВэшки и муниципальные гондолы, резко тормозя, вычерчивают на черном шоссе дымящиеся гексаграммы. Клаксоны. Фары. Многоэтажная ругань. Скрежет колес. Визг тормозов. Треск ломающегося тектопластика отзывается двойным, тройным эхом. Затор из расплющенных машин на правой полосе. На правой обочине у тортиллерии* [Лавка, где продают мексиканские кукурузные лепешки-тортильи *(исп.)*.] стоит мопедмобиль. «Кочеро»* [Возчик, здесь: рикша *(исп.)*.] охотно забывает о своих «энчиладас»* [тортильи с мясом, сыром и перцем *(исп.)*.] ради твердой, черной валюты из кошелька Элены. Ради денег, которые и звенят, и складываются.

— Куда?

Разрушения, причиненные его пассажирами, произвели на шофера немалое впечатление, Лютая ненависть к автомобилям — общее свойство всех таксистов на свете.

— Вперед! — сказал Гурски.

Стреляя и чихая, мопед выехал на мостовую.

— Еще не улетел, — заметила Элена, высунувшись из-под тента и вглядываясь прищуренными глазами в ночное небо.

— Не посмеют — полное шоссе машин.

— На авеню уже посмели. — И после паузы: — Ты сказал «увидел». Как это — увидел?

— Когда ты мертв, ты знаешь смерть, — сказал Соломон Гурски. — Знаешь ее лицо, ее маску, ее запах. У нее есть аромат,

он ощущается издали, как феромоны моли. Он поднимается вверх по течению времени.

— Погодите, — сказал «кочеро» — нищий, но живой. — Вы чего-нибудь знаете насчет того взрыва на холме? Там что, аэролет разбился? Или другое что?

— Другое что, — произнесла Элена. — Поторопитесь!

— Леди, скажите, куда ехать — я поеду.

— В Некровилль, — распорядился Соломон Гурски. Сент-Джон. Город Мертвецов. Поселение вне закона, вне смертности, вне страха, вне любви — вне всех уз, которые прочно соединяют живых. Город изгнанников. Сол сказал Элене:

— Если ты хочешь свергнуть Адама Тесслера, это удастся сделать только извне. Со стороны.

Он сказал это по-английски. Слова со странным привкусом тяжело давались губам.

— Ты должна примкнуть к обездоленным. К мертвецам.

Попытка проскочить через флуоресцирующую букву «V» — ворота Некровилля — была равносильна Большой Смерти в эпицентре нановзрыва, превращающего все, что угодно, в горячую ионную пыль. Мопед прокрался мимо самурайских силуэтов — сегуридадос, охранявших ворота. Сол велел шоферу высадить их под пыльными пальмами заброшенного бульвара, тесно прижавшегося к суперколючей проволоке Сент-Джона. Покинутые живыми газоны буйно разрослись, бассейны покрылись коростой из отбросов и кувшинок, приветливые дома в испанском стиле кротко разрушались, перевариваемые собственными садами.

«Кочеро» нервно ежился, но Солу здесь понравилось. Он знал эти улицы. Маленький мопед, покашливая, унесся в страну подлинно живых.

— Здесь полно рек и ручьев, которые забраны в трубы, — сказал Сол. — Некоторые проходят под заграждениями — прямо в Некровилль.

— Опять твое мертвецкое ясновидение? — спросила Элена, когда Сол нырнул в заросший проулок между усадьбами.

— В некотором роде. Я здесь вырос.

— А я и не знала.

— Тогда мы здесь в безопасности. Элена остановилась.

— Ты меня в чем-то обвиняешь?

— Элена, сколько процентов меня ты выстроила заново?

— Сол, все воспоминания — твои. Настоящие. Мы любили друг друга — когда-то.

— Когда-то, — повторил он.

И почувствовал ЭТО. Мурлыканье трущегося о его кожу статического электричества — точно руки Элены гладили все его

тело одновременно. Это не было предчувствием, астральным бутоном близкой смерти. Это было физическое явление — ласковое прикосновение сфокусированных гравитационных полей.

Они свернули за угол проулка в тот самый миг, когда мечадоры, спокойные и медленные, слетели с небес на крыши старых замшелых ресиденсиас. За бурьяном былого теннисного корта оказалась дренажная канава, огороженная ржавыми сетчатыми щитами. Сол одним ударом повалил целый щит. Адам Тесслер производил сильных, проворных мертвецов. Тухлый, еле текущий ручеек привел беглецов к ржавой решетке стока.

— А теперь проверим, не исказил ли чего во мне генератор, — сказал Сол, ударом ноги выбив решетку. — Если мои воспоминания принадлежат мне, мы вылезем в Сент-Джоне. Если нет, то три дня спустя мы будем качаться на воде в бухте, и хлорка выест наши глаза.

Они спрятались в тоннель за миг до того, как над ними прошел мечадор «МИСТ-27», осыпав ручей боевыми текторами, взметнул ил и воду к небесам. Мертвый мужчина и живая женщина, хлюпая по воде, убежали во тьму.

— А знаешь, он тебя любил, — сказал Сол. — Потому-то он это и делает. Он ревнивое божество. Я всегда знал, что он хочет тебя — сильнее, чем ту женщину, которая считается его женой. Пока я был мертв, он мог сам перед собой прикидываться, что у вас еще что-то получится. Он мог не обращать внимания на твою войну против него — Элена, ты ведь против него бессильна, в одиночку-то. Но когда ты меня воскресила, он не мог больше обманывать себя. Не мог прикидываться победителем. Не мог тебя простить.

— Мелочное божество, — проговорила Элена. Вокруг ее икр, затянутых в кожаные брюки, бурлила вода. Над головой зиял светящийся круг — водоотводная труба с улицы. Они немного постояли под ним, ощущая, как прикасается к их лицам свет Некровилля. Элена поднялась на цыпочки — отодвинуть решетку. Соломон Гурски задержал ее, повернул ее руку ладонью к свету.

— И вот еще что, — произнес он. Вытащил из стены туннеля остроконечный обломок бетонной опалубки. Тремя мощными, жестокими штрихами врезал в ее плоть перечеркнутое «V» — знак смерти.

четверг

Он успел спуститься на три километра по погонщику массы, когда флот разнес Марлен-Дитрих в клочья. Комета Джуди находилась в пяти астрономических единицах от перигелия, вне эклиптики, в тридцати шести градусах от Клайда-Марлен-Дитрих, но в ее небесах на миг засияло второе солнце.

Складки прозрачной тектопластиковой кожи, прикрывавшие лицо Соломона Гурски, потемнели. Верхо-руки Сола, державшие паутинницу звездодвигателя, задрожали — его электромагнитные органы чувств сотрясла ударная волна от пятидесяти миниток-боеголовок, превратившихся в бебаватты твердой энергии. Предсмертный крик целого народа. Внутри астероида, тес-Ио сгрудившись в хаотично переплетенных туннелях, парили в невесомости триста Свободных Мертвецов. Марлен-Дитрих была колыбелью мятежа. Корпорады таких обид не спускают.

Лицещит Соломона Гурски вновь посветлел. Костер, на котором погибла Марлен-Дитрих, уже отгорел, но его инфракрасные глаза видели искры, медленно гаснущие среди звезд.

В его черепе раздался голос Элены.

«Ты знаешь?»

Хотя Элена сидела в «матке» — штабном бункере в полукилометре от поверхности кометы, — она была открыта Вселенной нараспашку: связана идент-линками с сенсорной сетью в «корочке» ядра и целым нимбом зондов-шпионов размером с бактерию, которые сновали по разреженному газовому гало.

«Видел», — произнес про себя Сол Гурски.

«Теперь переключатся на нас», — сказала Элена.

«Тебе так кажется».

Перебирая низоруками, Сол пробирался по тонкому хребту погонщика массы к микропробоине, вызванной столкновением с метеоритом.

«Я знаю. Когда дальнобойки наводили порядок после взрыва, мы засекли следы термоядерных блиперов».

Левой уцепиться, правой отцепиться, правой уцепиться, левой отцепиться, правой отцепиться... Когда Свободные Мертвецы модернизируют тебя, ты узнаешь много нового. Например, что пространство — штука относительная, обусловленная твоим мировоззрением. Спустившись на треть высоты девятикилометрового погонщика массы, на который наколоты миллиарды тонн кометного вещества, ты уже не употребляешь понятий «вверх» и «вниз». Скажи про себя «вверх» — голова

закружится. «Вниз» — и над твоей головой повиснет грязный ледяной шар диаметром в два километра, болтающийся на ниточке из тектопластика-суперпроводника. «Прочь отсюда» — единственное понятие, позволяющее сохранить здравый рассудок. Уйти и вернуться.

«Сколько движков?» — спросил Сол.

Пробоина сама привлекала к себе внимание — умный пластик в случае ранения пульсировал оранжевым огнем. «Восемь».

Сол выругался про себя. Даже роздыху себе не дают.

«Много у нас времени?»

Элена перекачала свои расчеты по М-линку на зрительный центр его мозга. Огненные кривые протянулись сквозь время и мрак, искривляясь под напором тяготения Юпитера. При заданном ускорении земной флот окажется в дальности выстрела через восемьдесят два часа.

Война в небесах длилась уже двенадцатый год. И обе стороны твердо решили, что этот год будет последним. Война «Найтфрайта» не должна была завершиться перемирием. Непокорные потомки первых мятежников с астероидов, восставших против Эворт-Оз-Вест, они называли себя «Клейды». То была кучка редутов, разбросанных по умопомрачительным просторам Солнечной системы. Марлен-Дитрих — первый астероид, провозгласивший себя независимым государством. Неруро — все еще недостроенное тектопластиковое колесо двадцатикилометрового диаметра, окруженное о'ниловскими сервис-контейнерами, агропромышленными комплексами и жилыми «пузырями». В перспективе — столица космических Мертвецов. Арес-на-Орбите, мечты о терраформировании Марса в пористых кусочках пемзы — внутри Фобоса и Деймоса. Пастухи Лун, живущие над пропастью — лавирующие среди колец Сатурна, подставляющие паруса солнечному ветру. Ненадежные зацепки, легкие царапины на теле Вселенной, космические хибарки; и бурный расцвет ворованной нанотехнологии, ибо космос бесконечно богат энергией. Бескрайняя экологическая ниша. Свободные Мертвецы знали, что унаследуют Вселенную. Корпорады живых ретировались на орбиту своей планеты. Но ненадолго. В один прекрасный день живые атаковали — зная, куда бить. Ударные силы корпорад перешли в наступление — и первым погиб Клейд Циолковского на темной стороне Луны. Альфа-лучи погубили хрупкую пленку адаптированных к вакууму лесонасаждений, которая покрывала стенки кратера. Когда корпорады прекратили обстрел, на месте туннелей и выемок былой базы шахтеров зиял новый, глубиной пять километров

кратер из тускло тлеющего туфа. Луна закачалась на своей орбите, ломая ритм земных приливов.

Большая-Большая Смерть.

Ударные отряды устремлялись к заданным целям. За время сидения в пределах земной атмосферы, предписанного эмбарго, корпорады многому научились. Создали новые корабли — поджарые, быстрые, злые. Многозарядные ракетные установки, приделанные к мощным термоядерным двигателям-блиперам, — вот и вся конструкция. Пилоты висят в контейнерах с гелем-амортизатором, точно мухи в кусках застывшего янтаря, подключенные через все телесные отверстия к огромным боевым виртуалайзерам.

Самая эффективная комбинация нужных качеств — быстрота реакции плюс жестокость — у тринадцатилетних мальчишек.

Именно эти буйные подростки безжалостно разрушили Клейд-Марлен-Дитрих. Арес-на-Орбите бессилен, как котенок. Неруро, где сосредоточено большинство кораблей-боевиков Свободных Мертвецов, дорого продаст свою жизнь. Два корабля корпорад идут к Юпитеру. Орбитальная механика дает беззащитным пятнадцать месяцев на приготовления к смерти.

«Но семена уже упали в почву, — подумал Соломон Гурски, вися на погонщике массы где-то в недрах кометы Джуди. — Там, куда мы летим, нас не достанут ни самые мощные из ваших кораблей, ни самые настырные из ваших мальчишек».

Удар микрометеорита помутил ограниченный разум тектопластика; умно-полимерные волокна и нити скручивались, завязывались в узлы, пытаясь осуществить свое предназначение. Сол прикоснулся к ним своими верхо-руками. Вообразил, будто чувствует истечение приказа из своего тела — так иголочки текторов пронизывают вакуумно-непроницаемую кожу.

«Дни чудес и дивных свершений, Адам, — подумал он. — А ты хочешь распотрошить нас всех на фотоны — ведь тебе завидно, что в наших руках твоя магия творит то, о чем ты и мечтать не мог».

Пробоина заделана. Погонщик массы, дрогнув, швырнул в пространство первую дробинку. За ней — другую. Третью. И Сол Гурски, спускаясь (левой-правой-левой-правой-левой) по машине, которая везла его к звездам, понял, что такое комета Джуди на самом деле. Шарик из зыбкого льда, волочащий за собой длинный хвост. Нет, не семя — сперматозоид, плывущий сквозь великий мрак. Так мы осеменяем Вселенную.

Комета Джуди. На общем фоне семейства, ведущего свой род от облака Оорта, она маловата: 2,8 х 1,7 х 2,2 км. (Вообразите себе уродливый ломтик жареной картошки, который вы

отодвигаете на край тарелки, ибо от такого мутанта точно живот разболится.) Дистрофичка — всего-то шестьдесят два миллиарда тонн. Бомжиха Солнечной системы, медленно брела она себе в одиночестве, возвращаясь во тьму после своего часа на Солнце (главное, близко к нему не подходить — уж больно сильно жжется это нехорошее Солнце) — и тут ее хватают эти мертвецы, начинают щупать, засовывают ей всякие штуки в задницу, копаются во внутренностях, заставляют совершать странные и неестественные действия — к примеру, ежесекундно какать собственным веществом на скорости, близкой к световой. А ты что, еще не врубилась? Ты уже не комета. Ты — ЗВЕЗДОЛЕТ. Вот видишь — там, в Лебеде, чуть левее во-он той крупной яркой звезды? Там прячется махонькая, невидимая тебе тусклая звездочка. К ней и лежит твой путь, моя маленькая Джуди. Возьми с собой кого-нибудь. Путешествие будет долгим. — А что я там найду, когда долечу? — Большого гнусного верзилу — газовый супергигант, обращающийся вокруг звезды на том же расстоянии, что и Сатурн вокруг Солнца. Вот что ты там найдешь. Вокруг него яблоку некуда упасть от лун. Одна из них наверняка сгодится для земной жизни. А если и не сгодится, не важно: какая разница, что терраформировать — астероид, комету, луну газового супергиганта вдали от Солнечной системы? Все различие лишь в масштабе. Видишь ли, все, что нужно для приручения новой солнечной системы, у нас есть с собой. Углерод, водород, азот да кислород — вот и все. У тебя их до фига и больше. А может, мы тебя так полюбим, что и планеты никакие не понадобятся. На кой черт нам сдались эти катышки из гравитации и грязи. Мы Свободные Мертвецы, ясно? Пространство и время принадлежат нам.

Двадцать живых мертвецов — команда кометы Джуди — собрались в штабном бункере, вырытом в недрах этого ледяного шарика, чтобы спланировать битву. Остальные пятьсот сорок путешественников выполняли функцию сверхпроводящих тектор-матриц в сердечнике из замороженного гелия. То были мертвые мертвецы, которых предполагалось воскресить из кометного вещества уже после переезда в новый дом. Члены экипажа парили в нано-невесомости, кружась среди летучих нагромождений приборов. Они были прекрасны странной красотой — как боги и ангелы. Подобно ангелам, они умели летать. Подобно богам некоторых народов, они были четвероруки. Изящные, ловкие верхоруки; сильные, цепкие низоруки, растущие из поясничного отдела позвоночника, превращенного в мощные спинные лопатки. Их кожа, непроницаемая для радиации и вакуума, служила органом фотосинтеза. Красотой и пестротой расцветки она ни в

чем не уступала шкурам хищных животных. Полоски, зеленые завитки на оранжевом фоне и синие на черном, фрактальные узоры, флаги легендарных государств, татуировки. Люди в картинках.

Элена Асадо, нежась в ласковых щупальцах сенсорной сети, сообщила им печальные вести. Как только она открывала рот, флуоресцентные заплаты на ее плечах, бедрах и пониже живота начинали светиться.

— Эти сволочи преодолели W-барьер. Наверное, спалили весь водород в своих баках до последней молекулы. Теперь у нас всего шестьдесят четыре часа до атаки.

Капитан кометы, ветеран мятежа на Марлен-Дитрих, изменил ориентацию и заглянул в лицо Хорхе, бортинженеру по реконфигурациям.

— Первая линия обороны? — Кожа капитана Савиты была усыпана филигранными крапинками — миниатюрными светло-зелеными листьями бамбука на солнечно-желтом фоне. Этот мирный узор не вязался с напряженной атмосферой в бункере.

— Ракеты первой волны будут выращены и приведены в боеготовность через двадцать шесть часов. С истребителями хуже. При всех моих стараниях ассемблеры управятся не скорее чем за шестьдесят шесть часов.

— А что ты успеешь сделать за время, которое есть? — спросил Сол Гурски.

— Если поможете, я мог бы упростить конструкцию истребителей для ближнего боя.

— До какой степени упростить? — спросила Элена.

— Бронированные скафандры с маневренными движками — вот и все.

«Нам надо постоянно работать мозгами, — подумал Сол. — А корпорады так сильны, что для победы им нужна всего одна гениальная мысль...»

Звездная война не только швырялась пространством и энергией — она расточала время. Пока новые конструкции росли, Сол Гурски провел большую часть двадцати шести часов, оставшихся до запуска ракет, на льду, подставив обнаженное тело звездам, воображая, что их лучи согревают его лицещит. Прошло пять лет с того дня, когда он пробудился от своей второй смерти в жилом «пузыре» на Марлен-Дитрих, но так и не перестал дивиться красоте звезд. Вернувшись с того света, ты привязываешься к первой увиденной тобой вещи. Для Сола это были звезды — много-много звезд за прозрачным тектопластиком «пузыря».

Все началось с Элены. Спутники в жизни — ныне спутники в

смерти. Некровилль не стал для них тихой гаванью. Этот беззаконный город дал Адаму Тесслеру новые, более широкие возможности для утоления его зависти. «Повелители Бенталя» — вот как они себя называли. Буйные, свободные, мертвые. Наверное, они даже не знали, что работают на «Тесслер-Танос», — но все равно убили ее в баре мертвецов на Фатальном бульваре. Охотничьим гарпуном. На ее лбу они вырезали свой знак — череп, в опровержение знака смерти, который Сол нанес на ее ладонь. Теперь ты и вправду мертва, Элена. Он с самого начала знал, что на Земле их в покое не оставят. Компаньерос из Дома Смерти подделали контракты космических баз «Найтфрайта». Таблетка, которую принял Сол, оказалась поразительно горькой, а падение в белый свет — таким же жестким, как ему запомнилось в первый раз.

Звезды. В них можно потерять себя; душа рвется из тела, глаза созерцают. Где-то там движется пока еще невидимое созвездие из восьми сгрудившихся в кучку, беззвучно несущихся.... Созвездие убийц. Созвездие смерти.

Все вышли посмотреть на то, как из черных, пророщенных в зыбком льду шахт вылетят ракеты. На дистанции в двадцать кеев их химические двигатели начали изрыгать огонь — в космосе прибавилось еще одной галактикой белых звезд. Мертвецы провожали ракеты взглядом, пока те не растаяли вдали. Двенадцать часов до столкновения. На ракеты никто особо не надеялся — в лучшем случае зенитчики живых истратят на них пару тысяч своих снарядов, вот и вся польза.

Широкую талию кометы опоясывала дюжина пром-модулей, внутри которых созревали истребители Хорхе и Сола. Сол, как зачарованный, следил за их медленным — молекула по молекуле — ростом. То были зловещие черные зверюги, андреевские кресты, отлитые из расплавленной кости. В центре — полость в форме человеческой фигуры. Пилот летал с распростертыми руками. Низоруки сжимают штурвалы турберов; верхоруки подзаряжают и наводят струи-лазеры. Боковым астральным зрением Сол вновь видел темных, хлопающих крыльями тварей, с которыми как-то раз уже встречался. Тогда он обхитрил этих ангелов-стервятников. И опять их перемудрит, будьте покойны.

Первый раунд битвы начался в 01:45 по общекосмическому времени. Соломон Гурски сотоварищи наблюдали за ним из теплой, закутанной в множество ледяных слоев штабной «матки». Его виртуализированное зрение воспринимало пространство в трех измерениях. Вот синие цилиндры — корабли корпорад. Белая стая, что устремляется к ним со всех возможных сторон, — ракеты. Одна взрывается, не дотянув до синего цилиндра. Еще

один взрыв. И еще. Сплошное зарево света, точно полыхнуло несколько сверхновых разом, заливает дисплей в голове Сола — первая волна ракет аннигилирована. Ее место занимает резервная. Но и ее авангард взрывается — распускаются очаровательные, недолговечные голубые цветы. Чуть поближе к цилиндрам. Чуть-чуть поближе — но живые успели отбить удар. Сол видит, как пришедшая с юга одинокая боеголовка, совершив вираж в вакууме, устремляется к передовому кораблю, поражает его — только красный огонь полыхнул.

Экипаж Джуди кричит «ура». Один враг пал, текторы из боеголовки превратили его в кипящий шлак.

Прочие корабли уцелели. Теперь вся надежда на истребители и их пилотов.

Под голоса, отсчитывающие минуты до старта, Сол и Элена слились в объятиях. Низоруки и верхоруки сцепились в невесомости переднего НП. За прозрачным куполом, похожим на земной небосклон, медленно кружились звезды. Любовь не выдерживает испытания смертью; Элена осознала эту горькую истину, поняла всю тщетность своих иллюзий в доме на холмах, когда воображала свою близость с Солом. Но любовь способна расти и преображаться по мерке вечности. Когда их тела обсохли, они заклеили свои нежные, интимные органы вакуумно-непроницаемой кожей и поднялись наверх, к пусковым установкам.

Сол помог ей залезть в полость истребителя. Тектопластиковые пальцы вцепились в Элену, подключились к электромагнитным цепям ее кожи. Ангельский скафандр ожил. При телепатических разговорах они научились одному трюку — массажу периферийной нервной системы, при котором внутренние поверхности тел словно целуются. Краткое мурлыканье обоюдного удовольствия — и Элена взлетела, оставляя за собой след из мерзлых капель тектополимера. Защитники Джуди будут сражаться в безмолвии и тьме. Этот телепатический поцелуй — их последний радиоконтакт до самого отбоя. Соломон Гурски проводил взглядом синие, точно заикающиеся турберы, пока они не слились со звездами. Реактивная масса была ограничена; те, кому суждено вернуться из этого полета, сбросят по дороге свои ангельские скафандры и дотянут до дома на солнечных парусах. Сол спустился вниз — наблюдать за битвой при помощи молекул, щекочущих лобные доли.

Ангелы Джуди разделились на две эскадрильи. Одна занималась противоракетной обороной, другая поднялась вверх по эклиптике, чтобы спикировать на корабли корпорад и

уничтожить их, прежде чем они успеют открыть огонь. Элена входила в группу ближней обороны. На ментальном дисплее Сола ее ангелолет был обозначен крестиком в красно-золотую тигровую полоску — под цвет ее кожи. Сол смотрел, как она описывает замысловатые петли вокруг кометы, меж тем как синие цилиндры живцов приближаются к плоскости, обозначенной как «огневая дистанция».

Внезапно семь синих цилиндров выплюнули облако актинических искр, которые фейерверком посыпались на комету.

— Матка боска! — тихо воскликнул кто-то.

— Пятьдесят пять «g», — спокойно сообщил капитан Завита. — Контакт через одну тысячу восемнадцать секунд.

— Разве их всех перехватишь, — пробормотал мертвец с мондриановской кожей — Коуб, занявший место Элены при дальнедействующих сенсорах.

— В первой волне сто пятнадцать контактных единиц, — доложил Хорхе.

— Сол, поддай гравитации, — сказал Савита.

— Стоит превысить одну тысячную «g», и погонщик массы погнется к черту, — ответил Сол, открыв второе окно на своем ментальном дисплее.

— Хоть что-нибудь — только бы им расчеты подпортить, — настаивал Савита.

— Ладно, сейчас рискну.

Сол был рад с головой погрузиться в задачу: «Как выжать из огромной электромагнитной пушки еще немного мощности?» — только бы не видеть векторов атаки и отрезных плоскостей перехватчиков в миг, когда эскадрилья ближней обороны сблизится с ракетами. И, что еще важнее, ему не придется следить за петлями и виражами полосатого крестика. Не придется бояться, что в любую секунду крестик наткнется на плотную синюю кривую и сгорит в костре аннигиляции. Синие звезды гаснут, заметил он, гаснут одна за другой. Но медленно. Слишком медленно. Слишком нечасто.

Компьютер подсказал ему решение проблемы. Сол ввел команду в погонщика массы. Изменение в величине ускорения было легким, точно замедленный выдох.

Одного они уже потеряли — исчез лиловый в крапинку Эмилио. А половина ракет по-прежнему держится заданной траектории. В верхнем правом углу его виртуального поля зрения невозмутимо тикают часы. До контакта шестьсот пятнадцать секунд. Десять минут жизни.

Но истребители уже сновали среди корпорадников, уворачиваясь от ослепительных очередей автоперехватчиков

ближнего боя. Флотилия живых попыталась рассыпаться в разные стороны, но у ее кораблей — неуклюжих увальней — не хватало реактивной массы. Истребители Джуди порхали среди них, ведя снайперскую стрельбу: кому-то срезали пусковую установку, еще кому-то сорвали солнечную батарею, вспарывали «пузыри» жизнеобеспечения и топливные баки — и неспешно взрывался, переходя в газообразное состояние, водород. Тринадцатилетние пилоты погибали, корчась от наркотической ярости, проливались в вакуум струями быстрозамерзающего геля-амортизатора. Флот противника таял на глазах. Было семь кораблей — осталось пять. Было пять — стало три. Но живые не были покорными жертвами; из шести участвовавших в бою мертвецов лишь двое вырулили на орбиту свидания с кометой. Их лазеры умолкли, реактивная масса иссякла. Пилоты катапультировались. Развернули свои солнечные паруса — щиты света.

Два корабля живых уцелели. Один лег на возвратную орбиту, затратив на это последние граммы своей маневровой массы. Зато другой направил топливо своего турбера через блип-жерло — держа курс прямо на Джуди.

— Идет на таран, — сказал Коуб.

— Сол, уверни ся от него, — приказал капитан Савита.

— Он слишком близко. — Цифры в голове Сола были беспощадны. — Даже если я срежу ему сопло, он сможет качать газы жизнеобеспечения через СТУ.

Бункер тряхнуло.

— Дерьмо! — выругался кто-то.

— Поцарапал, — доложил Коуб. — Было бы прямое попадание — если бы Сол не прибавил скорости.

— Погонщик на месте, — сказал Сол.

— Рэлея сбили, — сказал капитан Савита. Пятьдесят ракет превратились в двадцать, но Эмилио и Рэлея больше нет, а ракеты приближаются. Мало места для маневров. И вообще нет места для ошибок.

— До контакта с кораблем двести пятнадцать секунд, — объявил Коуб. Большинство ракет тянулось в хвосте кометы, не в силах догнать ее. Огава и Скин, узоры Мандельброта и крапинки далматинца, вели арьергардный бой, подавляя ракеты, которые пытались вновь нащупать цель. Оливково-зеленые волны и красные тигровые полоски развернулись лицом к кораблю живых. Кинсана и Элена.

Вот так влипли!

В этот миг Сол пожалел, что в голове у него сидит этот график. Он жалел, что не слеп. Лучше внезапная аннигиляция, слепота и невежество, смертоносный свет. Видеть, ЗНАТЬ, считать

секунды на таймере — это же мучительнее казни. Но внутренние глаза невозможно зажмурить. И он наблюдал, бессильный, как белый протуберанец с корабля живых пронзил и раскрошил оливково-зеленый крест Кинсаны. Он наблюдал, как Элена обстреляла корпорадника продольным огнем из своих лазеров, разрубила его на трепещущие куски, и сами собой взорвались двигатели, и обломки корабля выстроились дугой в космосе, уносясь от кометы Джуди. А он наблюдал — и даже не мог отвернуться, — как Элена совершила слишком медленный, слишком поздний, слишком мелкий вираж, и взорвавшийся модуль экологического отсека оторвал ей ноги-турберы и солнечный парус: она закувыркалась в вакууме, изувеченная, уничтоженная.

— Элена! — вскричал он обоими своими голосами. — Элена!

Элена Асадо падала в бездонную пропасть, к красивым скоплениям галактик в созвездии Девы.

Последний припадок гнева, которым Земля проводила своих детей, завершился: от двадцати ракет осталось Десять, потом — пять, потом — одна. И наконец, ни одной. Комета Джуди продолжала свое медлительное восхождение по стенкам гравитационного колодца Солнечной системы, к непроглядной тьме и умопомрачительному холоду. Ее пятьсот двадцать душ спали крепким сном невинных младенцев, так, как могут спать только мертвые в ледяных гробницах. Вскоре к ним присоединятся Соломин Гурски и все остальные — растворятся в гостеприимном льду, умрут на пятьсот лет, пока комета не доберется до другой звезды.

«Будь это сон, я мог бы забыться», — подумал Соломон Гурски. Во сне все меняется, воспоминания превращаются в грезы, а грезы — в воспоминания. Во сне есть время, а время — это перемены и, может быть, шанс забыть ее фигурку, которая вечно кружится в вакууме, и силы, которые уже воскресили ее однажды, вновь возрождают ее, она питается солнечным светом и не способна умереть. Но его ожидал не сон. Его ожидала смерть, и для него все прекратило свое существование.

пятница

Они вместе смотрели, как горит город. То был один из декоративных городов равнины — Народ Дальнего Прицела строил их и оберегал для праздников, которые проводились каждые четыре года. Маленький, сверкающий, как бриллиант, город чем-то напоминал цветок, чем-то — спираль, чем-то — морскую волну. Его можно было бы с одинаковой точностью назвать огромным зданием и небольшим городком. Он горел удивительно элегантно.

Линия тектонического разлома делила его на две половинки. Трещина была четкой и аккуратной — Народ Дальнего Прицела ни в чем не изменял своему стилю, — она рассекала криволинейные здания сверху донизу. Земля трепетала — еще не затихли отголоски толчков.

Город мог бы сам себя починить. Он мог бы потушить пожар, вызванный, рассудил мужчина, прорывом магмы в расщелину, заново вылепить расплавленные крыши и башни, стереть с себя копоть, навести мосты над трещинами и провалами. Но его текторные системы остались без руководства — душа города отлетела к Небесному Дереву, догоняя остальных людей из Народа Дальнего Прицела, ибо все они покидали планету.

Женщина смотрела, как дым поднимается в сумеречное небо, застилая огромный опал Уризена.

— Зря он это делает, — сказала она. Ее кожа говорила о скорби, смешанной с недоумением.

— Он им больше ни к чему, — ответил мужчина. — А в разрушении есть своя красота.

— Меня от нее страх берет, — сказала женщина, и узор ее кожи подтвердил эти слова. — Я еще ни разу не видела, как что-то КОНЧАЕТСЯ.

«Повезло тебе», — подумал мужчина на языке, пришедшем из иного мира.

Перед его метеоглазами закружился вихрь — надвигалась большая буря. Впрочем, с тех пор как начались орбитальные пертурбации, мелких бурь здесь не видали. С каждым разом они были все масштабнее. В конце концов ураганы вырвут леса с корнем, и атмосфера с воем унесется в космос.

Сегодня днем, во время своего путешествия к воспоминаниям мужчины, они наткнулись на пустую гавань; вместо воды — голое дно, замусоренный песок, понтоны разломаны и разбросаны волной цунами. Лодки они обнаружили на берегу, раскиданными так, что от первой до последней было полчаса пути. Из дюн

торчали полузасыпанные песком пустые панцири; с деревьев свисали мачты и паруса.

Да, погода первой вырвалась из-под контроля. Мужчина ощутил, что тело женщины внезапно напряглось. Ее тревожило все происходящее — весь этот четвертьфинал игры в конец света.

Когда они добрались до укромной долины — самого безопасного места ночевки, какое мог подобрать мужчина, — поднялся ветер, начал извлекать из кривых башен и расселин мертвого города тихие стоны и аккорды. Плащи-серводухи путников соединились, пустили в скалы корни, чтобы построить ночные панцири. Мимо пронеслась стайка пузыриков, трепещущих, отливающих радугой на ветру. Женщина поймала одного в ладонь; крохотное животное-машина на миг присосалось к ней, питаясь ее биополем. На его прозрачной коже выступили разводы, похожие на бензиновые пятна в лужах. Задрожав, оно лопнуло, превратившись в тающий пузырь тектоплазмы. Пока серводухи достраивали укрытие, женщина не сводила с пузырика глаз — но он так и не ожил.

Их соитие под зубчатым щитом, слепленным серводухами из силикатов местных скал, было одновременно нетерпеливым и холодным.

«Секс и смерть», — произнес мужчина той частью своей головы, которую не могла подслушать и ретранслировать даже его телепатическая гортань души. Мысль чужака.

Потом ей захотелось поговорить. Она любила завершать секс разговорами. Против своих правил, она не попросила его рассказать, как он и остальные Пять Сотен Отцов строили этот мир. Она считала, что «разговор» — это когда говорит один. Сегодня ей не хотелось разговаривать о начале мира. Она пожелала услышать рассказ о его конце.

— Знаешь, что в этом для меня самое гадкое? Не то, что все кончится — все-все, что вокруг нас. Самое гадкое — что пузырик взорвался в моей руке, а я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ, как это могло случиться. Во сколько раз больше него вся наша планета?

— Для того, что ты переживаешь, есть одно слово, — осторожно прервал ее мужчина. Гирошторм разбушевался всерьез, прямо над куполом их панциря. «Толща кожи — вот и все, что не дает ветру сорвать плоть с моих костей», — подумал он. Но текторы крепко, мертвой хваткой держались за коренную породу. — Это слово «умирать».

Женщина села, подтянув колени к подбородку, обхватив их руками. Нагая. Гирошторм насквозь продувал ее душу.

— Для меня самое гадкое, — продолжала она, помолчав, — что так мало времени осталось. Я не успею это все увидеть, все

перечувствовать до того, как оно уйдет в холод и тьму.

Она была Зеленой, рожденной во втором из быстрых времен здешнего короткого года; Зеленая из Народа Потаенного Замысла; первая, кто появился на свет в пуэбло Олд-Ред-Ридж за восемьдесят лет. И последняя.

Ей было восемь лет.

— Ты не умрешь, — сказал мужчина, распустив по коже завитки уверений и заботы, похожие на грозовые вихри великого Уризена под клубами гироштормовых туч. — Ты не можешь умереть. Никто не умрет.

— Да знаю я. Никто не умрет, мы все изменимся или заснем вместе с планетой. Но...

— Страшно отказываться от этого тела?

Она коснулась лбом своих колен, покачала головой.

— Неохота его терять. Я только начала понимать, какое оно — это тело, этот мир, а у меня все отнимают, и все способности, с которыми я родилась, тут бесполезны.

— Есть силы, которые выше даже нанотехнологии, — сказал мужчина. — Она помогла нам покорить материю, но над фундаментальными измерениями — гравитацией, пространством, временем — она не властна.

— Почему? — спросила женщина. Мужчине, который вел счет по древним, долгим годам, послышалась в ее голосе интонация земных восьмилетних девочек.

— Со временем узнаем, — ответил мужчина, хотя и понимал: это не ответ.

Женщина это тоже почувствовала, а потому сказала:

— Со временем... а Орк будет себе болтаться в двухстах миллионах лет от тепла ближайшего солнца, и его атмосфера станет ледяной коркой на этих горах и долинах.

«Горе», — говорила ее кожа. «Ярость». «Тоска по утраченному».

Двухтысячелетний старец прикоснулся к маленьким, задранным кверху грудям молодой женщины.

— Мы знали, что орбита Уризена нестабильна, но кто бы мог предвидеть влияние Ульро?

Какая ирония: эта планета, нареченная именем демона огня из книг Уильяма Блейка, будет ввергнута во тьму и льды, меж тем как Уризен и его уцелевшие луны станут коптиться в двух миллионах километров над поверхностью Лоса.

— Сол, ты не обязан извиняться передо мной за ошибки, которые совершил две тысячи лет назад, — сказала молодая женщина, которую звали Ления.

— Тем не менее мне кажется, что я обязан извиниться перед

планетой, — возразил Сол Гурски.

Теперь кожа Лении гласила «надежда» с оттенком «неотвратимости». Ее соски набухли. Сол вновь наклонился к ним, меж тем как ветер конца света точил свои когти о тектопластик.

Утром они продолжали свое путешествие к воспоминаниям Сола. Гирошторм выдохся и погас в горах Утуна. Остатки призрак-сети сообщили Солу и Лении, что сегодня погода летная. Они пососали молоко из «Древа жизни» — синтезера, которым был снабжен панцирь, — а потом вновь занялись любовью на пыльной земле, пока серводухи превращали ночное укрытие в стандартный флаер-универсал. Остаток утра они провели в небе, пролетая над равниной, по которой, точно рябь на воде, двигались волны жвачников и высоких, хищно-угловатых погонщиков из Народа Техобслуживания. Все они тянулись к Небесному Дереву, растущему из пупа земли.

И жвачники, и их пастухи когда-то были людьми. В полдень мужчина и женщина повстречали флаер из Народа Щедрого Неба, который ловил своими шелковыми крыльями термальные потоки, поднимающиеся от подножия Больших Хризолитовых гор. Сол мыслеокликнул его, и они вместе совершили посадку на поляне в роще горькокорня, обильно произрастающего в Корифейском Кантоне. В прежнее время человек из Народа Щедрого Неба, следуя своим традициям, побрезговал бы наземниками, ибо их машины пачкают воздух. Но в этот тревожный час было уже не до старых обычаев.

«Куда направляешься?» — мыслеспросил Сол. В его голове трещали радиопомехи — оборванный хвост гирошторма создавал электромагнитное возмущение.

«Конечно, к Небесному Дереву, куда же еще», — ответил крылатый человек.

Глядеть на него было страшновато — то был живой воздушный змей из прозрачной кожи, натянутой на тонюсенькие косточки и сухожилия. Его грудь походила на нос корабля, а мускулы сокращались и перекручивались, когда он переминался с ноги на ногу, неуютно чувствуя себя на земле. Легкий ветерок веял от нановинтов, выращенных на кожистой паутине-перепонке, которая соединяла его запястья со щиколотками. В воздухе стоял необычный запах пота.

«Куда вы сами?»

«Со временем тоже к Небесному Дереву, — сказал Сол. — Но вначале я должен забрать мои воспоминания».

«А-а, отец, — сказал Человек Неба. — Чей ты?»

«Потаенного Замысла, — сказал Сол. — Я отец этой женщины

и ее народа».

«Ты Соломон Гурски, — мыслемолвил летучий. — Моя прародительница — Ника Самотреидская».

«Я хорошо ее помню, хотя мы много лет не виделись. Она храбро сражалась в битве при комете Джуди».

«Я третий в ее роду. Тысячу восемьсот лет я провел на этой планете».

«Один вопрос, если можно. — Мыслефраза Лении яркой вспышкой ворвалась в разговор стариков. Используя почтительную форму обращения, употребляемую людьми в разговоре с многоопытными старшими, она спросила: — Когда пробьет час, как ты изменишься?»

«Легко сказать, — ответил человек Щедрого Неба, — я реконфигурирую себя для жизни на Уризене. Найду среднее между внешностью человека и обличьем реактивного воздушного ската: главное, летать, а уж там полетать можно вволю! Облачные каньоны стокилометровой глубины; ветра, несущиеся со скоростью пятьсот километров в секунду; термальные потоки величиной с континенты; безумные бури, которые несутся по всей планете! И никакой почвы, никакой базы: возможность навеки улететь от тирании земли. Мы будем слагать циклы песен — эдды, которые обогнут половину планеты на реактивных ураганах Уризена!» — Человек Щедрого Неба в упоении зажмурил глаза. Но внезапно распахнул их. Его ноздри раздулись, ощущая незаметные для других перемены в атмосфере.

«Надвигается новый шторм, еще сильнее прошлого. Вам лучше укрыться внутри скал, ибо он вырвет из почвы горькокорни».

Он расправил крылья. По перепонкам пробежала рябь. Легкий прыжок — ветер подхватил его и через миг уже вознес в термальном потоке. Сол и Ления проводили его взглядом — перескакивая с одного восходящего потока на другой, он вскоре растворился в небесной синеве.

Чтобы поболтать и размять ноги, они продолжили путь пешком. Держась кочевой тропы Народа Тяжкой Торговли, они пересекли тивовые леса на юге Корифейского и Эмбервайльдского Кантонов. К вечеру, когда поднялся ветер и тивы зашелестели иголочками, точно сплетничая между собой, они увидели человека из вида Пепельных, который сидел на стуле на маленькой полянке среди деревьев. Он был такой длинный, что складывался кольцами, а его кожа гласила, что он долго не имел хозяина и сильно ослаб. Ления протянула ему свою руку, и хотя у Пепельного, паразита Народа Подземных Коммуникаций, была не очень хорошая совместимость с Народом

Потаенного Замысла, он благодарно принял ее тепло, морфоэнергию и несколько капель крови.

— Где твой хозяин? — спросила его Ления. Паразиты знают языки большинства племен. Хозяев, как и любовников, лучше всего соблазнять словами.

— Ушел со стадами, — ответил Пепельный — К Небесному Дереву. Это конец.

— И что ты станешь делать, когда Орк будет выброшен из системы? — Надрезы на предплечье Лении, через которые человек-паразит сосал ее кровь, уже заживали.

— Я не могу жить один, — ответил Пепельный. — Я попрошу землю разверзнуться, поглотить меня и убить. Я буду спать в земле, пока тепло нового солнца не разбудит меня для новой жизни.

— Но это случится лишь через двести миллионов лет, — сказала Ления.

Пепельный поглядел на нее, точно говоря, «год, миллион лет, сто миллионов лет — для смерти они все равны». Подумав, что Пепельный посчитал ее желторотой дурочкой, Ления невольно оглянулась на него, когда они с Солом вновь побрели по тропе между тивами. Она увидела, как паразит прижался к земле, точно к хозяину — животом и гениталиями. Вокруг него заклубилась пыль. Он медленно погружался в землю.

В ту ночь Сол с Лением не занимались любовью — впервые с тех пор, как Соломон-Странник пришел в пуэбло Олд-Ред-Ридж и покорил сердце смуглой девушки, танцевавшей в кругу, в ту ночь случилось самое сильное с незапамятных пор землетрясение — Орк зашатался на орбите, и даже тектоалмазный панцирь казался ненадежным укрытием от сил, которые способны вышвырнуть в глубокий космос целую планету. Они молча застыли в обнимку, пока земля не угомонилась и панцирь не накалился от тепловой волны — это горели тивовые леса Эмбервайльдского Кантона.

Наутро они морфировали свой модуль в пеплоход и проехали по сгоревшему лесу, к полудню достигнув берега Внутриземного моря. Сейсмическая травма исхлестала волнами скалистый островок, где Сол оставил свои воспоминания, но системы автономного ремонта, использовав последние резервы энергии, восстановили разрушенное.

Поскольку Сол твердо решил, что доберется до своих воспоминаний только по морю, они приказали пеплохо-ду трансформироваться в ялик. Пока текторы тасовали молекулы, из бурного прибоя на красную гальку выполз человек из Народа Синей Маны. Он был длинный, огромный, гладкобокий, шерсть короткая, похожая на дерн, в умопомрачительно-красивых

подпалинах. Он тяжело пыхтел — переход из родной стихии в чуждую стоил ему много сил. Ления фамильярно обратилась к нему — всего одно тысячелетие назад Потаенные Замыслы и люди-амфибии Синей Маны были одним народом — и задала вопрос, который задавала всем встречным.

— Я уже строю из моих жировых запасов летательный аппарат, чтобы добраться на нем до Небесного Дерева, — ответил Синяя Мана. — Если за это время климат не переменится.

— Как там в море — худо? — спросил Соломон Гурски.

— Моря первыми чувствуют перемены, — сказал человек-амфибия. — Худо? Да, очень. Как подумаешь, что Мать-Океан промерзнет до самого дна — просто трясти начинает.

— Значит, ты отправишься на Уризен? — спросила Ления, решив, что между плаванием и полетом должно быть много общего.

— Нет, милая моя, что ты. — Кожа человека Синей Маны выразила недоуменное удивление. — Почему я должен терпеть от судьбы меньше, чем Мать-Океан? Нас обоих ждет лед.

— Кометный флот, — догадался Соломон Гурски.

— Земной корабль завещал нам, что во Вселенной, где мы живем, много обителей. Я мечтаю увидеть другие заселенные людьми системы, о которых нам рассказал корабль, перепробовать другие способы быть человеком.

Сто орковских лет тому назад в систему Лоса прибыл второй звездолет-комета с Земли, чтобы подзаправиться от колец Уризена. Он принес вести, что нанотехнология трудолюбивых мертвецов преобразила их родную систему, а модернизированные, более быстрые и мощные потомки кометы Джуди достигли других звезд. Так завершились тысяча девятьсот лет одиночества — первая, одинокая колония на Орке воссоединилась с дерзким сообществом, шагающих по звездам мертвецов. «Задолго до твоего появления», — подумал Сол, глядя на ложбинку между ягодицами Лении, которая присела на корточки на гальке, чтобы поговорить с человеком Синей Маны. «Появление». За этим термином маячила тень древнего, более глубокого слова. Слова, устаревшего во вселенной мертвецов. «Рождение». На Орке никто никогда не рождался. Никто не знал детства, никто не рос. Никто не старел, никто не умирал. Они «появлялись». Они покидали тестатор полностью сформированными, точно боги.

Сол знал слово «ребенок», но с внезапным ужасом понял, что больше не видит этого слова. Оно стало пустым, темным. Столько вещей развоплотилось в сконструированном им мире!

По морю и по воздуху. Обмен стихиями. Ялик Сола Гурски

был достроен одновременно с тем, как текторы Синей Маны превратили его подкожное сало в летающую машину. Сол смотрел, как она, кружась, поднялась вверх и улетела на юг, меж тем как лодка, качаясь на волнах, спешила к острову памяти.

«Мы живем вечно, мы преображаем сами себя, мы преображаем планеты и солнечные системы, мы путешествуем со звезды на звезду, для нас нет ни времени, ни смерти, но есть нечто, чего мы не можем восстановить, — это память, — подумал он. В кильватерный след ялика ныряли голодные, надеющиеся на поживу морские птицы. — Потревоженная вода выносит наверх много всякого-разного. Мы не можем восстанавливать наши воспоминания — их приходится хранить отдельно, когда наши жизни переполняются, бьют через край, расплескиваются. У нас, у Пяти Сотен Отцов, воспоминания глубокие, много раз опустошенные».

Остров Сола представлял собой наклонную каменную плиту в экваториальном море — несколько скалистых гектаров. В его высочайшей точке, под сенью кривых ретро-олив и кипарисов, стоял маленький дорический храм. Хозтекторы преданно оберегали его от земных бурь. Теперь Сол стыдился своего былого увлечения античностью, но Ления пришла в восторг от этого стиля. Она пустилась в пляс под оливами, под портиками, в дверных проемах. Сол вновь увидел ее такой же, как в ту первую ночь, в хороводе танцующих в честь окончания Малого года, в Олд-Ред-Ридже. Старая страсть. Новая боль.

В освещенном солнцем центральном зале Ления притронулась руками к барельефам из жизни Соломона Гурски. Они не уступили ее пальцам своих воспоминаний, но говорили с ней менее изощренным способом.

— Эта женщина... — Она задержалась перед изваянным в белом камне изображением. Соломон Гурски и высокая женщина с красивым аскетичным лицом стояли обнявшись на улице забытого города.

— Я любил ее. Она погибла в битве при комете Джуди. *Истинной* смертью. Я потерял ее.

— Значит, все дело в том, что я ее тебе напоминаю?

Он прикоснулся к барельефу. Воспоминание, яркое и пронзительное, как боль, растеклось по его нервам; мнемотекторы загрузились в его ауру ЭЛЕНА. И еще воспоминание — из Числа орбитальных, когда завершился Долгий Поход, объект, ранее именуемый кометой Джуди, рассыпался, превратился в паутину из балок, ферм и жилых модулей, которые неслись над красными мерзлыми пустынями Орка. Паутина, увешанная зрелыми плодами; спусковые модули,

готовые просыпаться на новую планету, засевая ее семенами жизни. Тектоформирование. Среди плодов были и семена Пяти Сотен Отцов, прародителей всех рас и народов Орка. В том числе — Потаенный Замысел и Соломон Гурски, четверорукий, вакуумно-непроницаемый аватара жизни и смерти, оседлавший балку, во главе штормов Уризена. Преображающие верхоруки Сола прикасаются к основной памяти семени-матки. Запомнить ее. Запомнить Элену. И когда-нибудь — рано или поздно — вернуть назад. «Впечатать в нее влечение к моему запаху, чтобы, где бы она ни была, с кем бы она ни была, она пришла бы ко мне».

Он увидел себя удирающим, точно виноватый паук по нитям, на фоне модулей, которые падали на поверхность Орка.

Он увидел себя в этом же храме, в миг, когда луны Уризена были в сизигии, увидел, как прикасался к барельефу, вкладывая в него то, что камень вернул ему сейчас. Ибо он знал, что пока Ления будет единственным напоминанием об Элене, он может притворяться честным. Но знание все убило. Ления была не просто напоминанием. Ления была Эленой. Ления была симулякром, пустотелой подделкой. Ее жизнь, радость, печаль, любовь — сплошной обман.

Он никогда не предполагал, что она вернется к нему перед самым концом света. Им не хватило бы и тысячелетий. Но планета дала им лишь считанные дни.

Он был не в силах глядеть на нее, пока ходил от барельефа к барельефу, заряжая свою ауру воспоминаниями. Он не мог прикоснуться к ней, пока они ждали на гальке перед яликом, который трансформировался в флаер для полета к Небесному Дереву. В высочайшей точке островка-плиты Храм Памяти расползался на части, точно гниющий гриб. Он не пытался заняться с ней, как раньше, любовью, пока флаер скользил над растерзанными ландшафтами Теля и горелыми лесами Хризобериллов.

Она не понимала. Она думала, что чем-то его расстроила.

Да, она его расстроила — но виноват был сам Сол. Он не мог сказать ей, почему внезапно сам себя изгнал из ее тепла. Он знал, что должен объяснить ей это, что это нужно — но не мог себя заставить. Он изменил выражение своей кожи на пассивную немоту и задумался о том, что за пятьсот долголет можно сделаться настоящим трусом.

Они — а вместе с ними и вечер — ворвались на Плато Небесной Глади, посреди которого высилось Небесное Дерево, несокрушимый черный луч, направленный прямо на глаз Уризена. Насколько хватало глаз, равнина мерцала огоньками и

кострами транспорта и лагерей. Тепло-зрение зафиксировало миллион светляков; на этом последнем редуте собрались все обитатели Орка, кроме тех, кто предпочел уйти в землю. Вшитые в моухоу антисейсмические текторы оказывали отпор землетрясениям, терзавшим все прочие области планеты, но ярость толчков неуклонно усиливалась, предостерегая людей, что запас прочности иссякает. В конце концов Небесная Гладь треснет, как яйцо, а Небесное Дерево, обломившись, отскочит в космос, точно отрубленный нерв.

Идент Сола, удостоверявший его принадлежность к Пяти Сотням Отцов, позволил его флаеру покинуть спиральную очередь воздушных судов, летательных аппаратов и аэролюдей, которая обвивалась вокруг ствола Небесного Дерева, и занять привилегированное место на подъемнике. Флаер нагнал «челнок» на пятикилометровой высоте. Внезапная смена курса — теперь флаер несся к плоской стороне космического лифта. Была проведена синхронизация скорости с подъемником, который разгонялся все быстрее. Началось падение, от которого даже у бессмертных перехватило дух, возник крен: флаер ухватился своими зажимами за стыковочный сосок и повис, как клещ. После этого наступило долгое восхождение к небу.

Вынырнув из облака в стратосфере, Сол увидел, как над искривленным горизонтом планеты встает ослепительно белый бриллиант — Ульро. Пока еще маленький — не диск, но точка. Однако этот голый камушек, выжженный высококонцентрированным CO2 своей собственной атмосферы, был достаточно силен, чтобы выпихнуть в глубокий космос целую луну. Задрав голову к прозрачному тенту, Сол увидел изящные, усеянные огнями ветви Небесного Дерева, распростертые на сотни километров над ликом Уризена.

Сол Гурски нарушил молчание:

— Ты уже знаешь, что будешь делать?

— Ну, раз уж я здесь, то не уйду в землю. А ледяной флот меня пугает. Много веков быть мертвым, вмороженным в лед тектором. Похоже на смерть.

— Это и есть смерть, — сказал Сол. — Значит, отправишься на Уризен.

— Смена внешнего облика — только и всего. Еще один способ быть человеком. И преемственность — для меня это важно.

Он вообразил их прибытие: сила тяжести, все усиливаясь, тащит к планете спиральную вереницу вакуумно-прочных панцирей; между ними порхают искорки мыслеразговоров, нетерпения, упоения, страха, когда они скользнут по верхним слоям атмосферы и почувствуют, что их алмазную кожу лижет

ионное пламя. Ления падает, горит на огне посадки, и ее пылающий след виден половине планеты. Антитепловой панцирь трескается, и она разворачивает крылья под вечный вой ветра, и с ревом включаются воздушно-реактивные двигатели в ее бесплодной матке.

— А ты? — спросила она. «Нежность», — говорила ее кожа. Его молчание и первая фраза после этого молчания сбили ее с толку — но все равно кожа твердила: «нежность».

— Я кое-что задумал, — туманно ответил он.

Но поскольку этот замысел означал, что они больше никогда не встретятся, Сол рассказал ей то, что узнал в Храме Памяти. Он пытался сделать это по-доброму, но все равно получилось подло, и все время, пока они не вышли из атмосферы и не оказались на полдороге к небу, она проплакала в гнездышке на корме флаера. Он поступил подло. Глядя, как звезды за куполом разгораются все ярче, он не мог сам себе объяснить, зачем это сделал. Правда, есть вещи, которые необходимо убивать Истинной Смертью, чтобы они никогда не возрождались. Она все плакала и плакала, а ее кожа потемнела до полной немоты, но когда она взлетит, у нее в душе уже не сохранится ни любви, ни жалости к мужчине по имени Соломон Гурски.

«Хорошо быть ненавистным», — подумал он, когда Небесное Дерево подняло его на свои озаренные звездами ветки.

Пусковой лазер отдыхал, баки реактивной массы опустели. Соломон Гурски падал, все больше удаляясь от солнца. Уризен и его дети остались далеко позади. Он держал курс на север, прочь от эклиптики. Его кормовые глаза различали новое тусклое кольцо вокруг газового гиганта, тихо сияющее в теплодиапазоне: миллионы адаптированных ждали на орбите своей очереди, чтобы стремительно слететь вниз, к новой жизни.

Наверное, она сейчас с ними. Он проводил ее глазами, когда она вошла в семя и была демонтирована собственными серводухами. Он видел, как семя взорвалось и вышвырнуло ее в космос, уже преображенную, и как она спалила свои жалкие килограммы реактивной массы на пути к Уризену.

Лишь после этого он ощутил себя вправе приступить к собственной трансформации.

Рой жизни. Могущество. Почти истина — но какая вопиющая ошибка. Она чуть ли не пела, говоря о свободе бесконечного парения в облаках Уризена, но ей больше не видать такой свободы, как а этот миг — сейчас, когда она полностью открыта космосу, а перед ней распростерлась вся галактика. Свобода Уризена — обман, ее цена обусловлена давлением и гравитацией.

Она заточила себя в атмосфере и гравитации. Уризен — тоже планета. Человек-паразит из народа Пепельных погреб себя в толще планеты. Водный Синяя Мана, всласть отоспавшись во льду, разбудит к жизни лишь очередную копию стандартной модели. Планеты на планетах сидят и планетами погоняют.

Бесконечное множество способов быть человеком, подумал Соломон Гурски, удаляясь от солнца. Он ощущал кожей, как к болезненному покалыванию магнитного поля Уризена примешивается ласковое тепло солнечного ветра. Солнце восходит. Час близится.

Много способов быть Соломоном Гурски, подумал он, созерцая свое новое тело. Он отождествлял себя с шишкой. Он был еловой шишкой, упавшей с Небесного Дерева, набитой зрелыми семенами. Каждое семечко — Соломон Гурски, эмбрион целого мира.

Прикосновение солнца — вот что приоткрывало эти семена хвойных на той, иной планете, давным-давно. Выбор подходящего момента — слишком важное дело, чтобы препоручать его высшему разуму. Подсистемы запрограммировали все пусковые векторы, он всего лишь отметил, что ветер Лоса все сильнее давит на его кожу, и ощутил, что начинает лопаться. Соломон Гурски рассыпался на тысячу чешуек. Когда семена начали выскакивать, ложась на заданный курс, он сгорел в огне самого сладкого оргазма за всю свою жизнь, пока его личность не загрузилась в последнюю спору и не катапультировалась из опустошенного, мертвого тела-носителя.

Пролетев пятьсот километров, семена развернули свои солнечные паруса. Прерывистая волна частиц с помощью гравитационного поля Лувы и Энитармона разгонит эту светлую флотилию до скорости межзвездного перелета, и спустя много веков — много тысячелетий — световые парусники замедлят ход, и груз будет доставлен по назначению.

Он не знал, что найдут там его многочисленные личности. Отбирая цели, он не искал сходства с мирами, оставленными позади. Иначе вышла бы еще одна ловушка. Он ощущал, как его братья отключают свои когнитивные центры для большого сна — точно гаснут одна за другой звезды. Горсть разбросанных зерен — одни погибнут, другие прорастут. Кто скажет, что он найдет, — ясно лишь, что нечто поразительное.

— Сделай мне сюрприз! — потребовал Соломон Гурски от Вселенной, падая в тьму, которая разделяет солнца.

суббота

Ребро объекта равнялось 1,3 астрономической единицы. Если он сохранит свою нынешнюю скорость (10% от скорости света), то прибудет через тридцать пять часов. Развалившись в шезлонге у фонтана «Нептун», Соломон Гурски наконец-то подобрал для объекта имя. Очень долго, множество часов, на множестве языков он придумывал подходящее название для этого зловеще надвигающегося из космоса объекта. Больше всего ему понравилось имя на языке, который (по его расчетам) уже тридцать миллионов лет относился к разряду мертвых. ИТА. Аббревиатура: Инопланетный Таинственный Артефакт. «Таинственный Инопланетный Артефакт» было бы точнее, но тогда получилось бы слово, которое еще на одном древнем мертвом языке значило просто-напросто «тетя».

На Версальский парк упали тени — огромные и мягкие, как облака. По солнечному диску проплыл лес — маленький такой лесочек, чуть больше рощи, подумал он, все еще упиваясь понятиями, которые можно было выразить на том мертвом языке. Он проводил взглядом пролетевшие над его головой сферические деревья, каждое из которых имело один километр (опять архаизм) в диаметре, одновременно наслаждаясь приятной игрой холодных теней и теплых лучей на своей коже. Чувственные радости воплощения.

Когда перелетные леса мигрируют над руслами чернильно-черных рек Финтифлюшки, вслед за ними, перебраниваясь, спешат цедильники и жадно поглощают пюре из бактерий и сложных фуллерин. Так было и на этот раз.

Соломон Гурски затемнил свои глаза, оберегая их от слепящего света местного солнца — белого карлика. Кольцо Духов, тянувшееся от перспективы Версаля до экваториальной плоскости, казалось едва заметным глазу филигранным ожерельем, накинутым на звезду. Перспектива. Я ее эманация? Или она моя эманация?

Перспектива? Нашел о чем беспокоиться, когда на тебя во весь опор летит скелет-тетраэдрон с ребрами длиной в 1,3 астрономической единицы* [Астрономическая единица — среднее расстояние между Солнцем и Землей (приблизительно 150 млн. км).].

Плевал я на него. Я все-таки вроде как человек.

— Покажи, — сказал Соломон Гурски. Почувствовав его умысел (ибо Версаль был лишь элементом его умысла, да и все, что жило и шевелилось внутри Финтифлюшки, было его

умыслом), диск с тектофактурированной Францией эпохи барокко начал крениться, отворачиваясь от солнца. Солнцелилии, на которых располагались Версальский дворец и его парки, генерировали свои собственные гравитационные поля; Соломон Гурски увидел, как за Малым Трианоном спустилось крохотное, яркое солнце, и подумал: «Я вновь изобрел закаты». А когда черный свод над его головой озарили звезды: «Ночь выглядывает из моей тени».

Звезды замедлили движение, зависли над трубами Версаля. Сол надеялся, что сумеет разглядеть объект невооруженным глазом, но в тиховремени не учел скромных способностей первобытного человеческого облика. Гримаса досады — и текторы, проработав несколько мгновений, трансформировали его органы зрения. «Щелк-щелк-щелк»: степень увеличения возрастала, пока на звездном небе не проступили призрачные, мерцающие нити света — точно рисунки богов и мифических существ, которые древние располагали на уютных небесах вокруг Точки Альфа.

Еще один щелчок, и сооружение обрело материальный облик.

У Соломона Гурски перехватило дыхание.

Поскольку природа поместила род людской между микро— и макромирами, естественное свойство человека — чувствовать себя карликом по сравнению с космическими объектами. Эта необходимость самоутвердиться перед «большим» и заставляет человечество рьяно завоевывать пространство. Но если карликом кажется целая ЗВЕЗДА, тут вообще дышать забудешь. Благодаря Кольцу Духов Сол знал размеры, массу, векторы объекта. Между вершинами ИТА могла запросто уместиться вся Финтифлюшка. Каббалистический знак. Космический глаз в пирамиде.

В паху у человека Соломона Гурски похолодело. Сколько миллионов лет прошло с тех пор, когда его мошонка в последний раз съеживалась от страха?

Длина ребра — одна целая три десятых астрономической единицы. Масса — восемь секстиллионов тонн. Скорость — одна десятая световой. Эта штуковина должна была произвести фурор во всем звездном скоплении. Даже в тиховремени у Сола была бы фора для подготовки. Но ИТА заявилась безо всяких предупреждений. Просто бац — и возникла: поблекшая гексаграмма гравитометрических помех в его внесистемных сенсорах. Сол среагировал моментально, но за несколько секунд растянутого тиховремени, которые понадобились ему для изобретения и создания этого каприза в духе Людовика Четырнадцатого, объект преодолел две трети дистанции между точкой своего появления и Солом. Время тварного мира

позволяло ему оценивать ситуацию во всех деталях.

«Что ты несешь, виноград или яд?» — спросил Соломон Гурски у штуковины в небе. Она пока так и не заговорила, отвечала молчанием на все попытки с ней связаться, но, безусловно, несла хоть какой-нибудь дар. Ее появление можно было объяснить только одним образом: штуковина манипулировала черными дырами. Ни одна из цивилизаций Кругозора — области, охватывавшей большую часть западного полушария галактики, — еще не создала нанотехнологии, способной перекраивать сам континуум.

Ни одна из цивилизаций Кругозора, ни одна из федераций планетосоциумов, с которыми Кругозор граничил, никогда не сталкивалась с видом, происхождение которого не восходило бы к Точке Альфа — к полулегендарному «большому взрыву» рас, который выбросил во Вселенную Пан-Человечество.

«Только в этой галактике — четыреста миллиардов звезд, — подумал Соломон Гурски. — Мы не засеяли даже половины. Наши фокусы с временем — замедление процессов восприятия, пока общение со скоростью света происходит безо всяких пауз, а плавания наших Сдолевых кораблей — не длиннее, чем морские путешествия реконструированной мной эпохи, — внушают нам иллюзию, будто Вселенная близка и приветлива, точно тело любовницы, и столь же хорошо нам знакома. Пять миллионов лет между Моно-Человечеством Точки Альфа и Пан-Человечеством Великого Прыжка Вдаль — всего лишь долгий вздох, глубокомысленная пауза в нашем разговоре с самими собой. Тридцать миллионов лет я совершенствовал сеть жизни в этой уникальной системе: уйма времени и пространства для того, чтобы настоящие инопланетяне догнали нас и уже превзошли».

И вновь это ощущение озноба в мошонке. Сол Гурски повелел Версалю вновь повернуться лицом к солнцу, но ментальный холод уже прокрался в его душу. Оркестр Люлли устроил для его развлечения галантное празднество в Зеркальном Зале, но тем громче в его голове выла разрушительная, стремительно летящая чужеродная масса. Когда солнечный зонтик заслонил Версаль от звезды и Сол в сумрачной спальне примостился между мягкими напудренными грудями фрейлин, он впервые за тридцать миллионов лет познал страх.

И увидел сон. Сон принял обличье воспоминания: перенесенного в иной контекст, трансформированного, воскрешенного. Ему приснилось, будто он — звездолет, после пятидесяти тысячелетий смерти разбуженный теплом нового солнца, которое согрело его солнечный парус. Ему приснилось, что за время его бескрайнего сна звезда, к которой он

направлялся, внезапно превратилась в новую. Она стряхнула с себя фотосферу, образовав туманность из лучезарного газа, но взрыв был слабоват: кислородно-водородно-азотно-углеродная плазма, притянутая гравитацией, образовала вокруг звезды углеводородный пузырь. Ауру. Яркую финтифлюшку. Соломону Гурски приснился ангел: легко скользя на тектопластиковых крыльях стокилометрового размаха, он качался на химическитермальных потоках, рассеивая семена из своих длинных, тягучих пальцев. Целый век ангел кружил вокруг солнца: сеял, подкармливал, выхаживал странные побеги, которые проросли из его пальцев — полуживых, полумеханических существ.

Похрапывая между напудренными грудями придворных дам, Сол Гурски перевернулся на другой бок и пробормотал слово — «эволюция».

Соломон Гурски был согласен стать богом философов, создателем, но не кормильцем; слишком опытным в житейских делах, чтобы соваться со своим всемогуществом в постылое будничное существование. Он увидел зелень своих произрастающих в невесомости деревьев, обширные красные плоты небесных рифов, качающиеся на солнечном ветру. Он увидел дирижабликов и медуз, беспокойные разинутые пасти пожирателей воздушного планктона, тоненькие, снабженные реактивной тягой дротики гарпунщиков. Он увидел, как за тридцать миллионов безвременных лет целая экосистема сама себя соткала из газа и энергии, он увидел, как разум расцвел и расселился по звездам, а потом состарился и погас; и все это произошло в мгновение ока, если считать по времени людей.

— Эволюция, — вновь пробурчал он, и женщины-конструкты, ничего не понимавшие в снах, тревожно переглянулись.

Сновидение разворачивалось своим чередом. Сол Гурски увидел Кольцо Духов и корабли, снующие между окрестными системами. Он услышал субауральную невнятицу межзвездной болтовни — казалось, в соседней комнате совещаются заговорщики. Он вгляделся в эту кутерьму развивающейся, мутирующей жизни и понял, что она очень хороша. «Не мир, а картинка», — сказал он себе и испугался за его существование.

Он проснулся. Было утро — как и полагалось на Финтифлюшке Сола. Он нормализовал уровень тестостерона в крови, сделав зарядку, а потом опрокинул Версаль темной стороной вверх, чтобы увидеть тень своих кошмаров. Последние всполохи его либидо мгновенно погасли. На расстоянии в восемнадцать световых часов астрономические величины несли мощный эмоциональный заряд. Внутренняя поверхность каждой

из шести ног ИТА была оторочена крапчатой сине-зеленой лентой. Телескопический взгляд обнаружил там лесистые континенты и океаны, затянутые узорчатыми фрактальными облаками. Каждая лента-мир имела ширину двух очищенных от кожуры и отглаженных Точек Альфа, растянутых до длины в 1,3 а.е. Сол Гурски был рад, что данное воплощение не способно мгновенно рассчитать, скольким миллионам среднестатистических планет эквивалентна площадь лент; сколько сотен тысячелетий понадобится человеку, чтобы дойти пешком от вершины до вершины, где этот человек остолбенеет, точно древние конкистадоры, перед новым океаном, созерцая новый мир тысячелетней глубины.

Соломон Гурски развернул Версаль к солнцу. Прищурившись, начал высматривать в знойной дымке Финтифлюшки тонюсенькие нити Кольца Духов. Его сознание, дрогнув, переключило органы восприятия на режим тиховремени на единственный вид времени, в котором было возможно мыслеобщение с Кольцом Духов изначальной личностью Сола. Самоконсультация, самоисповедь.

"Связь не установлена?"

"Нет", — произнесло Кольцо Духов.

"Оно инопланетное? Его следует опасаться? Не следует ли разрушить Финтифлюшку?"

В другом времени подобная шизофрения считалась бы болезнью.

"Оно может тебя уничтожить?"

В качестве ответа Сол послал браслету из информационных текторов, который обращался вокруг солнца, визуальный образ огромного тетраэдрона.

"Тогда это ничто, сказало Кольцо Духов. А раз ничто, то и бояться нечего. Может ли оно причинить тебе боль или унижение, физические либо душевные муки?"

И вновь Сол нарисовал изображение окутанных облаками стран, возвышающихся одна над другой, удивляющихся Соломону Гурски, который возомнил, будто такая уйма материи и духа создана исключительно для уничижения его, Соломона Гурски.

"Значит, и с этим все в порядке. И что с того, если он инопланетный как он может быть инопланетнее тебя самого в сравнении с тем, кем ты был когда-то? Все Пан-Человечество инопланетно по отношению к самому себе; следовательно, нам нечего бояться. Мы радушно встретим нашего гостя, у нас к нему много вопросов".

И один из главнейших: "За что мне такое наказание?" — подумал Соломон Гурски под куполом своего собственного

черепа. Он вышел из тиховремени Кольца Духов и обнаружил, что за несколько субъективных мгновений разговора ИТА переступила порог Финтифлюшки. До переднего конца тетраэдрона оставалось всего три часа. От этого конца до ступицы ИТА было еще полтора часа.

Поскольку, судя по всему, мы не можем ни ускорить, ни предотвратить прибытие объекта, ни догадаться о его намерениях, пока он не соблаговолит установить с нами связь, сказал Сол Гурски своим фрейлинам спальни, давайте устроим бал.

И бал состоялся у Зеркального пруда, и оркестр Люл-ли играл, и каплуны жарились на угольях, и арлекины на освещенной факелами сцене дурачились и дрались, разыгрывая фарсы и любовные драмы прошлых времен, и нагие женщины плескались в фонтане с тритонами, и фантастические берега длиной сто миллионов километров скользили мимо. ИТА двигалась вперед, пока солнце Сола не оказалось в ее центре. Потом остановилась. Резко, внезапно. Легкая гравитационная дрожь сотрясла Версаль, оркестранты сбились с ритма, жонглер уронил булаву, вода в фонтане забурлила, женщины завизжали, каплун упал с вертела в огонь. На том все и кончилось. Масса, инерция и гравитация оставались под полным контролем.

Дирижер оглянулся на Соломона Гурски, уже подняв свою палочку, чтобы возобновить концерт. Но Сол Гурски не махнул ему платком. Ближайшая секция ИТА была в пятнадцати градусах восточнее, в двухстах тысячах километров. Для Сола Гурски то были два пальца освещенной солнцем земли, которая с обоих концов сужалась до бесконечно малой толщины, до световых нитей. Он поднял глаза к вершине, от которой спускалась и исчезала за горизонтом другая пара сверкающих нитей: одна проходила за Малым Трианоном, другая ныряла за крышу Королевской Капеллы.

Дирижер все еще ждал. Приникнув щеками к инструментам, музыканты застыли в ожидании сигнала.

На лужайке кричали павлины. Сол Гурски вспомнил, какие у них неприятные голоса, и пожалел, что возродил их.

Сол Гурски взмахнул платком.

Из посыпанной гравием площадки к верху лестницы поднялся столб белого света. Воздух наполнился светлячками.

«С нами пытаются выйти на связь», — сообщило Кольцо Духов во время проблеска тиховремени. Сол Гурски ощутил, как в кору его мозга хлынула информация от Кольца: луч исходит от источника в крайней части ближайшей секции артефакта. Луч перепрограммировал текторы, которые создали и

стабилизировали Финтифлюшку, и теперь, работая в гипертемпе, они превращали Землю Версаля в новый конструкт.

Столб света растаял. На верхней ступени лестницы появилась фигура человека, белый мужчина из Точки Альфа, одетый в стиле Людовика Четырнадцатого. Мужчина спустился по лестнице, шагнул на площадку, озаренную светом факелов. Сол Гурски заглянул ему в лицо.

И расхохотался.

— Милости просим, — сказал он своему двойнику. — Не желаете ли к нам присоединиться? Каплуны скоро будут готовы, мы можем угостить вас лучшими винами, какие только известны человечеству, а вода в фонтанах, несомненно, приятно освежит того, кто совершил столь долгое и дальнее странствие.

— Спасибо, — ответил Соломон Гурски Соломону Гурски. — Я очень рад встретить такой гостеприимный отклик после изобилующего странными приключениями путешествия.

Сол Гурски кивнул дирижеру — тот поднял палочку, и «petite bande»* [маленький оркестрик *(фр.)*.] возобновил свой прерванный гавот.

Позже, на каменной скамье у пруда, Сол Гурски сказал своему двойнику:

— Я ценю вашу учтивость, но вам не стоило принимать мой облик. Все это — такой же конструкт, как и вы сами.

— Почему вы считаете это учтивостью? — спросил конструкт.

— Почему вы предпочли облик Соломона Гурски?

— А почему бы и нет, раз это мой собственный облик?

В пруду, смазывая удлиненные отражения ИТА, резвились нереиды.

— Я часто гадаю, далеко ли дотянулся, — сказал Сол.

— Дальше, чем ты можешь себе вообразить, — ответил Сол-II. Веселые нереиды нырнули в воду; по пруду разбежались круги. Гость смотрел, как маленькие волны перехлестывают через каменный парапет и сталкиваются друг с другом.

— Там, вдали, есть другие, те, кого мы и не могли себе вообразить, и они движутся сквозь тьму очень медленно, очень молчаливо. Мне кажется, они старше нас. Они не похожи на нас, совсем не похожи, а мы теперь достигли плоскости, где наши сферы экспансии смыкаются.

— Я сильно подозревал, что они — ты — инопланетный артефакт.

— Я и есть инопланетный. И в то же самое время — нет. Я самый настоящий Соломон Гурски и самый настоящий Другой. Вот в чем смысл этого артефакта — мы достигли точки, когда надо либо соперничать с разрушительными для себя

последствиями, либо объединяться.

— Стоило ли добираться из такого далека просто ради встречи с родственником? — пошутил Соломон Гурски. Он увидел, что двойник рассмеялся, и как он рассмеялся, и почему он рассмеялся. Он встал с каменного парапета пруда Нереид. — Пойдем со мной, поговорим. Нам надо наверстать тридцать миллионов лет.

Брат догнал его, пошел рядом, и, повернувшись спиной к пруду, они вместе скрылись в парке, озаренном огнями ИТА.

История Сола-II: из семян, рассеянных гибелью Орка, дольше всего падал он. Восемьсот тысяч лет от пробуждения до пробуждения. Когда тепло нового солнца склонило его текторы к трансформации, сенсоры доложили, что в этой системе он не один. Бурый карлик, у которого он затормозил, демонтировали некие существа, чтобы выстроить сферическую структуру из множества космических поселений.

— Их технология сходна с нашей — наверное, таковы неизбежные законы Вселенной, — но мы покамест привязаны к планетам, а они давно уже разорвали эти узы, — сказал Сол-П. В Версальском парке на миг стемнело — небесный риф заслонил ИТА. — Я заключил, что они старше нас — ибо я никогда не видел их изначального облика. В отличие от нас, они больше с ним не связаны — подозреваю, вообще его забыли. И лишь когда мы полностью слились, я уверился, что они не являются еще одним вариантом человечества.

На маленькой полянке стояла деревянная карусель с ручным приводом. В лучах небесного света морды расписных лошадок казались сердитыми и несчастными. К железным петлям на ободе тента были подвешены деревянные кольца. Бутафорские копья, с помощью которых рыцари добывали свои трофеи, были сложены и заперты в шкафчике, вделанном в центральный столб карусели.

— Время не властно над нами, мы даем начало расам, народам, целым экосистемам, но мы бесплодны, — сказал второй Сол. — Мы вырождаемся из-за кровосмешения. Где единства противоположностей? Где соитие? Где энергия гибридов? Быть с другими — это как секс. Совокупление. Из плавильного котла идей, грез и способностей родилось то, что ты видишь сейчас.

Первый Сол Гурски положил руку на шею расписной лошадки. Умело сбалансированная карусель моментально пришла в движение от этого легкого нажатия.

— Зачем ты здесь, брат? — спросил он.

— Мы обменялись технологиями, мы научились решать инженерные задачи на квантовом уровне, чтобы распространить эффекты полей на макромасштаб. Управление гравитацией и

инерцией; упразднение локальности; мы умеем строить и контролировать квантовые черные дыры.

— Зачем ты пришел, Сол?

— Формирование альтернативных потоков времени; конструирование и колонизация параллельных миров, процессоры гиперпространства и гиперконтинуума. Кроме этой Вселенной, есть много других — решайся и исследуй.

Деревянная лошадка замерла.

— Чего тебе надо, Сол?

— Присоединяйся к нам, — сказал другой Соломон Гурски. — Ты всегда мечтал — мы всегда мечтали, Соломоны Гурски, — о том, чтобы человечество заполонило все возможные экологические ниши.

— Абсорбция, — сказал Соломон Гурски. — Ассимиляция.

— Единство, — сказал его брат. — Супружество. ЛЮБОВЬ. Ты ничего не утратишь и все приобретешь. Все, что ты здесь создал, будет сохранено в архивах. Собственно, таков и я сам — машина для запоминания. Не бойся, Сол, это не аннигиляция. Твоя индивидуальность не растворится в каком-то безликом коллективе. Просто твое «я» превратится в «я плюс». Жизнь в четвертой степени. И в конце-то концов мы одно семя, ты и я, противоестественно разделенное семя. Мы приобретем друг друга.

«Если ничего не утрачено, то сейчас тебе вспоминается то же самое, что и мне, — подумал первый Соломон Гурски. — Я вспоминаю лицо, которое забыл на тридцать миллионов лет с лишним, — лицо равви Бертельсманна. Пухлощекое, белое, приятное лицо. Мы, целая группа мальчиков, готовимся к обряду бармитцве* [еврейский обряд, после совершения которого подросток считается совершеннолетним.]. Тема занятия — мастурбация. Равви говорит, что Бог проклял Онана не за наслаждение грехом — но за то, что Онан пролил семя свое на землю. Онан был бесплоден. Он ни с кем не поделился дарованной ему жизнью. А теперь я бог моего собственного мира, и равви Берт, улыбаясь, твердит: «Мастурбация, Сол». Я просто проливал семя на землю и ничегошеньки не породил. Развлекался воспроизведением: бесконечно воспроизводил себя до скончания будущего».

Он поглядел на своего близнеца.

— Равви Бертельсманн? — спросил Сол Гурски-II.

— Да, — ответил Сол Гурски-I.

И немного погодя многозначительно, уверенно повторил:

— Да!

Улыбка Соломона Гурски-II рассыпалась стайкой солнечных

пылинок.

Внешние края огромного тетраэдрона сверху донизу засияли огоньками десяти миллионов алмазов. Глядя, как белые лучи скользят по Финтифлюшке, Сол понял, в чем их предназначение — они управляли временем и пространством. Свет распространяется быстро — но недостаточно быстро для того, чтобы синхронизировать действия огромной ИТА.

Воздушные деревья, небесные рифы, гарпунщики, цедильщики, дирижаблики, зепы, облачные акулы — все, к чему прикасались проворные лучи, анализировалось, постигалось и архивировалось. Ангелы-хроникеры, подумал Сол Гурски, глядя, как серебряные ножи анатомируют его мир. Он увидел, как Кольцо Духов расплелось, подобно спирали ДНК, и миллиард дней Соломона Гурски хлынул вверх по трапу, исчез в ИТА. Стержень не выдержал: гравитационное поле, ранее управляемое Кольцом Духов, поле, которое стабилизировало экосферу Финтифлюшки, слабело. Мир Сола умирал. Он не ощутил ни боли, ни печали, ни жалости — а что-то вроде злорадства, неистовое желание удрать, выйти вовне, освободиться от тяжелого груза жизни и гравитации. Это не смерть, подумал он. Ничто не умирает. Никогда.

Он поднял глаза. Ангелолуч начертил огненную дугу на крышах Версальского дворца. Он встретил этот луч с распростертыми объятиями и распался на части, разъятый светом. В сознании Бога хранится и возрождается все. Сознание Соломона Гурски выронило Версаль из памяти — и он рассеялся на стайки вольных летучих текторов.

Конец не заставил себя ждать. Ангелы занялись фотосферой звезды и замысловатыми квазиинформационными машинами, которые работали в ней. Солнце, потревоженное после долгого покоя, ошалело зашаталось. Кольцо Духов рассыпалось. Его обломки, кувыркаясь, валились на Финтифлюшку: эффектно крушили умирающие небесные рифы, ломали облачные леса. Попадая на самоубийственную околосолнечную орбиту, они на миг загорались праздничными огнями и гасли — а солнце все раздувалось и раздувалось.

Солнце агонизировало. Его хромосфера покрылась оспинами солнечных пятен; от полюса до полюса проносились штормы, гоня цунами миллионокилометровой высоты. Перепуганные стаи охотников сгорали и погибали в солнечных протуберанцах — ибо фотосфера уже захватывала края Финтифлюшки. Солнце набухло, надулось, точно беременное зловещим больным плодом: ИТА манипулировала фундаментальными законами физики, подпиливала узы гравитации, на которых держалась система.

Чтобы запустить свои генераторы квантовых черных дыр, ИТА нуждалась во всей энергии, высвобождаемой при смерти звезды.

Звезда превратилась в миску с кипящим, воющим газом. На Финтифлюшке не осталось ни одного живого существа. Все сохранялось в сознании ИТА.

Звезда взорвалась, превратившись в Новую. По идее, ее энергия должна была вскипятить океаны ИТА, вырвать с корнем ее континенты. По идее, ее энергия должна была согнуть и сломать, точно стебли тысячелистника, длинные и тонкие ребра артефакта, и он понесся бы сквозь вакуум невесть куда, похожий на смятое яйцо Фаберже. Но ИТА соткала прочные заслоны: гравитационные поля отразили электромагнитные лучи от хрупкой суши; квантовые процессоры проглотили штормовую волну заряженных частиц — и трансформировали пространство, время, массу.

Четыре угла ИТА на миг засияли ярче, чем само умирающее солнце. И она исчезла: нырнула под время и пространство, направилась к мирам, приключениям, переживаниям, для которых нет ни понятий, ни образов.

воскресенье

Накануне гибели Вселенной Соломон Гурски все чаще и чаще думал о своих потерянных возлюбленных.

Будь Юа чисто материальна, она являлась бы самым огромным объектом во Вселенной. Но доля материи присутствовала лишь в ее «ветвях» — сталактитах длиной в двадцать световых лет, которые, врастая в протовещество-илем, накапливали энергию развоплощения. Большая часть Юа, ее девяносто девять процентов, существовала в одиннадцатимерном континууме. В сложенном виде. Она была самым огромным объектом во Вселенной в том смысле, что ее пяти-и шестимерная формы содержали рудиментарный поток энергии, который в просторечии считается Вселенной. Высшие измерения Юа содержали лишь себя, повтор за повтором. Она была воронкообразна. Она была обширна и содержала в себе бесчисленные множества.

Пан-Жизнь — эта аморфная, многоликая космическая инфекция человеческих, трансчеловеческих, нечеловеческих, Пан-человеческих разумов — заполонила Вселенную задолго до того, как континуум достиг своего предела эластичности и начал сжиматься под весом черной материи и тяжелых нейтрино. Фенотехнология и нуль-транспортировка через черные дыры в мгновение Божьего ока распространили Пан-Жизнь по суперскоплениям галактик.

Не стало ни человечества, ни инопланетян. Ни «нас», ни «их». Была только ЖИЗНЬ. Мертвые стали жизнью. Жизнь стала Юа — Пан-спермой. Юа обрела сознание и, как Александр Великий, пришла в отчаяние из-за того, что нечего больше завоевывать. Вынашивая в себе Юа, Вселенная состарилась, одряхлела, ссохлась, схлопнулась. Красное смещение галактик сменилось синим. И Юа, наделенная атрибутами, способностями, амбициями и прочими чертами божества (кроме имени и терпения), обнаружила, что ее задача — воскрешать.

Галактики с головокружительной скоростью устремились друг к другу. Гравитация раздирала их в клочья, на завитки рваных звезд. Массивные черные дыры в ядрах галактик, накопившие энергию от миллиардов звездных смертей, срастались друг с другом, слипались в чудовищные образования, которые, не разжевывая, глотали шаровые скопления звезд, раскалывали галактики и заставляли их сворачиваться в трубочку, пока на краю радиуса Шварцшильда те не начинали испускать супержесткое гамма-излучение. Но Юа давно вплелась

в высшие измерения и питалась колоссальной энергией дисков-аккреций, которые запечатлевали в многомерных матрицах жизнь триллионов разумных организмов, спасавшихся от гибели на ветвях Юа. В сознании Бога сохраняется все: в час гибели, когда уровень фоновой радиации во Вселенной асимптотически повысится и восстановится энергоплотность, характерная для первых секунд Большого Взрыва, Юа высвободит некое количество энергии, вполне достаточное для того, чтобы вплетенные в Одиннадцать Небес фемтопроцессоры восстановили Вселенную Целиком. Новое небо и новую Землю.

В транстемпоральных матрицах Юа Пан-Жизнь, стекая с измерения на измерение, капала с кончиков ветвей в тела, сконструированные специально для радостных купаний в плазменных реках Рагнарека. Участники турпоездки «К гибели Вселенной» в большинстве своем выбрали обличье крылатых огненных созданий тысячекилометровой величины. Жар-птицы. Звездные кондоры. Но существо, известное под именем Соломона Гурски, избрало нечто оригинальное, архаичную форму с давно исчезнувшей планеты. Ему очень нравилось быть Статуей Свободы тысячекилометрового роста с алмазной кожей и, высоко подняв факел, освещать дорогу между потоками звездного вещества. Сол Гурски порхал между стаями сияющих птицедуш, наводнявших информационно-богатые места у кончиков ветвей. Он чувствовал их любопытство, их восторг, их ужас перед его нонконформизмом — но никто не понимал, в чем соль его шутки.

Потерянные возлюбленные. Сколько жизней, сколько планет, сколько тел и лиц, сколько возлюбленных. Они были не правы — те, в самом начале говорившие, что любовь не переживает смерти. Он сам был не прав. Вечность — вот что губит любовь. Любовь измеряется сроком человеческой жизни. Бессмертие дает ей достаточно времени и пространства, чтобы измениться, чтобы перерасти в вещи, которые больше любви или зловеще не похожи на нее. Ничто не выдерживает испытания. Ничто не держится вечно. Бессмертие — бесконечные перемены.

Накануне гибели Вселенной Соломон Гурски понял, что лишь смерть делает любовь вечной.

Все вещи хранились в Юа, ожидая воскресения, когда время, пространство и энергия сольются воедино, прекратят существование. Самым болезненным из заархивированных воспоминаний Сола был образ красно-желтого ангела-истребителя в тигровую полоску — искалеченного обрубка распятия, падающего к звездным облакам Девы. В поисках Элены Сол просмотрел триллионы душ, дремавших на насестах Юа. Безуспешно. Он принялся искать кого-нибудь, кто прикасался к

ней, сохранил о ней хоть какие-то воспоминания. Не нашел. Пока Вселенная сжималась — быстро и бесповоротно, точно давно забытый сезон времени Юа, — Сол Гурски лелеял надежду, что всеобщий сбор призовет и ее. Суровые истины терзали его душу: уравнения молекулярной растворимости, коэффициенты трения о межзвездные пылевые облака, вероятность столкновений с солнцами, медлительный фатальный визг, испускаемый протонами при распаде. Из всего этого следовало, что Элены больше нет. Но Сол отрицал эти истины. Тысячекилометровая статуя Свободы прочесывала сужающийся космос, надеясь хоть одним глазком увидеть красно-желтые тигровые полоски, окруженные нимбом фрактального плазменного огня.

И вот покой его органов чувств, пронизывающих все Одиннадцать Небес, нарушила знакомая искорка.

Она. Должно быть — она!

Сол Гурски подлетел к глазу гравитационной стабильности циклона и включил систему черных дыр, врезанных в его алмазную кожу. Пространство раскрылось и вновь сложилось, точно фигурка оригами. Сол Гурски отправился в иной мир.

На энергетически богатой кайме центрального диска-аккреции щипала траву жар-птица. Она была огромна. Статуя Свободы Сола казалась бородкой одного из тысячи ее маховых перьев, но птица почуяла его, обрадовалась и, подцепив крыльями, поднесла к изменчивому узору из солнечных пятен, который являл собой душу ее существа.

Он узнал эти узоры. Он вспомнил вкус этих эмоций. Он воскресил эту любовь. Он попытался почувствовать, она ли это: ее путешествия, ее испытания, ее переживания, ее муки, ее безбрежности.

Простит ли она его?

Солнечные пятна распахнулись. Всосали Соломона Гурски. Тучи текторов проникли в него, обмениваясь, делясь, фиксируя. Совокупление умов.

Он вошел в ее приключения среди инопланетных рас, которые были в пять раз старше Пан-Человечества, в альянс воль и сил, пробудивших галактику к жизни. В ее предыдущем воплощении он прошел по планетам, которыми она стала, навестил династии, расы и виды, которые она породила. Он совершал вместе с ней долгие переходы от звезды к звезде, от скопления к скоплению,, от скоплений к галактикам. Раньше, еще раньше вместе с ней он парил по облачным каньонам планеты— газового гиганта, которая называлась Уризен, а когда солнце чересчур жарко обняло эту планету, он вместе с ней перешел в новый режим и отправился искать новые места.

Между ними существовала абсолютная сопричастность, и Солу Гурски не удалось скрыть от нее свое разочарование.

«Прости меня, Сол», — сказала жар-птица, когда-то носившая имя Ления.

«Ты ни в чем не виновата», — возразил Соломон Гурски.

«Прости, что я — не она. Прости, что я никогда не была ею».

«Я создал тебя, чтобы ты стала моей любовницей, — сказал Сол. — Но ты оказалась древнее, богаче, ты оказалась тем, что мы потеряли».

«Дочерью», — продолжила Ления.

В синем смещении накануне гибели Вселенной прошло неизмеримое количество времени. Ления спросила:

«Куда ты держишь путь?»

«Найти ее — вот единственное не завершенное мной дело», — ответил Сол.

«Да, — приникла к нему душой птица. — Но мы больше не встретимся».

«Да, в этой Вселенной — уже нет».

«И ни в какой другой. Это смерть, вечная разлука».

«Моя неутешная тоска, — мыслемолвил Сол Гурски, когда Ления распахнула свое сердце и облака текторов расступились. — Прощай».

Статуя Свободы оторвалась от тела жар-птицы. Квантовые генераторы Лении создали в урагане зону гравитационного штиля. Манипулируя временем и пространством, Сол Гурски исчез.

Он вновь вошел в континуум так близко к ветви, насколько у него хватило смелости. Рывок сознания — и он уже у ее дендритов, и они тянут Сола к себе. Еще один рывок сознания — и потешная статуя Свободы растворилась в плазме. Соломон Гурски вознесся по дендриту сквозь ветвь — в матрицу души Юа. Там он вырубил себе

нишу в одиннадцатом, высочайшем небе и увидел кончину Вселенной из глубокого подвременья.

Как он и ожидал, Вселенная погибла в огне, торжественно и светло. На его глазах пространство и время скривились, схлопнулись, преодолев предел планковских измерений; он почувствовал, как градиенты энергии подскочили до бесконечности — Вселенная приблизилась к нулевой точке, в которой спонтанно возникла когда-то. Он ощутил, как вшитые в одиннадцать измерений универсум-генераторы собрали эту энергию прежде, чем она успела рассеяться, и заставили работать. То была волна, порыв мощи и страсти, похожий на воспоминание об оргазме, затерянное далеко-далеко где-то в цепочке

воспоминаний среди дней Соломона Гурски. Свет становится силой, сила — воспоминанием, воспоминание — плотью. Заархивированные воспоминания Юа, история каждой частицы в былой Вселенной, вплетаются в плотную ткань бытия, осуществляются. Умные супернити скатывают одиннадцатимерное пространство в шарики, точно священные скарабеи свои навозные катышки. Пространство, время, масса, энергия — все разворачивается, умирая в квантовом хаосе. Вселенная вновь рождается на первозданном свету.

Соломону Гурски, ожидавшему в тиховремени, где каждый вздох длился эру, показалось, будто Вселенной кто-то повелел возникнуть — и она мгновенно повиновалась. Краткая яркая вспышка — и в поле его зрения появились галактики, звездные скопления, солнца, вполне сформированные, живые. Личности уже покидали пчелиные соты Юа, чтобы занять свои места во времени, воплотиться. Но возродилась не Вселенная, а много вселенных. Вновь воскресшие вовсе не были обязаны слепо повторить свои прежние жизни. Каждое решение и поступок, отклонявшиеся от первоначального хода событий, расщепляли Вселенную на параллельные миры. Сол и Ления не ошиблись, говоря о том, что больше не встретятся. Сол вошел в новый Поливерсум на тысячу лет раньше Лении; Вселенная, которую он надеялся создать, никогда не пересечется с ее миром.

Старшие цивилизации уже расслоили Поливерсум, превратив его в тысячелистник альтернатив. Пока первые люди падали в прошлое планеты Земля, Сол тщательно проследил путь своей цепочки событий сквозь кутерьму вероятностей. Звезды соединялись в знакомые созвездия, напоминая Солу, что до его появления остается всего несколько сотен тысячелетий. Он спускался по пространственным матрицам, на каждом уровне неуклонно приближаясь к темпоральному потоку своей конкретной Вселенной.

Соломон Гурски завис над вращающейся планетой. Расцветали и угасали цивилизации, расширялись и рушились империи. Все больше открытий: новые технологии, новые континенты, новые народы. И все это время — альтернативные Земли спадали с его личной Земли, точно оборванные листки календаря на ветру — мертвецы создавали новые вселенные, чтобы их заселить. Совсем близко. Счет пошел на секунды. Сол упал во время живых, Юа выдавила его наружу, точно каплю молока из набухшей груди.

Соломон Гурски падал. Иллюзии и добрые предчувствия сопровождали его возвращение к телесной жизни. Воображаемый свет; ангел, оставляя за собой след инверсии, пролетает над

ночной стороной планеты, над темным океаном, держа курс к берегу, к горе, к долине, к огоньку костра среди кактусов, которые цветут лишь ночью. Тоска. Желание. Страх. Приобретение — и утрата. Божья сделка: чтобы сбылось твое заветное желание, ты должен всецело отказаться от себя. Даже от воспоминаний.

В лоскутном спальном мешке у костра в укромной долине, пропахшей цветами кактуса, человек по имени Соломон Гурски проснулся от внезапного холода. Была ночь. Было темно. Звезды пустыни описали уже половину своей дуги по небосклону. Обложенный камнями костер догорел, лишь трещали алые угольки. Ночные ароматы пьянили, как колдовское зелье. В воздухе тихо порхали мотыльки, разыскивая нектар.

Сол Гурски вдохнул свой мир полной грудью и ощущая его всеми пятью чувствами

«Я живой, — подумал он. — Я здесь. Вновь».

В задних отделах его мозга горел протосвет. Воспоминания о Юа, о силе, похожей на всевластие. Воспоминания о жизни, тянувшейся дольше, чем существование ее родной Вселенной. Планеты, солнца, силуэты. Вспышки, миги. Слишком тяжкий и драгоценный груз, чтобы уместиться в узелке этого крохотного мозга. Слишком яркий — разве можно жить с памятью о том, как ты был богом? Он поблекнет — уже блекнет. Все, что нужно удержать — обязательно нужно, — деталь, которая отклонит эту Вселенную от предназначенного ей курса.

Он с ужасом осознал, что за ним наблюдает пара глаз. Элена сидела на самом краешке тени, которую отбрасывал костер, подтянув колени к подбородку, обхватив руками голени, глядя на него. У Сола было ощущение, что она уже давно не сводит с него глаз. И удивление, неловкость, испытываемые при мысли, что за тобой следят, угомонила его страсть и то, пока молодое, желание, которое Элена возбуждала в нем, и тающие воспоминания о древней, длившейся несколько вечностей любви.

«Дежа вю». Но в прошлый раз этого мига не было. Расхождения начались.

— Не спится? — спросила она.

— Очень странный сон приснился.

— Расскажи. — Их отношения были на той стадии, когда они выискивали в снах друг друга отблески своей любви.

— Мне приснилось, что наш мир погиб, — сказал Соломон Гурски. — Он погиб в лучах света, вроде тех, что исходят от кинопроектора. Эти лучи несли в себе образ мира и всех его составных частей. И мир был создан вновь, точно так же, как и раньше.

Стоило ему произнести эти слова, как они стали истиной. Теперь та жизнь была сном. А эта жизнь, это тело, эти воспоминания превратились в нечто осязаемое, надежное.

— Вроде машины Типлера, — отозвалась Элена. — Это его идея, что энергию, высвобожденную Большим Всхлипом, можно использовать для создания голографической копии всей Вселенной. Наверное, когда нанотехнология достаточно разовьется, можно будет выстроить Вселенную заново, точную копию, атом к атому.

У Сола засосало под ложечкой. Не может быть, чтобы она знала. Нет, она не должна узнать.

— Что толку еще раз сооружать то же самое?

— Угу. — Элена прижалась щекой к коленке. — Вопрос в другом — это наш первый приход в мир или мы уже много раз побывали здесь и каждый раз что-то было чуть-чуть по-другому? Это первая Вселенная — или нам это только кажется?

Сол Гурски поглядел на угли, а потом на звезды.

— Индейское племя «проколотых носов» верит, что мир погиб на третий день существования, а мы живем в сновидениях его второй ночи.

Воспоминания, гаснущие, точно летние метеоры высоко над его головой, сказали Солу, что он уже однажды произнес эти слова, в их будущем, после своей первой смерти. Теперь он произнес их в надежде, что это будущее не состоится. Каждое различие, каждая крохотная деталь отпихивали эту Вселенную от той, в которой ему суждено потерять Элену.

Полосатый кусочек тектопластика в форме буквы «V», кувыркаясь, вечно падал в сторону Девы.

Моргнув, он прогнал призрак, и тот поблек, как и все остальные. Они исчезали быстрее, чем он предполагал. Придется принять меры прямо сейчас, пока не растаяло самое главное воспоминание. Он выполз из спального мешка, подошел к лежащему на земле усталому велосипеду. Сняв с него фонарь, осмотрел зубчатки передачи.

— Что ты делаешь? — спросила Элена от костра. Их роман был совсем юн, но Сол помнил эту ее интонацию, нежно-вопросительную, по другой жизни.

— Смотрю на передачу. Что-то мне сегодня в ней не понравилось. Такое ощущение, будто что-то расшаталось.

— Ты раньше не говорил.

«Нет, — подумал Сол. — Я не знал. Еще не знал». Зубчатка переключателя ухмыльнулась ему в луче фонарика.

— Мы их здорово заездили. Я читал в одном веложурнале,

что от этого бывает усталость металла. Колесико разламывается — и привет!

— На новеньких велосипедах за две тысячи баксов?

— На новеньких велосипедах за две тысячи баксов.

— И как ты собираешься это уладить в час ночи посреди пустыни Сонора?

Опять эта интонация «дуй-дуй отсюда». Еще секундочку, Элена. Еще одна мелочь, и все будет в порядке.

— Ну, что-то в ней чувствовалось не то. Я не хочу лезть в горы, пока не проверю ее в мастерской. Если там наверху передача полетит?

— И что же ты предлагаешь, перестраховщик ты мой?

— Мне не хотелось бы завтра подниматься на гору.

— Ну хорошо. Ладно. Идет.

— Может, двинем на запад, к побережью. Сейчас сезон китов. Я всегда мечтал их увидеть. И рыбные блюда там очень вкусные. И есть одна кантина, где готовят пятьдесят разных кушаний из игуаны.

— Киты... Игуаны. Отлично. Все, что пожелаешь. А теперь, раз уж ты совсем проснулся, шевели задницей, Сол Гурски! Дуй сюда, мигом!

Она встала, и Сол увидел и почуял, что именно она скрывала, сидя в такой позе. На ней не было ничего, кроме обрезанной над пупком майки с буковками МТБ. Спасена, подумал он, схватил ее в охапку и со смехом и визгом повалил на надувной матрас. Не успев додумать мысль о спасении, он забыл ее, забыл всех Элен, которых теперь не будет: заговорщицу, остриженную под ноль партизанку, четверорукую космическую ангелицу. Забыл напрочь. Звезды описывали предписанные им дуги. Мотыльки и летучие мыши кактусовых зарослей парили в сладком темном воздухе, и в глазах зверей, которые охотились на эту порхающую мелочь, сверкали отблески костра.

На рассвете, когда цветы кактуса закрылись, Сол и Элена все еще смеялись и потирали бока, а также прочие утомленные части тела. Они съели завтрак и свернули свои скромные пожитки. Выбравшись из-за отрога горы, солнце застало их уже в седле. В пути. Они поехали по западному шоссе, оставив в стороне горы и спрятанный за ними поселок Реденсьон с его грузом воскрешенного горя. Они ехали по длинному шоссе, ведущему к самому ; океану. Было солнечное бесконечно-безоблачное утро понедельника.

КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА...

Перевод Е. Моисеева, 2002.

Микрочип-переводчик у меня в черепе легко справляется с идиоматикой сленга Токийской бухты, но молитва странников-пилигримов, по древности сравнимая с длиной бесконечного паломничества, не приемлет простого перевода: «дань Кобо Дайцы, источнику духовных устремлений, проводнику и наперснику нашего гостя». Насколько изящнее и проще это звучит по-японски: «наму Дайцы хеньо конго» — слова просто оживают на моих губах, когда я опускаюсь на колени перед образом в Зале Дайцы для подготовительной церемонии. Мантры, истертые бесконечным повторением, проскальзывают меж сутью грешного тела и духом, умиротворяя мучительное самосознание слишком высокого, слишком нездешнего европейца. С рыжими волосами. У чужого алтаря.

Первое, что изменяет молитва, — это молящийся. Так говорит Масахико — товарищ, проводник, напарник в тысячемильном паломничестве. И последнее — тоже. На это я и надеюсь. Об этом молюсь.

В Первом храме больше нет жрецов. Огромное неосинтоистское святилище вклинилось в комплекс древнего буддийского храма, как кукушонок в гнездо воробья. Здешний священник ухаживает за лужайками и зданиями из чувства исторического и архитектурного благоговения, но, опасаясь оскорбить духов, он не возлагает на себя ответственность за религиозные процедуры. Наши альбомы — паспорта пилигримов, где появятся яркие пятна киновари — официальные печати каждого из восьмидесяти восьми святых мест, проштампованы роботом: брось в прорезь монетку — получишь печать. Бедную тварь давно пора покрасить. Зловещего вида зооморф, слизнеобразный, блестящий, желтый, с волочащимися синими щупальцами, паразитирующий на блоке мышц, оставляет спиральный след серебристой слизи. Ярко-красная печать на пронзительной белизне бумаги выглядит такой земной, очевидной, почти грубой, вид ее внушает уверенность: все, решение принято! Назад пути нет. Наше предназначение ждет. Весь мир знает пословицу, что самое длинное путешествие начинается с первого шага. Но мало кто знает, что этот первый шаг приходится совершать здесь, в Первом храме. Здесь же надлежит сделать и последний, после тысячи миль дороги и восьмидесяти восьми святых мест. Подобно детской развивающей

игре, паломничество по Сикоку являет собою замкнутый круг, без начала и без конца. Цель — это ложная ценность, только проделанный Путь имеет смысл.

Мы помедлили у ворот храма, где оставили свои велосипеды, чтобы поклониться синтоистскому святилищу. Тут толчея. Молитвы и просьбы обо всем: об излечении, о помощи, о мелких киберчудесах, о прощении грехов, об отведении несчастий. Нельзя оскорблять фантомы предков. Связанные через матрицу страховой компании с международной информационной сетью, они могут наворотить на твоем пути горы препятствий. Религии, как и паломничества, развиваются по кругу. Сейчас, спустя двенадцать веков после Кобо Дайцы, святого, по чьим стопам мы в буквальном смысле идем, после поражения и поглощения примитивного синто-буддизма девятого века, картина все та же. Возрожденный техно-синто эпохи моделирования личности и клапанов для душ столкнул буддизм в, казалось бы, окончательный упадок. Что могут противопоставить хилые радости нирваны современным технологиям записи и хранения памяти, опыта, эмоций, когда есть надежна со временем полностью и абсолютно достоверно восстановить личность?

Молящиеся рассматривают нас, пока мы приближаемся к стойке с множеством миниатюрных телеэкранов, и на каждом — лик одного из дорогих усопших, вызванных из информационного лимба — ада забвения для смертных. К полкам с телевизорами прикреплены фотографии, сувениры, амулеты, игрушки — мелочи и побрякушки живых. Гостеприимный, обволакивающий дух Зала Дайцы поколеблен; с удвоенной силой возвращается мой страх оказаться чужим среди чужаков. Масахико успокаивает меня. Это наши белые мантии и камышовые шляпы — знаки паломников, пилигримов, хенро — привлекают внимание. В наши дни они стали редкостью. В былые времена тысячи людей совершали паломничество каждый год, а теперь если к храму прибывает транспорт с пятьюдесятью старцами, то это расценивается как знак духовного возрождения масс. Когда-то прах умерших отправляли по Внутреннему морю в префектуру Вакайяма, в Маунт Койя — самое святое место Сингона, чтобы наверняка обеспечить покойным место в чистой стране богини Аматэрасу на западе. Теперь люди, застрахованные крупными корпорациями, раз в год приходят на престольный праздник к местному алтарю, их память, эмоции и опыт, накопленные в течение года, выгружаются из духовного клапана в биоядро.

Я трижды хлопаю в ладоши, не снимая перчаток, и провожу кредитной картой с суммой в иенах сквозь одного из считывателей, которые свисают на стропах с нижних ветвей

кедров. В начале, когда все, что угодно, может показаться предзнаменованием, требуется вся благоприятная карма, какая у вас только есть. Мае говорит, что население Японии постоянно уменьшается с тех пор, как ввели в практику технологию духовных клапанов. Интересно, может быть, страховые компании каким-то образом случайно создали нехватку духов и их просто недостает для реинкарнации?

Пока мы идем к выходу из святилища, сквозь толпу проталкивается какая-то женщина и сует нам в руки мелкие монетки. Настаивает, чтобы мы непременно взяли. Я не хочу, но Масахико советует принять. Это саттаи — подаяние пилигримам, традиция делать хенро скромные дары стара, как само паломничество. Несколько монет, фрукты по сезону, чашку риса, другую еду. Иногда могут просто помассировать спину. Если отказываешься — это гордыня. Смирение духа — вот Путь пилигрима. Многие из древних, и не таких уж древних, хенро просили милостыню на всем тысячемильном пути. В соответствии с этикетом мы дали старушке полоски с напечатанными именами. Имя Маса вызвало настоящий ажиотаж. На полоске интельпластика оказалось имя Дандзуро Девятнадцатого — знаменитого актера кабуки, alter ego которого в классическом театре — образ самого знаменитого японского борца со злом. Мое более скромное подношение принимается с неменьшей благодарностью. Старуха рассказывает нам, что потолок в комнате ее мужа оклеен полосками с именами хенро. Их собирали несколько десятилетий. Она приписывает свою необыкновенную жизненную силу исключительно их духовному воздействию.

За воротами храма мы отпираем свои велосипеды. Я проверяю сумки. Меня не убеждает заявление Маса, что никто не посмеет воровать под неусыпным взором божественных стражей, изображенных по обе стороны ворот. Демонический ящик лежит там, где я его оставил, нетронутый и в полной сохранности. Он цел. Ну, разумеется, как же иначе... Однако почему свидетель жениха на свадьбе каждые двадцать минут хватается за карман, проверяя, на месте ли кольца?

Городок вокруг монастыря Рёзен-дзы охвачен повседневной суетой. Узенькие улочки увешаны неоновыми вывесками и рваными пластиковыми транспарантами с рекламой европейской бытовой электроники, запружены грузовиками и пикапами. Часть работает на углеводороде, а часть на мускульной силе. Нарядные рыночные лотки и киоски уличных торговцев забиты длинными, яркими овощами. Выращенные на нечистотах и искусственном освещении, они невероятно огромны и красивы и напоминают,

что, несмотря на недостроенные бараки для беженцев из гибнущих внутренних конклавов, это все-таки аграрная страна. Мы прокладываем извилистый курс между шныряющими вокруг мопедами на биотяге, их седоки бросают на нас мрачные взгляды из-под шлемов и масок, защищающих от смога. Массивные, медлительные машины — помеси тракторов и трейлеров ползут вдоль дороги, угрожая смести придорожные киоски и притулившиеся к ним палатки уличных торговцев. Даже в этой среде мы вызываем любопытство, головы то и дело оборачиваются в сторону наших флуоресцентных одеяний: белых паломнических ряс длиной до бедер и шляп в форме перевернутых чаш, какие носят хенро; их мы натянули прямо на защитные шлемы. Камышовые шляпы разделены на чет-верти и расписаны словами очень древнего и очень-очень буддийского стихотворения. Городской протяжный говор моего чипа не справляется со стилем японской классики, и Масахико переводит:

Для темных — иллюзия мира,
Для просвещенных — познанье,
Но все суета сует.
Раз нет ни запада, ни востока,
К чему искать север и юг?

Так что делай выводы, пилигрим. В былые времена Хенро путешествовали с посохом, колокольчиком и орарем, однако мы решили обойтись без них. Вместо этого у нас мощные — с двадцатью четырьмя скоростями — велосипеды, которые Масахико вручную расписал молитвами и поговорками, охраняющими странников. Тяжелый физический труд и близость к природе — непременное условие паломничества: божественный дух во всем сущем — вот смысл буддизма по Дайцы — той его ветви, что развилась в высокогорных монастырях Японии. Потому-то от веку считалось, что пешее паломничество — самый подобающий способ обойти все восемьдесят восемь святынь. Однако в постиндустриальной Японии второго десятилетия третьего тысячелетия буддизм пришел в упадок, древняя дорога во многих местах стала непроходимой, а опасность повстречать на пути бандитов и оснащенных лучевым оружием акира, отбившихся от местных охранных компаний, увеличивается с каждым годом. Исходя потом на своих равнинных велосипедах, мы тем не менее можем воздать должное принципам просветления, следуя тропою Дайцы там, где она еще

сохранилась.

Тропа Дайцы. Догио Нинин. Еще одна поговорка паломников. Мае написал ее на передних и задних амортизаторах. Мы Двое. Пилигримы. Товарищи в Пути. Традиция говорит, что Кобо Дайцы всегда сопутствует пилигримам, шествуя бок о бок с ними, иногда незримо, а иногда воплощаясь в различные образы и формы, но время от времени он является во всем блеске и славе своего просветления. Догио Нинин. Если честно, то идеограммы на наших вилках должны читаться иначе: Мы Трое, Пилигримы, Товарищи в Пути. Но сейчас на месте Дайцы невидимым спутником идет другой человек. И дело не в ее добродетельной просветленности или особых духовных качествах. Дело в том, кто она и какая она.

Последний раз я встретил ее, свою невидимую спутницу, в Кейптауне.

— Мы все время попадаемся на пути друг другу, а, Эт? Кармический цикл, Эт. Нашим жизненным путям предназначено без конца пересекаться. Мы вечно ходим по кругу. Должно быть, в прежней жизни мы были Томом и Джерри. — Ее лицо ни за что не назовешь просто красивым. Слишком много индивидуальности. Крупные, плоские черты. Словно прорисованные детской рукой. Уродливо прекрасные, прекрасно уродливые. И этот дурацкий, попугайский хохолок черных волос, который всегда, всегда, всегда лезет ей в глаза. — Господи, забери меня отсюда, все здесь такие красивые, остроумные, веселые. Так не хватает твоей бескомпромиссной приземленности фермера.

Мы брели вдоль пляжа, подальше от чопорной скуки курзала. Она сбросила туфли, прицепила их к поясу и шла, касаясь босыми ступнями теплого, ласкового песка. Длинные океанские волны набегали и отступали, снова набегали и снова откатывались прочь с бесконечного пляжа.

— Это Атлантический или Индийский, а, Эт? Интересно, где точно кончается Атлантика и начинается Индийский океан? Вот если плыть в лодке и пересечь эту линию, почувствуешь или нет?

Тогда казалось, что вся ее жизнь состоит из таких вопросов и размышлений, не о главном, о всяких второстепенных свойствах явлений.

— Давно видел Маса? — спросила она.

Я рассказал ей, что Дандзуро Девятнадцатый, актер кабуки, победитель ронин, акира, восставших роботов и якудзы, Меч Праведного Возмездия и так далее и тому подобное, занят сейчас на пятнадцати каналах кабельного телевидения Тихоокеанского побережья.

— Да, он высоко взлетел, помнишь его первые роли? Живые

предметы, тайный ночной голос греха... — вспомнила она.

— Он зовет меня в какое-то сумасшедшее тысячемильное буддистское паломничество, — продолжал я. — Говорит, что это нужно моей душе.

— Вероятно, он прав.

— Скорее всего, — отозвался я. Еще до Кейптауна, до — встречи с ней, я решил, что пойду с Масом. Именно для души.

Она поднесла к глазам мои ладони и пристально их разглядела.

— Перестал возиться с ними, а, Эт?

— Да. Синтетическая кожа. И выглядит лучше. Снимается, как перчатки.

— Вот это меня и пугает, Эт.

Она выпустила мои руки, сжала ладонями мое лицо и впилась взглядом в глаза. Мягко, но решительно она стала шлепать меня по левой щеке, произнося в ритм ударам:

— Глупый, глупый, глупый мальчишка. В голове одни герои и ангелы, а, Эт?

Повернулась и величественной походкой направилась к огням курзала.

В небе над Столовой горой как раз наступал самый пик празднества в честь Международного съезда пиротехников, совпавшего с представлением Цирка Трех рингов из Европы.

— Черт тебя подери, Эт! Ты того не стоишь! Всегда, всегда был только ты! Разве этого мало?

Утром я прямо в номере получил по факсу задание и спустился к портье оставить ей прощальную записку. В вестибюле отеля было полно чернокожих бизнесменов, все торопились позавтракать. Белая девушка, портье, сообщила, что она уехала еще до рассвета.

В первый день паломничества мы двигались вверх по долине Иошимо, осматривая каждый из храмов. На ночлег остановились в Десятом храме, где настоятелем был родственник родственника одного из друзей Маса. Благодатная там земля! Плодородная, многоцветная. Поля желтого спелого рапса, темно-красного клевера, стрельчатая зелень рисовых побегов. Но в основном мы продвигались по узеньким тропинкам и тракторным колеям меж высоких шелестящих рощ сахарного тростника. Возле Третьего храма мы увидели большую фабрику по производству патоки. Такое впечатление, что японская деревня быстрее и полнее свыклась с биомеханической революцией, чем чудовищные, разлагающиеся мегаполисы. Дома, которые нам попадались, маленькие аккуратные хутора, новые деревушки — все были крыты зеленью; выращенная инженерным способом трава

создавала впечатление теплоты и безыскусной естественности, только она никогда не потребует замены. Несколько сохранившихся железных крыш выглядели вопиюще грубыми и жесткими.

Разумеется, мое описание, создающее иллюзию пасторали, вовсе не передает реальной картины. Эти причудливые поселения и деревни — самая сердцевина постиндустриальной революции: на каждой зеленой крыше торчит спутниковая тарелка — пусть молодежь, двое-трое подростков в любом доме, не отрываются от орбитальных каналов MTV и круглосуточных спортивных программ. По всей долине строительные бригады больших телекоммуникационных компаний прокладывают новые оптико-волоконные кабели. Мир телекомма. Все эти кое-как одетые фермеры, что приветливо машут рукой, когда мы проносимся мимо на своих велосипедах, это новая каста юристов, врачей, бухгалтеров, дизайнеров, инженеров, менеджеров, работников околоземного пространства, глубоководников. Когда Масу потребовалось удалить жировик на спине, то единственное человеческое существо, которое он увидел во время операции, была сестра из приемного покоя. Кисту удалял телеуправляемый робот, а хирург, который им руководил, находился в трехстах километрах, в загородном доме среди мягких зеленых лужаек и полей для гольфа префектуры Судзуока.

— Агностиков лечат верой, — так назвал всю процедуру Мае. Когда он вновь посетил госпиталь для профилактического осмотра, то даже в приемном покое не встретил людей, их заменило интерактивное устройство.

— Когда дело дойдет до лечения пациентов иглоукалыванием их голографических фантомов, вот это будет настоящая кибернетическая макамба.

Ну, что же, в каждом Эдеме должен быть свой змий. По статистике, среди работоспособных профессионалов типа А, мужского пола, в возрасте от тридцати пяти до пятидесяти лет самой частой причиной смерти является самоубийство, а второй по значению — заболевания сердца от переутомления на тренировках. Смерть от волейбола. Думаю, если бы я был Адамом и жил в прекрасном, совершенном райском саду, где любое желание, любая фантазия тотчас бы удовлетворялись, и так во веки веков, у меня скорее всего развилась бы страстная любовь к яблокам.

Ложное божество. В буддизме вся дрянь, какая с тобой приключается, происходит от твоего собственного поведения. Учение сингонской школы Кобо Дайцы сводится к тому, что каждый может достичь просветления в этой жизни, а не после

бесконечной череды тысяч мучительных инкарнаций. Японцы всегда были расой оптимистов. Ты сам творишь свою карму.

Подъем из долины к Десятому храму очень крут. Мышцы ноют от боли. После долгого дня в седле нам это совсем ни к чему. Как будто предстоящий путь испытывает наши силы и решимость: дорога станет только тяжелее, готов ли ты, пилигрим?

Пилигрим переключается на низшую скорость, крепче вцепляется в руль, вовсю налегает на педали. Думаю, я готов; думаю, я готов; думаю, я готов...

Я знаю, что я готов.

В зале Дайцы Десятого храма, в алтаре хранятся два образа — обе статуи боддисатвы милосердия. Храмовая легенда гласит, что первая была высечена самим Дайцы из живого дерева; перед каждым ударом топора святой трижды кланялся. Вторая представляет собой женщину-ткачиху, скрывшуюся из дворца в Киото из-за какой-то интриги. Она дала святому кусок ткани, чтобы он мог сменить изорванные одежды. Отсюда и взялось название храма — Кирихата-дзы, Храм Одеяния. В благодарность за сочувствие на женщину опустилось алое облако, принесшее с собой просветление, и ткачиха обратилась в статую. После молитв священник Мицуно показывает нам оба образа. Я издаю приличествующее случаю восхищенное бормотание, хотя обе статуи очень примитивны, просто бревна, обработанные несколькими ударами топора. Полагаю, смотреть следует сквозь призму веры. Смысл изображений в том, что каждый, включая женщин — а в те времена это звучало страшной ересью: считалось, даже собаки способны скорее достичь нирваны, — может сподобиться просветления.

Освежившись и приняв душ, мы обедаем вместе с молодежью семьи священника. Два его сына, десяти и двенадцати лет, вежливо помалкивают в присутствии Дан-дзуро Девятнадцатого, актера кабуки! Наверняка полоски интельпластика, подаренные Масом, станут для них не меньшей святыней, чем образы Дайцы в алтаре. После чая миссис Мицуно объявляет, что наши ванны готовы. Так я и думал. Этого я и боялся. Отговорившись волдырями, я возвращаюсь в нашу комнату и в спешке бросаюсь искать синтеплоть. Несколько мучительных секунд не могу найти ее среди носков, трусов, футболок и ветровок, но тут мой пальцы сжимаются на коротком цилиндре. Какое облегчение! Это средство высыхает в течение пятнадцати секунд и создает гибкую, пористую, гладкую поверхность, — уверяет реклама концерна «Хоффманн Гельветика Химия». Глаза плотно закрыты. Я сдергиваю левую перчатку, ладонью ощущаю прохладный

аэрозоль. На всякий случай накладываю двойную дозу, так спокойнее. Тринадцать гиппопотамов, четырнадцать гиппопотамов, пятнадцать гиппопотамов... Готово! Быстро открываю глаза, осматриваюсь — не вошел ли кто, — снова закрываю глаза, повторяю процедуру для правой руки, выхожу и присоединяюсь к Масу и Мицуно, который оказался фанатом соул-блюзов. Сидя по грудь в горячей, с мандариновым ароматом воде, мы на три голоса хрипло распеваем всю старую классику. Миссис Мицуно говорит, что она давненько так не забавлялась.

Комната для хенро полна прохлады, воздуха, запахов и звуков поздней весны в долине Иосимо. В такой комнате сон — легкий гость: несколько секунд — и я засыпаю сном праведника.

Проснувшись от крика, я не могу одно долгое, кошмарное мгновение сообразить, где нахожусь. Чувствую, как мои пальцы скребут искусственную кожу на ладони правой руки. Нет! Нет! Наму Дайцы Хенро. Я сражаюсь с демонами оружием доброго пилигрима. Кошмар отступает.

Масахико сидит в кровати. Глаза широко раскрыты. Выпрямленное тело напряжено и дрожит. Я вижу, что он пребывает глубоко под поверхностью своего подсознания.

Я становлюсь на колени возле его кровати.

— Мас... — мягко касаюсь его плеча.

— Нет! Нет! — кричит он. — Оставь ее!

— Мас? Ответа нет.

— Мас?

Нет ответа. Я сижу и жду, пока душевный шторм, чем бы он ни был, не утихает и Мае не погружается в спасительный сон. Нас двое. Мы пилигримы. Я присоединяюсь к Масу и сплю теперь уже до рассвета без всяких снов.

Вокруг сияет теплый солнечный день. Мы вброд переходим реку Иосино и древней тропой хенро поднимаемся вверх. У Десятого храма кончается буддийская долина, начинаются буддийские горы. Дзен — дух долины, Сингон — дух горных вершин. И как дух Дзен отличается от духа Сингона, так и теплый солнечный свет долин отступает перед более суровым климатом гор. С запада наползают серые махины туч, через час уже льет холодный дождь. Дождь и грязь. Эта парочка близнецов-братьев — настоящее проклятие для хенро. Ноги заляпаны, велосипеды отяжелели от мокрых комьев, лица и руки онемели от студеных струй. Дождь стекает с наших пластиковых накидок и паломнических шляп. Дорога крутая и скользкая, целый час едем на самой низкой скорости, частенько приходится тащить наших коней волоком. Вперед, вперед, сквозь ветер и налетающий

дождь. Полная концентрация сил. Абсолютное изничтожение бытия. Одиннадцатый храм пребывает в заброшенности и запустении, разрушается от вандализма акира. Среди исчерканных ими стен мы видим остатки костров, на которых готовили пищу, кучи банок из-под пива, серебряную фольгу от готовой еды, презервативы, иглы, гниющие биодвигатели и батареи, пустые патроны.

— Мне это не нравится. — Мас явно поражен. Целая стая голубей вылетает из-под карниза разрушенного зала Дайцы. Я заметил, что на некоторых прилипли паразитические зооморфы. Посчитав все это дурным предзнаменованием, мы снова налегли на педали.

От Одиннадцатого до Двенадцатого храма полдня пути, тропа пилигримов ведет мимо еще двух храмов, но они не считаются Святыми местами. Оба они, как и Одиннадцатый, заброшены и разорены. Вперед. Все время в гору. Мой разум туманится. Чувственный мир тает, его раздражители уже не касаются мозга. В памяти всплывают образы. Я больше не чувствую дождя и студеного ветра, не ощущаю боли в икрах. Я вспоминаю.

Вспоминаю его жизнь.

Я называю его «он», хотя у него то же лицо, то же имя, тело и разум, что и у меня, но он мертв. Очевидно и бесспорно. Мертв. Убит. Не пулей и не ножом. Не тонкой проволокой-удавкой толщиной в одну молекулу в каком-нибудь безымянном городке в Центральной Европе. Не наркотиками и не ядом. Он убит чувством вины. То, что осталось от него, пустая обертка, жмет сейчас на педали прихотливо раскрашенного велосипеда на склоне японской горы. Шелуха. Горстка праха.

Я вспоминаю.

В день, когда был зачат Этан Ринг, Западная Германия выиграла Кубок мира. Из приемника в грузовичке компании «Саут Миммз Сервис», припаркованного у шоссе М25, неслись сладкие звуки Nessun Dormas в исполнении Лючано Паваротти, а Никки Ринг, двадцати с чем-то лет, безработный и без всякой надежды на работу, сливался в бурном пятиминутном коитусе с голландкой, во-дительницей грузовика.

В день, когда Этан Ринг родился, в багдадское подземное убежище попала бронебойная интельбомба, разорвавшая в клочки пятьсот мужчин, женщин и детей, а в это время Бет Мидлер пел, что Господь смотрит на нас неотступно.

В день, когда Этан Ринг в первый раз поцеловал девочку на заднем дворе школы мисс МакКонки (Роберта Каннингэм, второй класс Р), Европа тихо и незаметно, без суеты, путаницы и

суматохи — никто в общем-то ничего не заметил — объединилась в единое государство.

В день, когда Этан Ринг пригласил свою первую девушку (Анжела Элиот, тринадцати лет) в местную пиццерию, где угостил двойным чизбургером, диетической кока-колой и облапыванием коленок под столом, ученые компании «Хьютсдорп» в новой, респектабельной, полностью интегрированной и расово благополучной Южной Африке получили Нобелевскую премию в области биологии за создание искусственных организмов, которые перерабатывали сахара в полезную электроэнергию — для неспециалиста Этана и его ровесников — живые батареи.

Слишком высокий, со слишком ранним развитием — всего слишком много, — социально неадаптированный из-за прыщей и робости, Этан Ринг непременно заработал бы подростковый невроз, но ему повезло, он нашел приют, поддержку и понимание в Девятнадцатом Доме родового сообщества. Из моральных руин девяностых годов, усыпанных обломками иссохших родственных связей, рождалась новая социальная форма, рождалась из групп одиноких женщин, брошенных, вдовеющих, разведенных, просто никогда не состоявших в браке. Они объединялись под одной крышей, чтобы противостоять морю свободно дрейфующих по жизни мужчин. Родовое сообщество: средний размер — пять целых три десятых человеческих единиц; три целых две десятых добывают средства к существованию, содержат себя и две целых одну десятую убежденных матерей, которые рожают детей. Мужчины приходят и уходят, вступая в индивидуальные связи с отдельными членами, но их никогда не рассматривают как членов семейного сообщества. 2003 год — родовое сообщество добилось легального статуса в Европейском суде. 2012 год — одна треть всех семейных союзов является родовыми сообществами. 2013 год — Никки Ринг присоединяется к Девятнадцатому Дому, выиграв этим шагом телеком-дизайнера европейских сельскохозяйственных журналов, оператора по доставке на дом сандвичей, ювелира, комбимать, которая с облегчением бросила торговлю фьючерсами и отдалась делу деторождения, не заботясь о последствиях, двух новых дочерей, одного нового сына, жилище на южном побережье (тот самый Девятнадцатый Дом) с залитой солнцем террасой и общим с соседями бассейном, мир, стабильность, любовь, безопасность. Его ответный вклад состоял из Этана Ринга. Этан Ринг выиграл семейные корни. Семью обрел ребенок, чей предыдущий опыт обитания в Новой Европе сводился к доплеровскому красному пятну габаритных огней, перемешанных с десятью тысячами

мелодий из встроенных радиоприемников, к запаху пережаренного подсолнечного масла в бесконечной череде меблированных комнат (завтрак входит в счет). Благодатная почва сообщества способствовала развитию в нем дремлющего таланта визуализации — внутри своего глазного яблока он, как на экране, видел разнообразные мысли и идеи и помогал увидеть их другим. Этот талант, взлелеянный его экс-фьючерной комбиматерью, позволил ему продержаться в общеобразовательной школе, окончить ее и оказаться в художественном колледже одного из сумрачных северных городков, чтобы изучать графические коммуникации. Он мучительно переживал акклиматизацию и социальную адаптацию. Он метался, думая, не уйти ли. Не отравиться ли, проглотив полторы бутылочки парацетамола. Но в свое время нашел друзей: студента-японца, прибывшего по обмену и тайно обожавшего анимационные комиксы; темноволосого компьютерного фаната с севера, который быстренько обучил Этана необходимым премудростям бытия — выпивке, наркотикам, знакомствам с девушками; ну и подружку, конечно, однокашницу по колледжу и графическим взаимодействиям, эта последняя выглядела так, будто ее имя должно оканчиваться на «и», но на самом деле ее звали иначе.

В день, когда Этан Ринг встретил Луку Касиприадин, в Леконте Био в Лайонсе изобрели технологию, позволяющую считывать человеческую память, эмоции, опыт с помощью имплантированного в мозг биопроцессора, загружать их в матричную несущую структуру и создавать интерактивную модель умершей личности. Первая бессмертная женщина со времен Древней Греции происходила из Санта-Розы, штат Калифорния. Состояние она сделала на сахарной свекле, но так и не сумела справиться с карциномой. Больше никому подобная процедура не оказалась по карману, и три года ее личность в одиночестве обитала в кибернетическом раю.

Кто-то украл у Этана Ринга покупки. Он вернулся запереть это ржавое ведро с болтами — свой древний «форд», а сумки тем временем стащили прямо от входной двери. Жизнь в этом сумрачном городке сделала его стоиком, а микроволновка TV-4-ТЕЛЕЖВАЧКА позволила набрать вес и обзавестись терпимостью. На следующий день кто-то постучал в дверь. На площадке стояла девушка, студентка первого курса колледжа Изящных искусств. Из тех, кого нельзя не заметить: она выбрила почти всю голову, оставив только хохолок черных волос, которые без конца падали ей на глаза.

— Мог бы хоть что-нибудь предпринять, — с вызовом

проговорила она.

— Извините?

— Постучал бы к соседям. Кого-нибудь спросил, чисто формально. Хотя бы какое-то усилие совершил.

— Прошу прощения, вы уверены, что пришли по адресу?

— О'кей, о'кей. Признаюсь. Это я забрала твои продукты. Я, Лука Касиприадин. Я живу над тобой. А ты и не знал? Ну-ну. Касиприадин — грузинская фамилия, по крайней мере так говорил отец. Можно войти?

— Ты забрала мои продукты? Зачем ты забрала мои продукты?

Но она уже уселась на заляпанную пятнами кофе и соусов тахту и зорким оком студентки-первокурсницы колледжа Изящных искусств изучала развешанные им слегка эротичные постеры обдуваемых ветром кибердив с хромированными грудями. Кругом дерьмо, дерьмо, дерьмо. Кучи грязного белья, картонки от готовых китайских блюд, банки из-под пива.

— Да, интерьер в легкой степени запущенности. Знаешь ли ты, мы то, что мы едим?

— Что?

— Мне начинает казаться, у меня с тобой вышел прокол. Это силлогизм: если я — то, что я ем, а ты — то, что ты ешь, тогда если я буду есть то же, что и ты, следовательно, я стану тобой.

— И потому ты съела мою еду.

— И стала жирной и без конца бегала в туалет.

— Но почему...

— Потому что у тебя такие сказочные волосы, убила бы... Потому что ты не собирался со мной знакомиться, так что мне пришлось самой с тобой познакомиться. Ты голоден? Ну, конечно, голоден. Я же съела твою еду. Пошли ко мне. У меня есть что пожевать.

— Мои продукты?

— Мои. Ешь мою еду, будь мной. У тебя есть имя?

— Этан Ринг.

— О, классическое имя! Я так и знала, что не ошиблась в тебе.

Сейчас, с точки зрения блестящей пылинки, прилепившейся к склону горы в Сикоку, я в состоянии ответить ей, что она все-таки ошиблась, совершила крохотную ошибку, не учтя особенности характера; и она, эта самая ошибка, медленно и постепенно разрушает целые жизни.

Сокрушительная зависимость от начальных условий. Одно слово, один шаг могут изменить мир. Кажется, это называют теорией хаоса.

С точки зрения пилигрима, эта горная страна выглядит очень заманчиво. Спуск от храмов на вершинах по крутой тропе хенро захватывает дух; сам себе кажешься веселым и бесшабашным. В горах ощущаешь величие здешних сил. Синто населяет горные пики духами предков и ками, но обитает в долинах. Буддизм же поместил свои храмы на самые вершины и открыл божественное пространство людям долин. В легендах, связанных с вершинами Сикоку, кроется объяснение роли духа высокогорья в психике японцев.

За столетия до Кобо Дайцы буддийский миссионер раннего периода Эн-Аскет упрятал под камень на вершине горы, где сейчас стоит Двенадцатый храм, огнедышащего дракона, который терроризировал живущих в долине крестьян и уничтожал их хозяйства. Как раз к этому храму мы сейчас направляемся сквозь лесные заросли и выгоревшие поляны. Вдохновленный Буддой, мальчик Дайцы поднялся на самый пик горы над долиной, где он родился — часовня Семьдесят Пятого храма построена в честь этого события и на том самом месте, — и бросился с вершины с криком: «О, Будда! Если мне суждено стать спасителем человечества, то спаси меня! А если нет, то дай умереть!» Естественно, Будда выбрал милосердие. Что касается меня, то самой выразительной легендой горного буддизма я считаю историю про Эмона Сабуро, богатого и скверного землевладельца из префектуры Эгиме (кстати, человека равнины, абсолютно неодухотворенного). Он нагадил в чашу для подаяния странствующего монаха — на самом деле в этот образ воплотился Дайцы. За это его ожидала прижизненная кара — он потерял семью, друзей и все состояние в одну ночь. Охваченный муками совести, он раздал земли арендаторам и отправился вслед за Дайцы в надежде вымолить прощение. Но как бы быстро он ни двигался, ему никогда не удавалось нагнать святого. Через четыре года, сделав двадцать полных кругов, он вдруг подумал, что сможет скорее встретить Дайцы, если пойдет в обратном направлении, тогда он попадется ему навстречу. На двадцать первом паломничестве вокруг Сикоку он, полумертвый от истощения и холода, добрался до вершины горы. Дайцы явился ему и отпустил грехи. Умирая, Эмон Сабуро попросил возможности возродиться в образе правителя своей родной провинции (в то время она называлась Айио, а сейчас известна как Эхиме), чтобы совершить великие добрые дела в возмещение зла, которое он натворил в этой жизни. Дайцы подобрал маленький камешек, написал на нем имя Сабуро и сунул тому в кулак. Эмон Сабуро умер, Дайцы похоронил его, а свой дорожный посох превратил в кедр.

Как в любой хорошей истории, здесь есть неожиданный поворот. В конце следующего лета жена правителя Айио родила сына. Прекрасного, здорового, чудесного мальчика, но с одним недостатком: кулачок его левой ручки был сильно сжат и никак не раскрывался. Призвали главного жреца Сингона, он молился над мальчиком, призывая дух Дайцы. Наконец кулачок стал медленно разжиматься. Внутри был маленький камешек. На камешке начертаны слова: Эмон Сабуро, вновь рожденный.

Наму Дайцы Хеньо Конго!

Мы поднимаемся по длинным широким ступеням Двенадцатого храма. Ни священника, ни паломников, никого. Эту лесную поляну с нами делят лишь несколько промышленных роботов, с номерами и печатями Бюро по антиквариату префектуры Токушима. Выше Двенадцатого храма непогода наконец отступает. Теперь наш путь проходит при неизменно чистом солнечном небе. Мы движемся вдоль хребтов, окружающих долины, и спускаемся по горным склонам. Для меня свет всегда несет обновление. Если бы можно было навеки остаться пилигримом... Тринадцатый храм — Дайницы-дзы — находится на утесе у входа в долину, по дну которой, словно острова в море мягко колышущегося тростника и бамбука, разбросаны большие, добротные фермерские дома. Подобно Двенадцатому храму, этот тоже пришел в упадок. Персонал его составляют флегматичные роботы из Бюро антиквариата. Молитвы в пустом зале. Компьютер штемпелюет наши альбомы. Ноги опять на педелях, руки на рукоятках руля. В этот момент в ворота въезжает биоэнергетический «ниссан-пикап», из-под колес летит туча сырой щебенки. Немолодая женщина в странных резиновых сапогах, сверкающих зелеными отблесками, выпрыгивает наружу и тепло нас приветствует. Зовут ее миссис Мори-кава. У нее ферма в долине, но кроме того, она — куратор (на полставки) Двенадцатого—Пятнадцатого храмов буддистского культурного наследия. На своих мониторах она увидела, что по древней тропе паломников пробираются два хенро, за три года мы первые идем Путем Дайцы, не сделаем ли мы ей одолжение и не почтим ли своим присутствием ее ферму, чтобы переночевать?

Мы решили рассматривать ее предложение как сет-таи, подаяние. День почти кончился. Храмы Четырнадцать и Пятнадцать находятся на расстоянии восьми кайев, и это по тяжелой каменистой местности. Мас заказал нам номера в захудалом мотеле для туристов сразу за границей Токушимы, на шоссе, соединяющем соседние провинции.

А тут теплый фермерский дом, здоровая деревенская еда,

чистые постели, горячая вода.

Велосипеды отправляются в багажник, мы втискиваемся на переднее сиденье, рядом с миссис Морикава. На панели укреплена дешевая пластиковая статуя Дайцы в рясе паломника. Догио Нинин.

Пока мы едем мимо плантаций сахарного тростника и бамбука, миссис Морикава признается, что за ее даром гостеприимства прячется еще и тайный мотив. Ее старшая дочь больна странной, безымянной, высасывающей силы болезнью. Доктора и их роботы применяли самые современные достижения медицинской науки, но все они признают, что подобную болезнь в равной степени следует считать недугом не только тела, но и духа. Вот она и подумала: не могли бы мы, не согласились бы посмотреть ее дочь? Древние верования приписывают огромную силу храмовым печатям в альбомах хенро. Миссис Морикава, а до нее ее матери, случалось видеть случаи божественного исцеления, когда пилигримы проводили своими альбомами над больным. Мас запротестовал: мы не чудотворцы, целители или шаманы, не бидзири — странствующие буддистские блаженные. Мы сами ищем духовного обновления, и мы так же, как все люди, грешны. Мы не соперничаем с Дайцы, просто идем по его следам. Женщина продолжала просить — ведь это не может принести вреда! И правда, не может, но и пользы тоже, если дело только в том, чтобы провести каллиграфическими письменами над страждущим духом. Но я чувствую, знаю, что в этом может быть и еще что-то, должно быть! Демоны и Дайцы — ревнивые властители там, где дело касается духа. Ветер колышет высокий бамбук. Несколько фраз, несколько поворотов грязной дороги — и вот я у входа в моральный капкан, ловушку, такую хитрую и запутанную, что я попадаю в нее раньше, чем успеваю осознать, что уже поздно.

— Хорошо, мы попробуем, — говорю я, пресекая протесты Маса. Миссис Морикава счастлива.

Травяная крыша почти до земли, спутниковые тарелки, телеком-линки, переработчики отходов, метановые растения, емкости для сиропа, сельскохозяйственные роботы — типичное сельское жилье в Японии двадцать первого века. Сын хозяйки бросает свои дела — он вынимал сломанный биомотор из робоплантера — и ставит наши велосипеды в сарай. На полдороге к дому что-то бьет меня в спину — мягкий солидный шлепок. Я растягиваюсь на бетонной дорожке. Женщина хватает что-то черное и гибкое, кричит на него и отбрасывает в сторону. Возмущенно визжа, существо поспешно скрывается в сарае. Летучая кошка.

Женщина извиняется. Они недавно приобрели франшизу. И теперь, когда кто-нибудь посторонний приходит в дом, кошки планируют вниз на меховых перепонках между передними и задними лапами, чтобы разобраться с пришельцем. Пока она открывает дверь, черный клубок, притулившийся над крыльцом, открывает свои лунные желтые глаза и злобно нас изучает.

Запах смерти в комнате больной девочки настолько силен, что кажется неодолимым. Не так-то легко научиться его чуять, но, познав хоть раз его вонь, вы уже никогда до конца не можете от него избавиться. Я приваливаюсь к дверной раме, пытаясь справиться с собой.

— Не ест, не разговаривает, не просит о помощи. Ничего не делает, только лежит и глотает таблетки, — говорит миссис Морикава голосом человека, настолько свыкшегося с болью, что она становится близким другом.

Девочке лет пятнадцать—шестнадцать. Тот самый возраст! Эта болезнь любит юные жертвы. Аноксерия, булимия, нарушения обмена. Сейчас для нее придумали новые названия и черты, но ее имя осталось прежним — самонеприятие, ее лик — саморазрушение. Доктор, который назвал ее болезнью духа, был прав. Мас тихонько выругался, из уважения к присутствующим — по-английски.

В углу на полке телевизор, к нему прицеплена камера Sony размером с ладонь. На экране двадцать два мужика в шортах гоняют пестрый черно-белый мяч по астрополю. В правом нижнем углу два лица: старик и старуха. Сквозь маленькую камеру фантомы умерших дедушки и бабушки смотрят на любимую внучку из Чистой западной страны Амаретсу. Когда два хенро попадают в их поле зрения, они улыбаются и кивают нам из-за пределов жизни.

Если девочка и заметила нас, пока мы водили своими альбомами и молились над ее кроватью, она никак этого не показала. Миссис Морикава, кажется, удовлетворена, она благодарит нас и за потраченное время, и за наши молитвы. Дух Дайцы спасет ее дочь. Она верит. Неверящий гайдзын, я ощущаю вину, чувствую себя мошенником, странствующим продавцом дождя, бродячим торговцем змеиным жиром.

За отбивными (мы пользуемся древним буддистским эвфемизмом, называя кабана «горным китом», чтобы обойти запрет на мясо) трое сыновей миссис Морикава и ее младшая дочь расспрашивают нас о паломничестве. Если они и узнали Маса, то воспитание не позволяет им надоедать ему вопросами о кабуки. Подали печенье и чай. Младший мальчик приносит большую корзину с банками пива. Мас считает, что, совершив

доброе дело, может не придерживаться запрета на алкоголь и пьет в свое удовольствие. Остальные присоединяются к нему только, из вежливости. Я воздерживаюсь. В желудке я чувствую боль. Это не мышечные спазмы, не реакция на непривычную кухню миссис Морикава. Острые когти нравственной дилеммы рвут мои внутренности. Я могу спастись и заслужить проклятие. Могу заслужить проклятие и спасти.

— А где мистер Морикава? — спрашивает Мас, чувствуя себя весьма раскованно под действием 8,5 процента алкоголя.

— Уже три года, как умер, — отвечает миссис Морикава. — Он погиб в Одиннадцатом храме. Там поселились акира. Он не мог смириться с мыслью, что они превращают в сортир одну из святынь Сикоку. Во многих отношениях он был довольно глуп, но все же не настолько, чтобы отправиться туда одному. В то время компания «Тоса секьюрити» выкупила полицейские контракты по обслуживанию долины, и в качестве жеста доброй воли они провели операцию против разбойников и мелких горных банд, включая шайку акира в Одиннадцатом храме. Это было ужасно. Звуки стрельбы гремели по всей долине. Мы видели вспышки разрядов. В конце концов мой муж не смог больше сидеть и слушать, как они разрушают его любимый храм. Он пошел наверх, пытаясь их образумить. Боевик ToSec убил его по ошибке, спутав с одним из акира, хотя у него был с собой белый флаг. За два месяца до этого он как раз прошел интельразгрузку. Они отвезли его микрочип за Внутреннее море в Одиннадцатый регенератор Осаки. Он в тех местах жил в детстве. В этом году страховые премии выросли на двадцать процентов, и ToSec посылает своих агентов в каждый дом, чтобы люди не тянули с оплатой.

Когда пилигрим идет по стопам своего учителя, у него нет возможности выбирать путь. Делай, как сделал бы он. Болью придется пренебречь.

Извинившись, я оставляю своих сотрапезников и иду в сарай. Свет вспыхивает автоматически. С сеновала на меня с любопытством смотрят забавные котята, они планируют вниз на своих крыльях-перепонках, приземляются рядом со мной, мурлыкают и трутся о мои ноги. Он лежит именно там, где я его оставил — на дне левой велосипедной сумки. Органические батареи все еще заряжены, а в принтере новый картридж биораспадающейся бумаги. Любые мои слова вызовут только страх и смущение, а потому я молча проскальзываю мимо большой кухни в фермерском доме и направляюсь в комнату больной девочки. Никаких свидетелей: я выключаю телевизор и камеру, отправляя бабушку с дедушкой в их кибернетическое

чистилище. За оконным стеклом танцуют ночные мошки. При свете луны я устанавливаю демонический ящик.

— УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ ФРАКТОРА ТРЕХИНТЕРФЕЙСНЫЙ, — говорит демонический ящик.

На мгновение мои пальцы замирают над символами клавиш на черной плоской поверхности ящичка. Если раскрыть его, то будет точно так же, как с тем, другим, ящиком из легенды: то, что выпустишь из него, назад уже не загонишь.

— TIFERET, — медленно печатаю я букву за буквой.

— ВВЕСТИ КОД?

— ТО, ЧТО Я ПОВТОРЮ ТРИЖДЫ, ЕСТЬ ИСТИНА.

Экран потух. У меня пересохло во рту.

— ПАРОЛЬ ПРИНЯТ. ДИСПЛЕЙ ИЛИ ПЕЧАТНАЯ КОПИЯ?

— ПЕЧАТНАЯ КОПИЯ.

Визжит принтер. Я отклеиваю краешек полосы, прикрепляю липкий кончик к телеэкрану, направляю освещение так, чтобы видеть напечатанное на ней, и подхожу к кровати.

— Ну, давай, дочка, — говорю я по-английски. — Пришло время очам твоим узреть славу Господа нашего. — Стоя спиной к хаотичным фигурам фрактора, я приоткрываю пальцами ее глаза.

Ни звука, ни одной тактильной перемены под кончиками пальцев. Но ее зрачки расширяются. Она видит. А увиденный, фрактор проскальзывает сквозь защиту ее сознания в первичное, дочувственное ядро нейрохимических реакций.

Ползут минуты, медлительные, растянутые, невероятно длинные. Глаза ее смыкаются, губы приоткрываются во сне; я не медик, но понимаю разницу между этим сном и неглубокой, беспокойной дремотой, от которой я ее пробудил.

Голоса на веранде. Мас, миссис Морикава. Дверь спальни открывается, скрип, желтая полоса света. Им не видно, что я тут делаю. Я захлопываю дверь, закрываю щеколду.

— Этан?

— Оставь меня, Мас. Я могу ей помочь, верь мне.

— Мистер Ринг?

— Все будет хорошо, миссис Морикава. Я не причиню ей вреда, клянусь. Только дайте мне эту ночь. Пожалуйста.

С фракторами всегда так: вместе с добром сеешь зло, С лечением и целостностью — подозрение и недоверие. Но разве у меня был выбор, только ввергнуть их в недоверие к своей персоне. Я нахожу стул, убираю его с линии воздействия и сажусь, чтобы ждать. Ночной страж. Светящиеся гроздья фабрик, витающих на низких орбитах, собираются в арку у меня над головой, а я вспоминаю жизнь Этана Ринга.

Она говорила, что все самые важные решения принимает,

основываясь на «следомантии». На инверсионном следе самолетов. Набирающих высоту, приземляющихся, перекрещивающихся, почти встречающихся… Гектограммы небес.

— В этом куда больше смысла, чем в картах, костях или кофейной гуще. Гадание должно быть продуктом своей эпохи. Разве не логично?

— А что же ты делаешь в пасмурные дни?

— В пасмурные дни я даже не вылезаю из-под одеяла.

В какой же момент след удаляющегося трансполярного суборбитальника составил угол точно в тридцать два градуса с взлетающим шаттлом из Франкфурта и он в нее влюбился? Никогда прежде не влюбляясь, он обнаружил, что это состояние похоже на затяжное падение с высоты. Эмоциональное головокружение, шок — вот что он испытал. Любовь ошеломила его, повергла в ужас и счастливое изумление. Как будто тебе вручили ключи от лучшей площадки и позволили играть до самого вечера. Мысли о ней непрошено вторгались в каждый миг его существования. В груди теснилась нежность, но он был колюч, как еж.

— И когда же ты собираешься что-нибудь предпринять? — спрашивал Масахико, актер на амплуа героя, Маркус Кранич, компьютерный маньяк, и его девушка, которая выглядела так, будто ее имя должно кончаться на «и», но которую на самом деле звали Бекка, и все пьяницы, мыслители, шутники, позеры, пижоны, картежники, хорошенькие куколки и их кавалеры — все те, из кого состоял первый курс отделения графических коммуникаций, все те, кто коллективно и поодиночке заметил, что Лука Касиприадин по крайней мере четыре раза в день взлетает по пяти лестничным пролетам между колледжем Изящных искусств на первом этаже и отделением дизайна на шестом.

— Предпринимать? — спрашивал Этан Ринг, которому и в голову не приходила мысль, что такое восхитительное создание может одарить его ответной любовью.

— Делай же что-нибудь, — уговаривал его Масахико, а вместе с ним Маркус, Бекка-с-и-на-конце, пьяницы, мыслители, шутники, позеры, пижоны, картежники, хорошенькие куколки и их кавалеры.

Однажды во вторник, зимним вечером, она постучала в его дверь, кружась, словно в вальсе, влетела в тесную, как шкаф, кухню и, заливая молоком рисовые хлопья (они взрываются на языке), сказала:

— Хочу тебе кое-что показать. Пошли! — и быстренько сунула его в ожидающее такси.

— Где?

— Здесь.

С переднего сиденья она вытащила компьютер и заплатила шоферу.

— Но здесь ничего нет. — В холодном ноябрьском воздухе изо рта у него повалил пар. Захваченный ее энергией, он выскочил, не накинув даже куртки, и теперь, дрожа, сунул свои длинные обезьяньи руки под мышки, чтобы согреться.

— Нет, есть. Здесь стройплощадка. И не просто стройплощадка, а площадка под Вайлдвуд-центр, ни больше ни меньше. Нумеро уно в программе развития досуга и торговли компании «Индастриэл Нортвест».

— Стройплощадка.

— Эй, охрана! — Она махнула рукой. Ночной сторож махнул в ответ из стеклянной кабины, висящей на стальном каркасе Вайлдвуд-центра. Металлические ворота с колючей проволокой по верхнему краю скользнули в сторону на взвизгнувших роликах.

— Ну, что, пошли?

Шаг за шагом, пролет за пролетом. Мощные желтые лампы качаются над головой, плоскости и столбы света пересекаются с тенями на прямоугольных рамах балок и этажей.

— Черт подери! — воскликнул Этан.

— Дело не в том, что ты знаешь, а кого знаешь. — Лука повела его к служебному лифту. — Но не в библейском смысле.

Вверх, вверх. Десять, двадцать, тридцать метров по световому стволу.

— Четвертый этаж. Дамская одежда, прорезиненный трикотаж, экзотические шляпки.

Она нырнула под защитные ворота и потянула за собой Этана в сюрреалистичное пространство бетонных горизонталей, прорезанных опорными колоннами и неоштукатуренными стенами. Местами полы и потолки еще не были закончены, зияющие пустоты открывались на нижние этажи, пропастями накладываясь друг на друга. Над головой только холодное ноябрьское небо, ежеминутно грозящее дождем. Вокруг кучами лежали неизбежные следы пребывания строителей. (Слышал бы ты, что они мне предлагали!) О господи, его инструменты, его игрушки, его картинки полуобнаженных девиц, банки из-под его диетической кока-колы.

Лука отцепила от пояса аудиовизуализатор и пару воспринимающих перчаток, передала все это Этану Рингу.

— Смотри и учись, любовь моя.

Бросок в преображенное восприятие ужасал и заставлял

трепетать.

Плоскости и колонны ядовитых цветов, синусоиды, углы — и все они связаны рвущейся вперед силой и движением. Ощущение скорости, пока он мчался по бетонному полу, дугой выгибало его тело. Кислородные компрессоры, сварочное оборудование, электроинструменты, переносные генераторы тока превратились в вибрирующие вихри движения. Он видел заключенную в них энергию в форме мелькающих образов, растянутых во времени действий, втиснутых в статическое безвременье. Брошенная бутылка открывалась в спирали и плоскости сжатой энергии, смятая газета превратилась в головокружительный каскадный вихрь информации.

— Что это? — взмолился он, мечтая о стабильности, ища взглядом Луку и видя перед собой лишь пятно кинетической энергии.

— Стихия Бочиони. — Ее голос казался глубоким, надежным корнем, который уходил в глубь реальности, служил опорой в этом мечущемся мареве нестабильности. —

Умберто Бочиони, дуайен итальянских художников-футуристов, 1882—1916, был одержим манией промышленности, энергии, скорости, агрессии. Это место абсолютно ему подходит. «Город вздымается!» Ты что, не чувствуешь? Здесь все прямо пропитано тестостероном! Из него вышел бы классный фашист, если бы он не расшиб себе голову, катаясь верхом как-то утром в Вероне и не прекратив преждевременно свое существование.

Малейшее движение его головы порождало вспышки цветной энергии, с бешеной скоростью уносившиеся прочь.

— Как ты это сделала?

— Компьютерами. Правда здорово? Я сделала ремикс старой видеосистемы обработки образов. Воспользовалась преобразованными коммерческими энзим-программами. Вскрыла ее и переформатировала. — Излучая листообразные сполохи света, она подобрала оптико-волоконный кабель, который горел и извивался от видимой глазу информации. — Камеры на голове фиксируют образы, мобильник их обрабатывает и снова подает на визуализаторы. Этот пока имеет только один режим — зрительный образ. Позже я смогу добавить другие измерения. Следующими, я думаю, будут кубисты, а потом, вероятно, даже стихия Кандинского. Может быть, Миро? А ты считал меня маленькой черной закорючкой с кляксой вместо головы? В конечном счете я желаю создавать мои собственные, отдельные вселенные. Стихия Луки, ни на что прежнее не похожая! Обретенные источники! Мусорная эстетика. Новые варианты реальности. — Она помолчала. — Они ничего не понимают, Этан.

Другие из моего класса. Считают меня фашисткой, потому что я хочу использовать компьютерные ремиксы, чтобы создавать наложения реальности и виртуальности. Называют меня бездушной механисткой, глухой к духу времени двадцать первого века, застрявшей во вселенной количественных неопределенностей. Но я по крайней мере не равнодушна, я люблю то, что делаю. И люблю из-за того, почему это делаю. Я не забиваю по три раза в день свой микро-чип самой новейшей идеологической дрянью. А у них в голове только реализм и чтобы о них говорили нужные люди и чтобы нужные преподаватели о них упомянули; а если говорить о самих преподавателях, то наши тьюторы только и мечтают, чтобы на нужной вечеринке их не забыли. Чертова честность! Чертова оригинальность! Чертово искусство! — В ее голосе, доносящемся из самого сердца вихря, полыхающего водопадом образов, звучала темная, целеустремленная агрессия, которая одновременно пугала и возбуждала Этана Ринга.

Несмотря на бездушную механистическую глухоту к духу времени, за проект стихии Бочиони она получила награду и убедила Этана устроить по этому случаю вечеринку у него в квартире.

— А почему не у тебя? — поинтересовался он.

— Да, ну... — И больше никаких объяснений. Явились все, у кого хватило духу, и из ее группы, и из его. Они нелепо танцевали под невероятно громкую музыку. Невероятно много пили. Курили какую-то зверскую смесь, а кололи кое-что и похуже. Чудовищно вели себя на людях в неурочные часы, носились по улице, сидя на плечах друг у друга, падали на припаркованные машины, лупили по их корпусам, оставляя глубокие вмятины; визг противоугонной сигнализации разрывал вечерний город дикой какофонией звуков. И всю ночь он смотрел, как она ходит по его дому, пьет, смеется, хихикает, как потрясающе выглядит в умопомрачительном прорезиненном платье в окружении ярких, красивых, пьющих, смеющихся людей, которых она притягивает, как магнит, в то время как сам он не смеет потребовать для себя хоть одно слово, одну улыбку, один танец. Вернувшись из ванной, до того забитой наркотическим дымом, что уносил множество ее посетителей из круга реальности не хуже, чем виртуальные наложения Луки, он увидел ее и это ее умопомрачительное эластичное платье. Она вписывала слова в «Самый длинный кроссворд в мире», который тянулся вдоль всех стен его спальни-гостинной и убегал в крохотную кухню.

— Этан! — Ее пальцы на его локте лежали так требовательно,

как никогда прежде. — Пошли! — Она потянула его прочь от «Самого длинного кроссворда в мире», прочь от разгулявшейся вечеринки, вверх по лестнице, в свою квартиру. — Пошли! — В спальню. — Сегодня вечером я видела три параллельных следа от взлетов. Проблема, кризис, точка перехода. Значит, пора. — Она притянула его к себе. От нее пахло виски, эластиком и множеством диких, диких вещей. — Почему, ты думаешь, я устроила вечеринку внизу, у тебя? — Она заперла дверь. — Добро пожаловать в стихию Луки!

Я просыпаюсь от звука голоса. Секунду, пока разгружается микрочип, я ничего не понимаю, потом стеклянные пирамиды кристаллизуются в моем разуме.

— Пожалуйста, я так голодна. Нельзя ли чего-нибудь поесть?

Тусклый серый свет в окне, предрассветный туман. Она настолько слабая и хрупкая, что едва может сидеть в кровати. Смертное отупение пропало из ее взгляда. В ней возник новый свет.

Мои ребра ноют, ноги под коленями затекли оттого, что я заснул, вытянув их на журнальный столик. Голова как буханка черствого хлеба. Во рту как в заднице у сатаны. Прежде чем уничтожить следы своего темного искусства, я позволяю себе единственный беглый взгляд.

Тиферет: Ангел Исцеления и Полноты Бытия.

Благополучие водопадом устремляется по моим чакрам с макушки до самых ступней. Этот поток смывает и уносит все мышечные боли и спазмы. Я чувствую, что могу пробежать марафон, догнать гончую, перепрыгнуть с одного небоскреба на другой. Я чувствую себя олимпийцем. Бессмертным.

— Пожалуйста, мистер, что-нибудь поесть!

Я выхожу в коридор и зову миссис Морикава. Через секунду весь дом на ногах. У меня такое впечатление, что никто и не ложился. Пока миссис Морикава и остальные члены семьи мечутся в радостном оживлении, готовя маисовый суп, жиденький рис и чай, я разбудил Маса.

— Как девочка?

— Все будет хорошо.

Он все еще будто пьян ото сна.

— Что... как?

— Позже. Я тебе обещаю. — Во что я себя втравил? В какую ложь, обман, недоверие и боль? Человек, устремленный к духовным поискам, стал бы молиться господину Дайцы о милости избежать последствий правильного поступка, но я всего-навсего сомневающийся нечестивец Этан Ринг. — Нам надо отправляться, если мы хотим до темноты попасть на противоположную окраину

Токушимы.

— Сейчас только двадцать минут шестого.

— Я знаю.

Мне хочется оказаться на тропе хенро и скрыться за следующей горой прежде, чем семья Морикава, остыв от радости, вспомнит о нас и начнет благодарить, хвалить, совать подарки. Задавать вопросы. Велосипеды готовы, тюки уложены за полчаса. Свет зари все ярче, он потоком вливается в долину, обрушивается водопадом на наши головы, а мы едем по дорожке между бамбуком и сахарным тростником к тропе хенро. Я впереди, потом Мас, совсем рядом с моим задним колесом.

Из высокогорной крестьянской местности мы снова ныряем в густонаселенные прибрежные равнины. Здесь много храмов. Масса машин направляется в Токушиму. Никакой возможности спокойно предаваться воспоминаниям. Дорога требует полной сосредоточенности. Токушима-Сити, столица префектуры, шумный, грязный, неприятный город, надрывающийся от невыносимого бремени мигрантов из рухнувших конклавов во внутренних районах страны и беженцев из социального хаоса мегаполиса Токийской бухты. Токушима является, да и всегда была, городом-воротами, городом-стражем. В исторические времена границы между префектурами охранялись очень бдительно, на заставах проверяли документы и подорожные у торговцев и путешественников. Хенро едва терпели, подозревая в них шпионов, убийц, имперских агентов, в общем, нежелательных лиц. Наряду с политическими барьерами существовали и иные: храмовые барьеры, места духовной проверки и испытания. Оттуда пилигрим, способный к чистосердечной молитве, мог продолжать свой путь, однако если на его пути возникали препятствия или дурные предзнаменования, приходилось возвращаться и начинать паломничество снова.

Политические барьеры могли рухнуть, но духовные все еще на месте. Тропа хенро уводит нас от толчеи главных магистралей Токушима-Сити в боковые улочки и промышленные зоны, где повсюду видны следы теперь уже постоянного индустриального кризиса, поразившего Японию: закрытые магазины, разорившиеся мелкие фабрики. Контейнеры для жилья массового производства громоздятся в десять, двадцать этажей, стискивают нас со всех сторон, уводят в узенькие, почти непроходимые лабиринты. Приюты для беженцев — вотчина новых бедняков. Мас явно не в своей тарелке, даже я ощущаю атмосферу злобного отчаяния: одинокий и чуждый здесь пришелец среди двухсот миллионов, — более того, я принадлежу к народу, который нанес поражение их империи, обрекая их участи беженцев в своей собственной стране.

Дети в спортивных костюмах — «Крик Сезона! Последняя Мода!» — смотрят на нас с неприятным, взрослым вниманием, сидя на подвесных сетках и бамбуковых лестницах, ведущих на верхние этажи. На перекрестках, вокруг кадок с бамбуком, сидят на корточках мужчины. Другие играют в мяч о стены, сплошь покрытые граффити, приходят, уходят, ждут. В этих местах сейчас зарабатывают женщины. Тяжелые случайные заработки на неполный день в индустрии обслуживания. Только у роботов на биоэнергии есть работа на всю жизнь, спасибочки Компании, низкий ей поклон. Пахнет дерьмом, древесным углем, уличной пищей, машинным маслом, горячей пылью и непонятно знакомым, сладким запахом домашней браги. Звуки одновременно работающих двадцати спутниковых каналов; в каждом киоске, каждом баре, каждом магазине, каждом доме Sony с плоским экраном не выключаются ни днем ни ночью. Жизнь в лучшее телевизионное время. Выпотрошенные автомобили. Разбитые уличные фонари. Брошенные тележки из супермаркетов. Граффити, претендующее на звание Искусства, и Заметного искусства. Псы, дерущиеся псы.

У некоторых шевелятся волоеы на затылке. У других покалывает большие пальцы. У меня же всегда появляется ощущение зуда у самого основания спины. И это безошибочный знак опасности. Восемь человек в легких камуфляжных доспехах с геральдикой своей Хартии, в ореоле изысканно стремительных техно-готических «ямах». Акира. Подростки из среднего класса, отвратившиеся от низкопробных развлечений бесконечными телесериалами и соблазненные пятнадцатью каналами самурайских саг по анимо под звуки Trash Metal — чтоб кровь и гитары! Подростки, сбежавшие из мифологизированного имперского прошлого и устремившиеся к недосягаемому будущему. Большие «ямахи» окружают нас, урча моторами, выбрасывая углеводороды. На задних сиденьях девицы с развевающимися штандартами, прикрепленными к спинам, изучают нас пронзительными взглядами, наводя страх своими черными, блестящими губами. Одно слово их главаря — толстого агрессивного юнца, раз и навсегда решившего проблему грязных волос, сплетя их в косицу, — и они утащат нас в темную вонь крысиного хода между налезающих друг на друга этажей жилых контейнеров. Девица на заднем сиденье его мотоцикла поигрывает моими рыжими волосами, наматывает их на черную кожу перчаток, зажимает черными губами и слегка посасывает. В голосе Маса возникают нехарактерные нотки паники, он непрерывно и суетливо кивает, повторяя, что мы только простые пилигримы по стопам Дайцы, всего-навсего невинные

пилигримы... Толстяк же явно предпочитает угрожающе рассматривать рыжеволосого дайдзына.

Его рука бьет меня по шее, моя голова дергается. В черепе молча взрывается вспышка. Наступает глухая немота: языковой чип вырван из своего гнезда. Он подбрасывает его рукой в черной перчатке. Теперь речь Маса балансирует на грани мольбы, а у меня, в буквальном смысле слова, вырвали изо рта язык. Толстый юнец раздражен. Когда имеешь дело с подобными людьми, раздражение означает смерть. Я знаю, я уже видел такое. И я знаю, что должен действовать, хотя хенро во мне стонет от необходимости высвободить демонов... Я кричу Масу по-английски:

— Закрой глаза! Прямо сейчас! Делай, что я говорю! — и тянусь снять перчатку с правой руки. Стальной змеиный звук: девица выхватывает из ножен короткое таси и приставляет мне к адамову яблоку. Я поднимаю руки. В перчатках. Она игриво склоняет голову набок. Улыбается. Толстый юнец тоже улыбается. Улыбаются и его друзья.

Если раздражение означает смерть, то улыбка — это унижение и разрушение. Голова со штандарта на спине у девицы тоже улыбается. Вдруг раздается крик. Подручный Толстяка что-то обнаружил у Маса в сумке. Вожак щелкает пальцами: покажи мне! Это одна из паломнических полосок с именем хенро. Там написано, что Масахико — это и есть Дандзуро Девятнадцатый, актер кабуки. Толстяк подносит ее к самому лицу Маса, отрывисто летят вопросы. Даже без чипа я понимаю смысл по интонациям толстого юнца и торопливым, испуганным кивкам Маса. Затем с той же поразительной скоростью, с какой он был извлечен, меч агрессии убирается в ножны и больше не висит над нашими головами. Толстяк возвращает мне микрочип, кланяется Масу и уважительно, обеими руками подает ему полоску с именем хенро.

— Ты из кабуки? Ты играешь в кабуки? — Он оборачивается к своей банде и театрально восклицает: — Он! Создал! Дандзуро Девятнадцатого! — Его отряд что-то бормочет и кланяется с искренним благоговением.

— Хартия Сынов порядка приносит тебе глубокие извинения, вам обоим, — напыщенно произносит толстый юнец. Поразительная перемена происходит так быстро, что я просто не могу в нее поверить. — Мы не очень-то доверяем духовным паломникам. Компания «Тоса Секьюрити» пытается проникнуть на территорию «Токушима Холдинга». Они хотят переманить держателей акций, демонстрируя силу против братьев. «Токушима Холдинг» сопротивляется, а улица оказывается между

двух огней. У них повсюду агенты. Ты можешь нас простить? Позволь по крайней мере составить тебе эскорт до следующего храма. Для нас честь сделать это для создателя персонажа кабуки.

Едва ли мы могли отказаться. С развевающимися штандартами и сверкающими крыльями боковых зеркал акира взлетают на своих коней и делятся на авангардную и арьергардную группы, окружая нас со всех сторон. Треск их мотоциклов плотной волной летит по улочке, отражаясь от штабелей жилых контейнеров и закрытых, разорившихся лавок. По лицам прохожих я читаю, кто на самом деле эти герои задворок, Восставшие Юные Души, робингуды для шерифов из Ноттингема и гаев гисборнов в лице страховых компаний. Толстый юнец едет рядом со мной и пространно объясняет, что для них персонаж кабуки — это истинный дух Японии, воплощение чести, справедливости, достоинства, индивидуальности, верности, решительности, опыта и готовности к агрессивным действиям — иначе говоря, мерило настоящего человека.

— Он понимает, как надо жить, — говорит Толстяк. Его девушка протягивает руку к моим волосам, пропускает их сквозь свои черные блестящие пальцы.

— Эй, мистер со сказочными волосами, Дандзуро Девятнадцатый всегда был другом настоящих акира, — объясняет она.

В Восемнадцатом храме мы совершаем омовения, молимся, ставим отметки в альбомах. Акира остаются снаружи. Сидят на своих мотоциклах и курят за воротами храма. Священник хочет вызвать подмогу из «Тоса Секьюрити», я отговариваю его. Толстый юнец принимает полоску пилигрима от актера кабуки со слезами на глазах и дает каждому из нас по пачке табака с травкой в качестве сеттаи — подаяния паломникам. Возможно, позже, когда наше паломничество останется позади и можно будет снова наслаждаться такими штучками, мы выкурим их и с нежностью вспомним Токушима-Сити и Хартию Сынов порядка.

Как только они уезжают с развевающимися на ветру штандартами, Маса начинает выворачивать наизнанку прямо на аккуратный газон у ворот храма. Когда я пытаюсь прийти на помощь, предлагая бумажное полотенце и воду в бутыли, он сердито машет на меня рукой, охваченный страхом и злобой. Весь остаток дня, пока мы едем к Девятнадцатому храму, он не говорит мне ни слова. Инцидент с акира подействовал на него несоизмеримо сильно по сравнению с причиной. Что касается меня, то его молчание очень кстати. Мне самому требуется заштопать кое-какие дыры в душе: искушение властью, такое,

казалось бы, случайное спасение от него, милосердие — Дайцы? — которое незримо сопровождает меня и которое позволило применить мою силу лишь в бескорыстных целях и уберегло от эгоистических и вредоносных. Но даже бескорыстие является поражением. Я пересек половину земного шара, чтобы отправиться в паломничество и уничтожить эту силу совсем, до конца, абсолютно! Небо здесь перечеркнуто множеством инверсионных следов самолетов: местные аэрокосмические силы ткут сложную оборонительную паутину в ионосфере, а я не в состоянии расшифровать ее тайный смысл.

Наши молитвы в Зале Дайцы Девятнадцатого храма сухи и безжизненны. Из-за ошибки компьютера (читай: ошибки секретаря) нашу комнату в отеле отдали парочке дизайнеров по интерьеру, которые прибыли из Осаки на недельный праздник Синто. Сейчас как раз время годовой разгрузки. Народу — пропасть. Если бы извинениями можно было укрыться, мы спали бы в тепле и безопасности, но, к сожалению, это не так, а потому мы находим приют в отеле для водителей грузовых фур с узкими, словно гробы, секциями для сна в трущобной части города. Табличка за спиной у портье гласит: «Впишите свое имя в регистрационную книгу».

— Что в имени... — шучу я, но девица за стойкой явно не обладает литературным багажом и не улавливает аллюзию, а Мас все еще хранит молчание. Я весьма неохотно оставляю ящик с демоном в шкафчике общей раздевалки, но другие постояльцы в синих клетчатых кимоно и таби вежливо отворачиваются, а после акира я наверняка уловил бы любой нездоровый интерес. Моя каморка на третьем этаже: стены обиты, есть кондиционер, встроенный видиофон, радио, телевизор, мини-бар, кнопка для вызова служителя. (Я тут же набрасываюсь на шоколад, а умиротворившись, перехожу к виски.) В общем, эта коробка напоминает теплую материнскую утробу, хотя, очевидно, ее оборудовали, не имея в виду людей моего роста. Помню, один сукин сын гвардеец показывал мне камеру в лондонском Тауэре; ее называли «маленькая радость»: она была слишком короткой, слишком низкой и слишком узкой, так что пленник не мог ни лечь, ни встать прямо. Пытка. Я пробегаюсь по телеканалам: спорт, спорт, ток-шоу, спорт, MTV, реклама, реклама, старый английский комедийный сериал, не смешной и пятнадцать лет назад, когда я смотрел его в первый раз. Дандзуро Девятнадцатого нигде нет. Я отыскиваю порно, но это бессюжетное, неумелое трепыхание округлых ломтей лоснящейся плоти под то, что в Японии, видимо, считают негритянским блюзом, нагоняет тоску и выглядит абсолютно неэротично.

Я всплываю из глубины путаных, окрашенных зовом инстинктов, сновидений — заснул, не выключив телевизор, — просыпаюсь, не понимая, что меня разбудило. Громадные соты спальных секций трясутся от грохота проходящих грузовиков, бульканья водопроводных труб, шороха кондиционеров. Крик — скорее вопль, голос, молящий кого-то не трогать ее, «пожалуйста, не надо ее трогать, не надо ее трогать!». Из-за тонкой пластиковой стены звучит голос Маса.

Цепляясь за сетчатые мостки, я стучу в дверь ячейки, пока он не открывает.

— Я слышал, что ты кричишь, что-нибудь случилось?

Ничего не случилось, все в порядке, все чудесно, но я вижу, что его лицо застыло неподвижной маской, каменной маской, лицо человека, который был моим другом всю мою взрослую жизнь. Преданный, смущенный, напуганный, я возвращаюсь в свой темный гроб в далекой чужой стране и ищу бледного забвения в воспоминаниях.

Лука принимала их. Позже, когда она увидела их истинные лица, она хотела бы от них отказаться, но ее слова, размышления уже пустили корни. Десять частей на тысячу в той моче, которая наполняла бассейн Девятнадцатого Дома, послужили околоплодными водами произошедшего там зачатия.

— Иисус, Иосиф и Пресвятая Дева! Настоящий бассейн! — вскричала Лука, как только появилась там с Масахико, Маркусом и Беккой в ответ на предложение Этана Ринга воспользоваться щедрым летним солнцем. Именно там она потом и проводила значительную часть своего времени, рассекая бассейн грациозными взмахами: туда-сюда, туда-сюда. Прозрачная сверкающая вода накрывала ее спину, хохолок из волос скользил по выбритой голове, загорелым плечам.

— Спорим, ты ни за что не подумаешь, что я была без ума от Эстер Вильяме! Ну почему не бывает сообществ для мужчин! Почему мой отец в него не попал! Я — отказной ребенок: сочувствие и жалость, сочувствие и жалость.

На третий день, когда столбик термометра добрался до девяноста восьми, все они решили последовать примеру Луки и вернуться к доисторическому подводному образу жизни. Они стояли по грудь в воде в узком — глубоком — конце бассейна, окружив плавающее корыто с колотым льдом, утыканным бутылками импортного пива. Погрузившись в прохладную воду, они вели разговор о надеждах, стремлениях, страхах, искусстве, новых идеях.

— Есть идея! — воскликнула Лука. Бутылки легко открывались о выложенный плитками край бассейна, а крышки

медленно таяли в зеленоватой воде и укладывались невероятными созвездиями на темнеющем дне. — Дарю, можете ее скушать. В каждом произведении искусства содержится суть, визуальный элемент, который проникает сквозь шлюзы сознания и оказывает прямой психологический — или даже физиологический — эффект. Нечто, предшествующее осознанию, анализу, интерпретации, чувственному восприятию. Нечто, прямиком бьющее в глубинную, рептильную часть мозга и там взрывающееся. Как, скажем, некоторые сочетания цвета и формы, которые создают мощнейшее впечатление — даже чувство — страха и при этом не содержат ни единого образа, идентифицируемого как ужасный.

— Нечто вроде эмоциональной реакции? — отозвалась Бекка, покачиваясь на спине с бутылкой пива между грудями.

— Значительно сильнее, первичнее, примитивнее. Это доэмоциональная реакция, практически — химическая.

— Конечно, я всего-навсего дизайнер, но разве не ясно, что цель любого абстрактного искусства — стимулировать именно такой тип реакции? — вмешался Маркус.

— Чудно, но такой эффект возникает только от абстрактного искусства... — Это уже сказал Масахико, прижимая ко лбу бутылку пива, только что извлеченную из ванны. — Экстаз. В репрезентативном искусстве или дизайне сила самого образа затмевает этот... досознательный эффект.

Этан молча рассматривал флаги, полощущиеся на мачтах изящных белых крейсеров далеко в море, потом все-таки произнес:

— Не обязательно. Вовсе нет. Читал как-то в одной книжке... — Насмешливое хмыканье. Этан продолжает: — Говорю, я один раз читал книжку о типах шрифтов. Того самого дизайнера, очень известного, где-то в конце восьмидесятых — начале девяностых. Невил Броуди, что ли. Невил Броуди? — Пожимают плечами. — Вы просто варвары. Ну, хорошо. Я кое-что запомнил оттуда. Он там говорит, что тип шрифта может действовать «авторитарно», командовать. В то время я, конечно, подумал, что за дерьмо, как может вид букв на листке бумаги передавать приказ? Но он прав, ты говоришь сейчас то же самое. Настоящий сортир.

— Только попробуй повторить, Этан Ринг, и ты пойдешь на корм собакам.

— Значит, гарнитура, которой напечатано сообщение, может каким-то образом передавать подсознательный мета-текст? — спрашивает Масахико.

— Ну, я бы не стал это так называть, но... да.

— Ты имеешь в виду, будто, напечатав политический

памфлет темным тяжелым сансерифом, ты заставишь читателя лучше его воспринимать, чем если бы он был набран курсивом или другим легким шрифтом? — предположила Бекка.

— Наоборот, — оживленно возразила Лука. — Можно напечатать Коран отвратительными литерами, придуманными в 1970-х, их лепили из женских лиц в стиле Art Nouveau. Вот вам и акт графического ниспровержения устоев.

— Возвращаясь к первоначальной идее Луки… — снова вмешался Этан Ринг, — существует ли… возможно ли сконструировать максимально авторитарный шрифт? Со встроенной в него подсознательной идеей такой мощности, что читающий станет повиноваться, что бы там ни оказалось написано.

— Слышать — значит повиноваться, — отозвался Маркус.

— Видеть — значит повиноваться, — поправила его Лука. — Ну-ка, заткнитесь, парни. Этан дело говорит. — А Этан в это время водил в воздухе пальцем, дирижируя невидимым хором муз, покусывая нижнюю губу и разглядывая нижний правый— угол небес, как делал всегда, когда в нем бурлила творческая энергия.

— Существуют ли практически целые семейства таких явлений? Вне нас, внутри, да где угодно… Чистые, отфильтрованные формы того, о чем мы говорим… Визуальные… — он поискал слово, — сущности, недоступные восприятию сознания… Они проскакивают мимо форпостов нашей способности рационального осмысления и различения явлений и провоцируют непосредственную физическую реакцию. Радость, гнев, религиозный экстаз, ощущение просветления… А возможно, и абсолютно новые состояния психики.

— Буддистские мандалы, по идее, должны открывать разум состоянию нирваны, — вставил Масахико. — Возможно, мандалы, абстрактное искусство, гарнитуры различных стилей — в разбавленном виде все они содержат то, о чем говорит Эт. Истинные визуальные сущности еще только предстоит увидеть, синтезировать, выявить.

— «Потерянные акры», — вспомнила Бекка. — Старое стихотворение, кажется, Роберта Грейвза. Вы что, в школе совсем ничему не учились?

— В основном играть в карты, — откликнулся Маркус, — и ездить на велосипеде без рук.

— Оно и видно. «Потерянные акры» про то, как из-за ошибок в картографии исчезают маленькие участки пейзажа. Я точно не помню как, но кусочки полей, дорог, живых изгородей, рощ сворачиваются и никогда не появляются на картах. На карте

поселок А располагается рядом с городом В, а в жизни между ними помещается целая география.

— Скрытая реальность. На мой вкус, это немного отдает черной магией, — заметил Маркус.

— Как если бы эти сущности были потерянными землями разума... Высшее сознание их типа пропускает, не может зафиксировать и обработать. Они прячутся в норах, сворачивая вокруг себя визуальную «карту», сводят края щели, и картинка совпадает. Как слепое пятно в глазу, — продолжила свою мысль Бекка.

— Возможно, они все существуют в слепом пятне, — предположил Масахико. — Возможно, слепое пятно как раз и есть то самое место, часть глаза, которая регистрирует визуальные сущности, не замечаемые разумом.

— Вроде того, как живой мир включает в себя сложные хаотические формы: фрактальные частицы, множества Мандельброта, — которые так сложно определить, — добавил Этан.

— Может, сознание — это всего лишь фильтрующий механизм, чтобы мы могли вести повседневное существование и не слепнуть от непрерывного сияния Божественной славы... — проговорила Лука.

— Ну-ка, ну-ка, потише, ребята! — влез в ее рассуждения Маркус. — Жуткие вещи вы говорите, что-то я начинаю пугаться.

В ту ночь сгорел эллинг. Весь Девятнадцатый Дом и все их соседи по поселку высыпали на берег, пялились на пламя, передавая друг другу коктейли и бинокли.

— Натуральный чертов Апокалипсис, наверное, самый мощный пожар со времен гибели Испанской Армады, а я не знаю, куда задевалась моя камера! — в отчаянии кричала Лука. Кто-то вывозил котел с барбекю. На дороге выше Девятнадцатого Дома машины выстроились бесконечной вереницей.

— Так насчет нашей беседы сегодня днем, — тихонько говорил Этану Маркус. — Мне кажется, я знаю, как это можно сделать. Система распознавания отсеивает образы, устанавливает зоны, где содержатся эти подсознательные стимулирующие сущности, настраивает их на изоляцию обычных явлений, а программа обработки зрительного образа усиливает и расширяет их амплитуду. — Откровения Маркуса Этан слушал вполуха: по кругу передавали подносы с хот-догами и гамбургерами. Никки Ринг вынес усилитель. Теперь языки пламени поднимались в жаркое летнее небо на тридцать—сорок метров. Вот толпа зрителей дружно ахнула: газовый цилиндр со свистом взлетел в небо и, как ракета, унесся к звездам. Даже фейерверк в честь

коронации выглядел менее впечатляюще.

— Полагают, что виноваты террористы, — сообщил Масахико, принимая подобие водочного коктейля от одной из комбисестер Этана. — Исламисты. Сионисты. Нищие из «третьего мира». Баски. Ирландцы.

На террасу вышла Бекка с камерой-палмкордером, которую она нашла под ворохом грязного белья Луки. Лука быстро чмокнула ее в щеку, с ликующим воплем перескочила через заборчик и побежала по пляжу в сторону полыхающих языков огня, прижимая к лицу видоискатель.

— Да, Этан Ринг, ты просто счастливый придурок! — проговорил Масахико, и в первый раз Этан Ринг принял, осознал, понял и оценил то, что существует между ним и Лукой. В тот момент ему хотелось просто стоять и смотреть, как она мечется в отсветах пламени, снимая горящую яхту стоимостью тринадцать миллионов экю, но в ухо ему по-прежнему зудел настойчивый шепот Маркуса.

— Подумай над этим, Эт. Только представь, сколько можно получить за графический образ, который творит все то же самое, что и наркотик, но только без побочных эффектов, без проблемы привыкания, без смерти от передозировки. Представь, сколько могут заплатить за шрифт, который заставляет повиноваться, что бы ни было написано в тексте.

— Маркус, это шутка, просто шутка, и все.

— Множество серьезных вещей сначала выглядели шуткой.

Это было прекрасно. Это было, как... Это было, как... Как...

— Тут ничего нет, — сказал Этан Ринг. Нечто выскользнуло из его поля зрения, как стеклянный угорь. — Я ничего не вижу.

Новый семестр в сумрачном городе. Те же лица, те же места, но повзрослевшие на год. Октябрь за окнами компьютерного кабинета. Масахико отложил ежевечернюю серию «Кибердевушек Киндзури». Служитель, заглянув к ним в последний раз, произнес ритуальное распоряжение тушить свет (но больше ничего) и оставил комнату с гудящими мониторами троим пионерам и штукой, которую обнаружил Маркус.

— Ты и не можешь ничего увидеть, — заметила Лука Касиприадин.

— Лука права, — отозвался Маркус Кранич. — Мы же обсуждали эффект слепого пятна. Но она там, уж поверь. Если увеличить изображение в десять раз...

Видимая глазами пустота раскрылась, как цветок лотоса, и поглотила их.

Бездна и чудо! Красота и ужас! Безгрешность и Страшный Суд. Там было все и ничто. Пустота и свет. Уничтожение и

творение. Альфа и омега. Первичная Воля. Великое Я. Там была любовь и истина, и справедливость и святость, и мощь и все, все, все: все книги, все стихи, все мантры, все суры, все когда-либо сотворенное. Все духовные опыты, все танцы дервишей, все восторженные взлеты души. И еще больше. Много-много больше.

Там был лик Бога. Комната содрогнулась и наполнилась звуками рвущегося ветра. Казалось, языки пламени пляшут на руках и лицах троицы наблюдателей, их губы в экстазе шепчут слова языков, никогда не слышанных человеческим ухом.

Прошло какое-то время, подобное предвкушению вечности, и раздался голос Луки:

— Мое лицо вы не увидите, ибо ни одни человек не может узреть его и выжить. — Казалось, что ее голос доносится сквозь глухой белый рев, будто крылья ангелов хлопают перед престолом Всевышнего.

— Но мы видим, видим, черт подери, и живы! Каждое слово Маркуса как булыжник рациональности, летящий вверх по асимптотической плоскости экстаза.

— Я забрался в базу данных Национальной галереи по религиозному искусству и иконам и установил параметры программы так, чтобы она подавала мне сигнал каждый раз, когда натыкается на что-либо, соответствующее моему определению духовного, экзотерического, иррационального. Вы представить себе не можете, сколько Мадонн и Младенцев мне пришлось пересмотреть, пока удалось составить репрезентативную выборку. Машина три дня сличала и соотносила собранный материал, еще пятнадцать часов машинного времени потребовалось, чтобы увеличить изображение.

— И в конце концов получилось нечто, стимулирующее способность человека к религиозному экстазу, — закончил Этан. Слова скользили и ускользали в светоносный голос Бога.

— Значит, ты попал в самую точку. Все эти иконы, все мандалы, и санскритские мантры, и просветленные кельтские письмена — они просто отражения, блики, намеки, поиски. Истинная слава здесь.

И тут преображение кончилось. Ореол славы померк. Лицо Бога отвернулось. Осталось лишь болезненное воспоминание, пронзительное чувство Утерянного Рая. Лука убрала пальцы с выключателя.

— Нам не положено смотреть на такие вещи. Бог недаром скрывает свое лицо. Человеческое естество не может выдержать слишком много божественного.

— Слишком страшная тайна? Людям не положено знать? — В голосе Маркуса явственно звучит презрение. — Старый трюк. Это только начало. Если нашелся один путь, должны быть и еще. И я собираюсь их отыскать.

Лука покачала головой.

— Уничтожь это, Маркус. Сотри. Избавься от него. Это опасно. Оно сожжет тебя. Разрушит, я точно знаю.

Сингон и Искусство ухода за велосипедом в горных условиях. Я поднимаюсь еще до рассвета. Хорошее время, новое утро, свежее новорожденное утро, самое лучшее время. Все предметы видятся ясно и четко. Чистый, холодный, бодрящий воздух. Небо цвета выцветших джинсов, к зениту тон углубляется до яркого, еще не стиранного индиго. Луна уже час как зашла. Я, скрючившись, сижу на обочине рядом с плотным монолитом приткнувшихся к обочине грузовиков. Усталые водители еще спят в узеньких гробах-ячейках нашего отеля. Я работаю терпеливо и настойчиво. Когда безопасность зависит от усердия, ремонт не делают в спешке. В возне с велосипедом есть своя ценность. Не меньшая, чем в самой езде. Возникает состояние, когда я и ты

перестают существовать, объект и субъект исчезают, ты сам и велосипед становитесь одной вещью, одним понятием, единением. Получается истинный киборг: человек-машина.

Как я и думал, гнезда штифтов разболтались, я подтянул их отверткой из своего набора инструментов, пшикнул на них пару раз масляным аэрозолем, который я держу в сумке на поясе. К этому времени солнце всходит над черепицей Девятнадцатого храма.

Моего плеча коснулась чья-то рука.

Мас. С велосипедом. Сумки готовы. Все увязано.

— Вот регулирую систему скоростей, — говорю я. — Переключатель вчера что-то барахлил. — Он кивает, натягивает очки под купол своей паломнической шляпы, и мы пускаемся в путь, скользя вниз по улочкам просыпающегося города. На магазинах взлетают стальные жалюзи, дети спешат в школу, размахивая разноцветными рюкзачками. Фургоны поставщиков урчат на разукрашенных в честь синтоистского праздника улицах, кругом флаги, знамена, фонарики. Во мне тоже появляется чувство празднества, возникает почти школьное ощущение каникул и свободы, но с собственными целями и задачами, в то время как весь остальной мир ворочает привычные жернова повседневности: работа — еда — телевизор — сон — работа — еда — телевизор — сон.

Этот участок тропы хенро, от Девятнадцатого до Двадцатого храмов, очень тесно связан с эпизодами жития Дайцы. В долине недалеко от Двадцатого находится самая сокровенная святыня храма — глубокая пещера у начала узкого каньона, где святой медитировал. Но туда — может быть, в следующее паломничество. В Двадцать первом храме, на вершине горы Тайриу, нам придется оставить велосипеды и дальше взбираться пешком: здесь Дайцы провел в молитвах целый месяц, пытаясь взывать к охраняющему его духу — Кокуцо. Теперь здесь нет ни одного служителя. Никто не совершает ежедневных восхождений, но электронные гиды из автомата, получив с дисконтных карт наши иены, подробно смакуют эзотерические подробности ритуальной молитвы Дайцы: миллион раз исполняют мантры Света, на белом чистом листе рисуют луну, а на луне — образ Кокуцо, а на лике Кокуцо — корону, а на короне — сорок Будд, а на ладони каждого Будды — раскрывшийся цветок лотоса, а в каждом цветке — жемчужину, испускающую золотые лучи...

— И так без конца — ad infinitum, — заметил я.

Но Кобо Дайцы достиг просветления не на вершине, а в приморской пещере на восточной оконечности полуострова Мурото. Именно к мысу Мурото, к морю, мы направляемся сквозь

шорох бамбуковых рощ, для меня этот звук всегда был наполнен глубоким духовным смыслом. Голос Будды долин. Из-за холмов, где, словно жемчужина в лотосе, прячется Двадцать второй храм, я уже чую дух океана. И как всегда, он наполняет меня своим божественным недовольством. Море — воплощение перемен. Мас не сказал мне ни слова, но я чувствую, что его духовный прилив отступает. Теперь наше молчание — это молчание двух друзей, которым не требуются слова, чтобы выразить свою близость. Мы миновали барьер.

Тропа хенро между Двадцать вторым и Двадцать третьим храмами заасфальтирована, и сейчас по ней с бешеной скоростью несутся чудовищные колесницы Джаггернаута — современные автомобили. На наших картах указан альтернативный путь вдоль береговой линии: прекрасный велосипедный серпантин среди пологих, укрытых лесом холмов с одной стороны и безмятежным Тихим океаном — с другой. Нирвана между горами и морем. Мы пересекаем гористое плато, и перед нами открывается извилистая полоса белого песчаного пляжа. В конце него — город Хияса и многоцветная пирамида — пагода Двадцать третьего храма.

Я кричу Масу. Он тоже мечтает чуть-чуть отдохнуть в таком прекрасном месте. Вода страшно холодная, почти физический шок. Теплый воздух утверждает, что сейчас конец мая, а вода говорит — начало марта. Я с воплями бросаюсь в волны, хлопаю по воде и барахтаюсь, чтобы удовлетворить свои давние амбиции поплавать во всех океанах Земли, потом пулей выскакиваю на берег, стряхивая с волос длинные сверкающие брызги. Мас ждет под длинной ветвью древней сосны, похожей на вытянутую в мольбе руку. Легкими взмахами кисти он делает какой-то набросок. Черепахи.

Я рад, что он снова рисует.

— Каждую весну, примерно в это время, они приплывают откладывать яйца, — говорит он. — Каждую весну, уже миллионы лет, какая-то сила возвращает их на этот пляж, чтобы при полной луне они могли отложить здесь яйца. Они приходили сюда задолго до нашего появления, и после того, как мы исчезнем, все мы, все наши планы и надежды, они все равно будут возвращаться. Лично в меня это вселяет большую уверенность.

Он вздыхает и подписывает рисунок в своем альбоме для эскизов, называет его «Черепаший пляж. Двадцать третий храм. Луна в третьей четверти. Наму Дайцы Хеньо Конго».

Помолчав, Мас снова начинает говорить:

— Я помню, год назад мы с тобой кое о чем говорили. В то лето мы всей компанией приехали к тебе, мы говорили о графических сущностях, которые вызывают прямую физическую

реакцию. Тип шрифта, несущий подсознательные образы такой силы, что читатель не в состоянии сопротивляться передаваемому приказу.

— Я помню этот разговор.

— У вас ведь получилось, правда?

Мои кулаки в перчатках инстинктивно сжались. Усилием воли я с трудом их разжал.

— Расскажи мне, Этан.

— Да, мы сделали это. Да.

— Дочка Морикава...

— Лечение — это одно из проявлений. А еще смех, слезы. Экстаз. Страх. Боль. И много чего еще. Мы назвали их по именам ангелов — серафимами, но они нас обманули.

Мас рассмеялся. Горьким театральным смехом. Смехом кабуки:

— И все это время я и представить себе не мог, что путешествую в компании самого Дандзуро Девятнадцатого.

— Я ведь не супергерой, Мас. Нет никаких супергероев, никаких Джеймсов Бондов. Жизнь — не представление анима.

— А те акира, — слово вызывает у него рвотный рефлекс, — ты ведь мог... ну, я не знаю, напугать их, что ли, ослепить. — Неожиданно в голосе Маса взрывается сдерживаемый гнев. — Выжить их сучьи мозги!

— Мне это не понадобилось. Ты же слышал, они сказали, что актер кабуки — всегда друг настоящим акира. Они считали тебя Богом.

— Плевать я хотел на этих фанатов кабуки! Я не просил, чтобы меня принимали за божество, не просил, чтобы мне поклонялись, считали меня героем, рассказывали, как Дандзуро защищает все, что для них свято, потому что все их ценности, и сами они тоже, вызывают у меня тошноту. Тошноту, злобу и страх! — Он снова молчит, напряженный, сжавшийся, замкнутый, молчит так долго, что я думаю, он больше ничего не скажет. Но это только пауза. Время, пока еще более глубокая боль просочится сквозь песчаные фильтры души.

— Мы собирались пожениться. Она была PR-менеджером у моих токийских агентов. Я встретил ее на ленче для актеров кабуки во «Фри Квинсленде». Я любил ее. Вот так. — Пальцы сжимаются в кулак, как захлопнувшийся капкан. — Такое, видишь ли, случается. — (Я тоже это знаю.) — И чаще, чем мы думаем. — (Друг мой Масахико, я тоже это знаю.)

Далеко в океане гигантские миллионотонные сухогрузы с рудой тяжело пыхтят, пытаясь избежать встречи с тропическим штормом. Еще дальше расплывчатое темное пятно. Это горит

прибрежная аркология, пачкая горизонт маслянистым дымом. А на пляже, ближе к городу, двое ребятишек швыряют в воду палки — играют с собакой.

— Через три дня мы уже были неразлучны. Такой вот она была, делала что хотела. У нее был кот с обрезанным хвостом, мике — какая-то страшно редкая порода, слепой на один глаз. Всегда сидел на подоконнике и смотрел на улицу. Иногда замахивался лапкой на прохожих внизу. Думал, что это какие-то насекомые. У него не было пространственного зрения. Такие вот дела. Я много работал по ночам — дурная привычка еще из арт-колледжа, ну, ты помнишь, когда приходилось воровать компьютерное время, чтобы работать в «Кибердевочках Киндзури». Тогда и начинался актер кабуки. У Дандзуро была роль без слов. Она приносила мне бесчисленные чашки кофе. Только она умела готовить настоящий кофе. Она его сыпала меркой. Забавно, важное забывается, ее лицо, тело, в памяти остаются только мелочи: кот, кофе. Она часто играла в волейбол на крыше, знаешь, в таких обтягивающих шортах, какие сейчас носят девчонки, в наколенниках и налокотниках. Наколенники, налокотники, шорты — они как будто плавают в пустоте, ее саму я уже не вижу. Странно, правда? Мне так нравилось смотреть, как она бегает, прыгает, кричит, абсолютно отдается игре. Она была прекрасна. И я любил ее. А они ее убили.

Пара древних-древних стариков бредет с палками вдоль береговой линии, ковыряется в мусоре, выброшенных волнами щепках, надеясь найти сокровища, приплывшие из мифической Калифорнии. Самолет в небе выполняет медленный разворот, начиная снижение к мегаполису Токийской бухты.

— Эта дурацкая машина. Один из первых экземпляров новой модели «Дайацу», с четырьмя ведущими колесами. Тогда еще только начинали выпускать биодвигатели, и иметь такую было очень престижно, настоящий символ социального статуса. Она временами вела себя очень глупо, такие вещи, как статус, имели для нее значение. Тщеславие — этого у нее не отнять. Я тогда сказал ей: брось, это всего-навсего машина, пусть акира заберут ее. А она сидела, обеими руками облокотившись на руль, с таким видом, как будто ей на всех наплевать. Я хорошо знаю это выражение. Она и на меня так смотрела, когда я делал то, что ей не нравилось. Вокруг все орали, все, кто там был, орали как резаные, а полицейские сирены все ближе, и тут она говорит мне: «Давай садись, едем!» — и... знаешь, как это бывает в кино... как будто все происходит страшно медленно... Кажется, что в реальности так не бывает, но это правда. Я видел все, как при замедленной съемке: как главарь отступает на шаг, чтобы лучше

прицелиться, как автоматический пистолет дергается в его руке, пока он опустошает магазин прямо в нее, как пули вспарывают ее, словно рыбу, — ты веришь мне? — я ведь именно так и думал: как зеркального карпа, потом стук — это последняя обойма стукнулась об асфальт, блеяние сигнала, когда она упала на руль, а потом все кончилось, они потащили ее на улицу. Было столько крови... Никогда бы не подумал, что в человеке может быть столько крови... Странно, правда? Единственное, чего я не помню, — это грохота выстрелов. Они забрали машину. Невероятно, но когда пришла «скорая помощь», она была еще жива. Но до больницы она не продержалась. Акира они, правда, схватили. Служба безопасности «Шиба Секьюрити» выставила их головы в главном святилище того района.

Она была прекрасна. Я любил ее. Они ее убили. Этан, что происходит с моей страной? Почему все не так?

Он плачет без всякого стеснения. Холод и сырость. Я обнимаю его, пытаясь успокоить. Древняя-древняя пара идет мимо нас, они ласково воркуют друг с другом, с недоумением поглядывая на нас. На пляж накатывает прилив. Огромные корабли один за другим исчезают за горизонтом. С океана наползает ночь. Начиная зябнуть, я натягиваю рубашку, застегиваю молнию на куртке, потом надеваю штаны. И думаю о черепахах, которые плывут сюда сквозь глубины. Думаю о горящих аркологиях.

Малкхут: Кто видит лицо ангелов, должен повиноваться.

Йесод: Империя чувств, безграничное царство наслаждения.

Ход: Слава, полное восприятие Бога.

Незах: Боль, эмоциональные муки, духовная пытка, физическая агония, страх перед существованием.

Тиферет: Излечение и здравие.

Гевурах: Ужас. Чистый. Первобытный. Абсолютный. Ужас.

Хесед: Взлет к оргазму меньше, чем за три секунды.

Бинах: Фрактор уничтожения чувства времени, творец порядка.

Хохмах: Забвение. Полное, мгновенное и необратимое.

Казалось, тот единственный взгляд на лик Бога дал толчок волне кристаллизации, которая обернулась толпами и толпами визуальных сущностей. Каждую ночь, в Час Недремлющих Ночных Уборщиков, пионеры нового восприятия Кранич и Ринг будут созерцать эти необразы — фракторы — слово придумал Этан Ринг, — вынырнувшие из слепого пятна в глазах и швырявшие их в пароксизмы смеха, истерического плача или погружавшие в самоубийственную депрессию, или возносившие в такие высоты, о которых разработчики новейших массовых видов

синтетической «дури» могли бы только мечтать. Или повергавшие их в паралич, обездвиженность, полный ступор визуальным образом, который уничтожал их чувство времени до тех пор, пока надежный таймер не выключал компьютер и не освобождал их, возвращая к действительности. Маркус, который успел переварить «Illuminati» в параноидальные годы своего тинейджерства, предложил назвать их в честь десяти сефирот древнееврейской Каббалы.

Теперь Лука только изредка заходит в компьютерный класс, чтобы предостеречь Этана. Маркуса она, должно быть, считает совсем безнадежным. Соответственно и сократились ее визиты на шестой этаж и в сердцевину колледжа графических коммуникаций. Она больше не стучала в его дверь на первом этаже. Прошло несколько месяцев с тех пор, как она спала с ним или воровала его покупки. Однажды вечером в четверг Этан остановил ее на лестнице, надеясь, что открытый разговор может заставить ее смягчиться.

— Ну почему? Неужели утром прошли впритирку два трансатлантических лайнера?

— Считаешь себя остряком, Эт? О'кей! Вот почему. Пока тебе везло. Знаешь, что рано или поздно случится, пока ты пялишься в экран? Оттуда выскочит штука, которая вызовет у вас психоз. Или полную амнезию. А как тебе нравится шизофрения? Или эпилепсия? Или суицидальная депрессия? А может, и что-нибудь похуже. Мне страшно. Вот. Так обстоят дела, если уж говорить все до конца. Лука Касиприадин, девчонка, которая ничего не боится? Но это ее пугает. Ты думаешь, что если я ношу этот хохол, то сразу становлюсь бесчувственным киберпанком? Это. Пугает. Меня. До черта. Это пугает меня до черта, потому что я люблю тебя, Этан Ринг, а ты чертовски глуп и не можешь ничего понять.

Этан пересказал весь разговор, минус последние шестнадцать слов.

— Худо дело, — задумчиво процедил Маркус. Теперь эксперименты завели их в область дьяволидов — субфрак-торов, уже переваливших числом за сотню, которые выделились из параметров сефирот-программы. — От таких слов прямо яйца леденеют, а, Эт? Знаешь, как бывает, когда чувствуешь, что заболеваешь? Она всегда попадает в десятку. Но сейчас все по-другому. Идет большая игра. Самая большая. Эпилепсия, амнезия, психоз — да. Но иногда приходится все поставить на кон ради выигрыша. Пройти по лезвию бритвы. Каждый исследователь знает, что он рискует. А мы, Эт, исследователи, исследователи разума, психонавты, мы забрались в самую темную область

разума.

— Что ты несешь! Это стопроцентное мазохистское рок-дерьмо, — отвечает Этан. — Скоро ты заставишь меня нюхать твои подмышки.

— Значит, ты хочешь позволить Луке Касиприадин указывать тебе, что делать и чего не делать?

Полные руки собачьего дерьма. Лицо к лицу. Между ними лишь десять сантиметров. Самая короткая дистанция социального взаимодействия. Дистанция любви, дистанция бешеного гнева. Почувствуй мое дыхание — вот какая это дистанция.

— Ты доиграешься, Маркус Кранич, твое лицо может влететь в этот долбаный экран.

Illuminatus. Просветление. Этан Ринг ощутил неведомые глубины ярости в своей душе. Увидел страх на лице Маркуса и испугался. Как будто одна из его матерей усадила его и осторожно, мягко сообщила о доселе скрываемом наследственном заболевании, шизофрении, гемофилии, СПИДе, ликантропии. Этан Ринг, его жизнь, его история были притворством, обманом, маской чудовища со стеклянным сердцем, которое и является истинным Этаном Рингом. На миг, пусть краткий, но вполне ощутимый, его наполнило горячее, нечистое возбуждение при мысли о лице Маркуса, вдребезги разбивающем выпуклое стекло монитора, о фонтане кристаллических осколков и брызг. Он вылетел из компьютерного класса. Сбежал из университета и всех его дел. Три дня он прятался среди бесхитростных постеров, сидюшников и бумажек с безнадежными проектами. А потом он больше не смог смотреть в лицо своему гневу и отправился за прощением. В темном компьютерном классе светился один огонек.

— Маркус! Маркус, прости меня. В меня как будто бес вселился.

Я пришел извиниться, Маркус.

Ну, скажи же что-нибудь, Маркус. Не мучай меня, мне и так плохо.

Маркус, с тобой все в порядке?

Маркус!

Человек на полу, освещенный синеватыми отблесками экрана, лежал навзничь; голова запрокинута и ритмично колотится о плитки пола с пятнами от сигарет. Руки и ноги дергаются, тело бьется, как в эпилептическом припадке. Кровавые слезы брызжут из обоих глаз, скатываются по щекам, падают на пол.

— Господи, Маркус! — Этан обходит стол, хочет коснуться его, помочь, сделать что-нибудь, хоть что-нибудь, хоть что-

нибудь! А существо в синем экране высовывается и швыряет его о стену.

Как-то раз, еще в детстве, Этан Ринг играл со старым телевизором и получил сильный удар током.

Как-то раз Этан Ринг подцепил новую разновидность вирусного гриппа, температура подскочила до 103 градусов, в своих галлюцинациях он полз по фасаду бесконечного здания из стекла и бетона, вверх, и вверх, и вверх, и вверх, и вверх.

Как-то раз «воксхолл нова» — старенький автомобиль Никки Ринга — с семилетним Этаном на заднем сиденье вылетела в кювет на темном загородном перекрестке — тот, кто на них налетел, даже не остановился. Они кувыркнулись три раза, прежде чем Этан Ринг увидел щит с надписью «Все грешат и смиряются перед Славой Господа».

Как-то раз Этан Ринг безмятежно возвращался к себе в квартиру, и на него налетели два белых юнца в модных спортивных костюмах; один двинул ему головой в живот, другой стукнул по поясу. В результате Этан лишился восьмидесяти экю и прихваченного на ужин кэрри.

Сущность в экране была всем этим сразу. Сущность в экране была еще хуже. Она была шоком. Токсичным, кармическим, духовным, эмоциональным, культурным, техническим, социальным, очевидным, чистейшим, полным, тотальным — шоком.

Его сердце подпрыгнуло и дало сбой. Дыхание затрепетало. Его голова плюнула в него струей мигрени. Руки и ноги не желали слушаться, а судорожно дергались. К горлу подступила тошнота. Он открыл глаза. Сущность с экране выскользнула из зоны его периферийного поля зрения и швырнула его мозг о внутреннюю стенку черепа. Он спрятался в своем черепе и ждал целую вечность, пока проприорецепторы не сообщили ему, что тело вновь будет повиноваться. С закрытыми глазами он стал ощупывать пол. Он заклинал свои руки: не смейте дрожать, не смейте дрожать! Его глаза дрогнули, почувствовав прикосновение мягкой содрогающейся плоти. Нет! Нет! Сестра Медузы Горгоны! Брат василиска! Посмотреть им в лицо значило умереть. Пальцы взобрались по ножке стола, ощупью прошлись по столешнице, нашли клавишу выключателя, нажали ее. Почти. Он открыл глаза. Почти. Маркус мог сделать распечатку. Пальцы нащупали принтер, проникли в его закоулки и впадины. Ничего. Он открыл глаза. Диск! Диск с фракторами. Он выбросил его из дисковода. Диск жег руки, словно раскаленный металл. Путешествие в лифте было настоящей пыткой.

— Если бы вы, ребятишки, проводили бы столько же времени

над своими проектами, как в студенческом баре... — с упреком пробормотал швейцар, привычный к эксцессам молодых людей.

— «Скорую»! — заорал Этан Ринг. — Вызовите эту долбаную «скорую помощь»!

Последний из десяти сефирот воцарился на троне. Кетер: Пустота. Уничтожение.

Вечером в Двадцать четвертом храме будет огненная церемония. Священник Цунода говорит нам, что приглашаются все. Священник — маленький энергичный человек большого обаяния и харизмы. Учитель из репетиторской школы, сейчас на пенсии, над ним так и витает старомодный образ «любимого учителя» в духе Бет Дэвис, Роберта Доната и Робина Вильямса. Местные сплетни, циркулирующие по этому изолированному кусту из трех монастырей, утверждают, что он мог бы стать Нобелевским лауреатом в своей области математики, но отказался от мирской славы и людских похвал, чтобы посвятить жизнь тому, что он называет «ниспровержение посредством образования». Пренебрегает священной японской коровой: зубрежка — экзамен — работа — жизнь в Компании — ради тощих и неверных хлебов учения для учения. Директора совета, чиновники администрации от образования, местные политики ругали его на чем свет стоит. Ученики боготворили. Над его доской висело изречение Бертрана Рассела: «Как хорошо знать!» Оно последовало за ним в Двадцать четвертый храм с единственным изменением: приставкой «не» к последнему слову девиза.

— Треть жизни учишься, а остальное время прочищаешь мозги от той дребедени, которую в тебя натолкали, — говорит он, показывая нам аккуратную, стерильно-чистую комнатку, пахнущую сандаловым деревом, лавандой и морем.

— Качество. Знать, что хорошо и что плохо и почему. Этому я и пытался учить. Если хотя бы немногие это поняли, я мог бы покинуть мир со спокойной душой.

Мыс Мурото — это шестидесятимильный акулий зуб, вгрызающийся в спину Западной тихоокеанской бухты. Его северное побережье представляет собой устрашающую стену черных отвесных утесов, а южное — величественную панораму песчаных бухт и кос, кончающихся мысом Ашизури в двухстах километрах к югу. «Энола Гей» воспользовался мысом Мурото как географическим ориентиром на пути с острова Тинос к своей двухминутной славе над Хиросимой. А для хенро он вполне определенно указывал на прибытие к точке, где начинаются префектуры Тоса.

Тоса — дьявольская страна,

Не надейся здесь на гостеприимство.

Так рассказывал об этих местах хенро, путешествующий здесь в шестнадцатом веке. Названия могут меняться — теперь она называется префектура Кёси, — но песня все та же.

Мы уже проехали десять километров по главной дороге на восток от Хиясы (сами бы мы такую ни за что не выбрали: жесткая прибрежная полоса, по пляжу никак не проехать), когда вдруг оказались на контрольном пункте. Мы наткнулись на него неожиданно — мешала колонна грузовиков. Увидев форму и мигающие синие огни, мы подумали, что там полиция. И только оказавшись уже в голове очереди, поняли свою ошибку. Дорогу перегораживали два броневика — бывшие БМП. На их бортах, на плечах и шлемах вооруженных людей, которые одну за другой проверяли машины, была эмблема орла, сжимающего в когтях пару молний, и название: «Тоса Секьюрити Инкорпорейтед».

Те самые, что убили мистера Морикаву у Двенадцатого храма. Теперь мы находились в самом сердце их империи. — Отфильтровывают нежелательные элементы. Это они так говорят, — заговорил с нами водитель пикапа. Он вез целый кузов молодых саженцев с обернутыми влажной мешковиной корнями. — Брехня. Все та же добрая средневековая пошлина за проезд.

Частный полицейский в белом шлеме и в белых перчатках пригласил нас вперед, очень вежливо, но в очень привычной полицейской манере. Наши транзитные пропуска (подразумевалось, что они действительны для всех частных полицейских сил по пути паломничества), наши альбомы пилигримов и мой европейский паспорт были обследованы со всей возможной дотошностью, а потом переданы для дальнейшего изучения невидимому офицеру в одном из военных броневиков. Я испытал очень неприятное чувство, увидев, как легко у нас отняли право свободно передвигаться, право существовать, ощутив, насколько мы уязвимы. Через десять минут наши бумаги вернули, снабдив их штампами разрешений на транзит и полицейскими вкладышами с полисом сроком на тридцать дней, за что с каждого потребовали по тридцать тысяч иен.

Такие вот дела, в былые времена Длинного Джона Сильвера можно было по крайней мере отличить по попугаю на его плече. Я не мог избавиться от впечатления, что мои документы подверглись цифровому сканированию. От них шел слабый... электронный запах, как от свежих фотокопий или факсов. Сообщив, что все в порядке, полицейский радушно позволил нам вступить в пределы префектуры Кёси и посоветовал по возможности придерживаться Утвержденных Туристских

Маршрутов, так как «антисоциальные элементы» все еще достаточно активны и наши полисы не будут иметь силы, если мы отклонимся от утвержденного пути. Он вежливо поклонился нам на прощание. Черт с ними, с полисами, но мы никогда не были так рады отклониться от Утвержденного Туристского Маршрута и вернуться на тропу хенро. Путь (с большой буквы) среди прибрежных городков по пугающе крутой горной тропе повергал в ужас и трепет. Восьмидесятикилометровый участок между Двадцать третьим и Двадцать четвертым храмами с редкими городами и еще более редкими альпийскими лугами — для нас всего лишь один день напряженных усилий — заставлял многих пересмотреть свое намерение превратиться в пилигрима. Один из летописцев-паломников сообщает, что Ава — префектура, находящаяся сейчас у нас за спиной, знаменита искусством драматических баллад. А в Тосе предпочитают разводить бойцовских собак. Вдоль прибрежной дороги расставлены каменные изваяния Дзизо — защитника детей, живущего между мирами, спасителя погибающих от мук ада. Все изваяния устремляют свой взгляд в море, высматривая души моряков, рыбаков и всех, кто отправляется в море на кораблях. Суровая земля, суровые духи.

Несмотря на позднее время и нашу усталость, священник Тсунода советует нам посетить прибрежные пещеры, пока совсем не стемнело. Вход туда втиснут между корнями субтропической смоковницы. Сами промытые волнами пещеры — это широкие, низкие, сухие помещения со сложной системой переходящих друг в друга коридоров. Это то самое место, где Дайцы достиг наконец просветления, когда утренняя звезда, аватора Кокуцо, взошла на востоке из Чистого мира Якудзы. В память об этом деянии пилигримы по обычаю воздвигли пирамиду из обтесанных морем камней. Звуки моря удивительно приглушены, по связанным между собою пещерам воздух движется странными завихрениями, но хотя я стараюсь изо всех сил, однако все же не могу ощутить в себе ожидаемого экстаза или умиротворения. Кажется, что все это давным-давно унесено отливом вместе с обломками какого-нибудь кораблекрушения. Быстро темнеет, наши тени тают и сливаются с общей тьмой. Я поднимаю камень и хочу добавить его к пирамиде. Вдруг в темном гроте шевельнулась какая-то тень.

Моя правая рука скользит к манжету левой перчатки.

— Прости, что напугал тебя, брат хенро, — произносит приятный мужской голос. До меня доносится странное клацанье. Что-то двигается среди теней, приближается к нам на слишком большом количестве ног. Да, ног многовато. Получеловек, полу…

— Пожалуйста, клади же свой камень, — произносит этот получеловек. — Позвольте представиться. Господин Паук к вашим услугам.

Позвякивая и постукивая, он пробирается к нам среди камней и рассказывает историю двух своих последних инкарнаций на пути к просветлению. Сначала он был Кииo-ши Уэно — лучшим продавцом компании «Иколко Зиппер». А потом, однажды ночью во вторник произошло лобовое столкновение с сумасшедшим водителем на скоростной полосе верхнего уровня эстакады Западной бухты. Скорость сближения — приблизительно двести километров в час, расстояние — пятьдесят метров, псих дрогнул, не справился с управлением и полетел через три уровня вниз, превратившись в огненный шар, который рухнул на огороды наемных корейских рабочих. Лучший продавец года компании «Иколко Зиппер» врезался в разделительный барьер и был доставлен в Травматологический центр района Чиба с многочисленными переломами в пятидесяти процентах скелета. После четырех месяцев неподвижности в стальной конструкции неизлеченным остался только его спинной мозг в районе двенадцатого и тринадцатого позвонков. И доктора мягко убеждали его, что так оно и останется. В какой-то миг этих четырех месяцев пребывания в стальных тисках жизнь, которая была Кииоши Уэно, умерла, и пока внимание медицинских роботов было направленно на другие предметы, на свет появился господин Паук.

Блок мобильности охватывает его талию и удерживает тело в пластиковой колыбели. Шесть членистых конечностей с биодвигателями носят его по поверхности планеты. Сильные, не знающие усталости, но, на мой непросвещенный взгляд, слишком беспокойные. Синтетические мускулы встроены в металлические конструкции с помощью нейропластических сухожилий. По его приглашению мы осматриваем синоптические контакты, вмонтированные сзади в его шею, радужные обмотки передающих центров. Он с гордостью демонстрирует рекламные наклейки с названиями компаний, покрывающие всю свободную площадь механизма передвижения. Сходные логотипы украшают шляпу и мантию хенро. Его епитрахиль — дар компании священных напитков «Море Утешения», его посох — от Sony. При каждом его движении колокольчик хенро, изготовленный одним из последних Живых Сокровищ — неподражаемым мастером этого искусства из гильдии ремесленников Японии, непрерывно звенит глубоким, как океанские воды, голосом, слишком спокойным для подобной суетливости. — Дайцы вернул мне дар движения, чтобы я мог воспользоваться им не для себя, как было, когда я носил

имя Кииоши Уэно, но для других, — продолжает странный человек. Покинув реабилитационный госпиталь, он стал собирать деньги на добрые дела простым — для всех остальных — актом хождения. Сначала Токайдо, потом паломничество по тридцати трем храмам Кэннона, который пересекает Хонсю от моря до моря. Далее подъем на гору Маунт Койя к столице Сингона на ее вершине, потом сразу миниатюрное круговое паломничество по храмам острова Содо во внутреннем море. Все это, по его словам, была только подготовка, подготовка к осуществлению самого драгоценного для его сердца плана: великое паломничество Сикоку. Двадцать крупных компаний являются его спонсорами или же внесли пожертвования, , чтобы он мог совершить это путешествие, а количество отдельных людей, оказавших ему помощь, исчисляется сотнями. Токийская компания средств массовой информации платит ему за отчеты о его продвижении. Он посылает им факсы с интервалами, к каким принуждает его убогая скорость пешего пилигрима. С помощью вырученных денег он надеется облегчить страдания детей по всему миру.

— Мы — самый ужасный из биологических видов, — говорит он. — Одни только богомолы больше ненавидят своих отпрысков и не доверяют им.

Я думаю, истинная святость подобна истинному смирению. Тот, кто считает, что обладает ею, удален от нее более всех остальных. Мистер Паук был бы шокирован, если бы услышал, что он истинный хидзири.

После обеда Мас извиняется и ускользает, чтобы сделать очень продолжительный звонок. Мы с мистером Пауком пьем чай и едим апельсины, и он пересказывает мне обычные паломнические истории. Позволим ли мы упомянуть о нас в его следующем отчете? Священник Тсунода разрешил ему воспользоваться храмовым факсом. Я говорю, что почту за честь, и это не пустая вежливость. Время, проведенное в компании достойных людей, проведено не зря.

Мы отправляемся на Огненную церемонию, где к нам присоединяются еще двое, две молодые женщины, одна из которых с большим сроком беременности. Перед центральным образом Будды, сделанным очень изящно, как и принято в Сингоне, мы встали на колени, все пятеро: две молодые женщины, Мас, я и мистер Паук, который свернул свои металлические конечности, как какой-нибудь отдыхающий кибернетический кентавр.

Сто восемь палочек душистого дерева для ста восьми человеческих иллюзий.

Огонь плещется в каменной чаше на алтаре, изгоняя

странные тени из темных уголков Зала Дайцы.

Бьет гонг. Звенят колокольчики. Мантры пропеты, молитвы сказаны.

Одна за другой все сто восемь палочек — иллюзии материального мира, трудности духовного пути, грехи человеческой природы — отправляются в огонь.

Голуби хлопают белыми, как рис, крыльями под карнизами крыши.

В огонь добавляются душистые листья, благовония, масла. По лицу священника мечутся тени, как непоглощенные грехи, вынутые из губ и ноздрей лучами всепроницающего света.

Во всем мире остается только два звука. Голос священника Тсунода, мелодично произносящий слова молитвы. Тяжелые удары пенных волн — скорее ощутимые, чем слышные, — которые разбиваются о скалы под Двадцать третьим храмом. Оба эти звука временами сливаются вместе в единый звук голоса-океана. Фонарики покачиваются в струях мягкого ночного ветерка, мечутся тени. И меня охватывает ощущение благоговения, ускользнувшее в прибрежных пещерах.

О времени, проведенном в таком состоянии преображенного сознания, которое называют божественным экстазом, рассказать не может никто, ибо оно выходит за пределы личности, языка, логики. Любое утверждение, которое можно о нем сделать, будет настолько далеко от истины опыта, что в лучшем случае станет бесполезным, в худшем же — лживым. Чистота бытия. Кстати, средневековые мистики называли его Облаком Незнания.

Пламя опадает. Умолкает пение. Служитель ударяет в гонг. Духи развеяны. Наши грехи, наши слабости, наши поражения и ложные устремления сгорели дотла. Священник Тсунода подзывает нас к алтарю, чтобы мы втерли пепел в ту часть своего тела, которая более других нуждается в милосердии. Женщина трет живот своей беременной подруги. Беременная втирает золу ей в губы, грудь и поясницу. Господин Паук натирает себе грудь.

— Сохрани мой дух в чистоте, владыка Дайцы, — шепчет он. — Сохрани чистоту моих целей, — вторит его словам колокольчик. Я насыпаю мягкий серый пепел себе на пальцы и аккуратно втираю щепотку в синтетические пластиковые ладони рук. Мас смотрит на меня, берет пепел из чаши и втирает его в область сердца и голову.

Моя обитая деревом комната слишком полна звуками моря, чтобы спать. И слишком яркая луна. Я боюсь за дверью сёдзи услышать крик Маса во сне, по которому мчатся акира со знаменами и ножами в руках, нанося длинные и так медленно заживающие раны вдоль извилин его мозга. Я боюсь этого

потому, что в моем демоническом ящике есть вещи, которые способны прекратить его кошмары раз и навсегда, как будто их никогда не было. Я их боюсь, боюсь соблазна. Снаружи стоит тишина, в храме темно, теплый воздух лишь изредка вздрагивает от отдаленного грохота ионосферных аэроспеисеров и шума двигателей громадных грузовых судов за горизонтом. Я иду по краю утеса. Залитый лунным светом океан излучает почти сексуальное очарование. Высота всегда представляла для меня какой-то нечистый соблазн, а высота над темной водой — особенно. Когда я в тот раз отыскал Луку в Сан-Франциско, она пригласила меня на уже давно намеченную прогулку по мосту через Золотые ворота. («Не на пробежку, не в поездку, а на прогул-ку») — сказала она.) Мы остановились там, где соединяются стволы кабелей, чтобы посмотреть на радиомачты и спутниковые тарелки проходящего внизу транстихоокеанского сухогруза, может быть, того самого, чей шум я слышу сейчас в темноте. И я признался:

— Тебя не шокирует, если я скажу, что какая-то часть моего сознания хочет сейчас взобраться на парапет и сигануть вниз?

— Значит, родился с луной в Раке, под знаком двух трансполяров, — отозвалась она. — Саморазрушение пронзило тебя, как молния.

Как легко, как заманчиво, забрать свой велосипед и отправиться в Чисты Земли Кэннон на юге! Я могу вообразить, как колеса отрываются от аккуратной дорожки вдоль края обрыва. Могу вообразить, как человек и машина вместе падают. Могу представить, какие навыки потребуются, чтобы удержать их в единой сущности — человекомашине. Чего я не могу представить, так это удара о залитую лунным светом, омываемую волнами скалу.

Когда раздается голос, то кажется, будто сам Дайцы прервал мои мысли.

— Раненый и искалеченный, так? — В ночи мистер Паук подошел совсем неслышно на своих членистых конечностях. — Некоторые места больше способствуют этому, чем другие. Водопады. Озера. Поляны. Некоторые сады. Разумеется, всякого рода возвышенности. Такие пейзажи способны подтолкнуть к самоубийству людей, которым в обычных обстоятельствах это и в голову не придет. Часто думаешь об этом, сынок? Тут нечего стыдиться. Я — часто. Каждый день. Каждый день, сынок. Посмотри на меня, сынок. Посмотри, кого ты видишь? Мужественного человека, сражающегося с ужасающей беспомощностью? Героя? Святого? Я скажу тебе, кого вижу я. Я вижу пародию. Марионетку. Бессильное, бесплодное создание,

живущее только из-за безжалостности современной медицины. Человека, который уже мертв. Уже мертв. Каждый раз, когда я смотрю в зеркало, сынок, я вижу там смерть. Смерть в бутылочке, смерть на конце петли, смерть под колесами скорого поезда, смерть у подножия скалы. Я смотрю и смотрю, и смерть отвечает мне своим взглядом, и я понимаю, что существует нечто еще более нелепое, безобразное, отвратительное, бесплодное и бессильное, чем я. Это смерть. Подобные крошечные открытия позволяют жить дальше. И мы живем, сынок.

— Вы более мужественный человек, чем утверждаете, отец.

— Или самый большой трус из тех, кого тебе доведется когда-либо встретить.

— Трус — это тот, отец, который отказывается делать добро из опасения, что это может причинить ему боль. Человек, который боится делать добро, страшась, что оно может породить зло.

— Все дело в том, имеет ли такой человек власть творить добро, сынок, или его делает бессильным чувство вины.

— У этого человека есть власть творить добро настолько могучая, что она превосходит само ваше понятие о власти.

Господин Паук поднимает голову, будто улавливая запах души.

— А потому вредоносная. Причина, по которой он отправился в это паломничество, — это надежда избежать большого зла, скрытого в его прошлом.

— Бегство, сынок, может оказаться неверным выбором, — говорит мистер Паук. — Все было бы прекрасно и внушало надежду, если бы жизнь сводилась к противостоянию Добра и Зла, Порядка и Хаоса, Света и Тьмы. Но реальность — это не детская сказка с хорошим концом. Если бы Путь был легок, в чем же заслуга того, кто по нему пошел? Учение Дайцы говорит, что Путь не проходит через бегство и даже через поражение. Ответ на злые действия — не отказ от действий, а правильные действия.

— Я боялся, что вы это скажете.

— Я тоже, — улыбнулся мистер Паук.

— Христиане говорят, что вся духовная жизнь сводится к тому, что один нищий показывает другому нищему, где найти хлеб, — говорю я. Мистер Паук кивает.

— Дайцы в этом месте написал стихотворение, — говорит он и добавляет, что не обладает даром чтеца, однако слова и сами по себе звучат очень убедительно.

Мурото:

Пусть каждый день
Воет ветер и стонут волны,
Они не заглушают Голоса Будды.

— Будды Медицинской Беспощадности? — спросил я.

— Или Будды Цыплячьих Решений? — улыбается он. — Я двадцать шесть раз поднимался на Спейс Маунт, сынок, но в другой инкарнации. — Шесть ног аккуратно уносят его по скалистой тропе к темной геометрической громаде храма. — Спокойной ночи, малыш, — оборачивается он.

Я стою еще минуту наедине с волнами и ветром, а затем следую за ним.

— Мас! — Мне не хочется будить его от такого чистого и спокойного сна, но если я помедлю, моя решимость может растаять. За спиной у меня высоко стоит луна. Серебряный свет окрасил обои. Я чувствую себя персонажем из стихотворения. — Мас!

— Этан?

— Излечение. Смех. Слезы. Экстаз. Страх. Боль. И забвение. Вчера в Черепашьей бухте я не сказал про забвение. Я боялся.

— Боялся чего?

— Того, что ты можешь меня попросить.

— Заставить меня забыть...

Субтропическую бабочку обмануло изображение луны на сёдзи.

— Забвение будет полным, как будто она никогда не существовала. Ты хочешь, чтобы она навсегда ушла из твоей жизни?

— Этан, она и так ушла из моей жизни навсегда. Я не хочу забывать. Я просто хочу, чтобы не было так. больно. Ты можешь так сделать?

— Нет такого фрактора, чтобы забрал боль, но оставил память. У меня есть такой, который может заставить тебя снова это пережить, как будто ты сейчас лично там присутствуешь. Что ты станешь делать с возможностью снова все пережить, это уж твое дело.

— Этан... — Он стискивает мою руку. Его пальцы очень изящны, артистичны.

— Я буду следовать за тобой сколько смогу. У меня есть фрактор, который следит, чтобы события не выходили из-под твоего контроля.

— Этан, я не могу продолжать так жить.

— Тогда закрывай глаза, — командую я. — Не смотри на меня, пока я тебе не скажу.

Батарейки в ящике с демонами почти разрядились. Пара капель сиропа возвращает их к жизни. Нужные мне фракторы относятся к низшему порядку. Малые демоны, я так свыкся с ними, что, наверное, стал к ним невосприимчив. Ля Сереniссима и Мнеме. На сосновом столике лежит лакированный веер. Я раскрываю его, снимаю защитные полоски с липучек на фракторах и помещаю Ля Сереniссима на картинку с дерущимися сороками в ветвях горной сосны. Мнеме — в центр, где группа улыбающихся пилигримов спускается по извилистой тропинке с горы и поднимается на следующую. Я становлюсь на колени перед Масахико. Развернутый веер лежит передо мной. Ля Сереniссима сверху.

— Теперь смотри!

Он медленно, тихо вздыхает.

— Что это?

— Маркус назвал его Ля Сереniссима, — отвечаю я. — Аватара мира, спокойствия, безмятежности и тишины. Он стимулирует мозг, и тот производит эндорфины, природные опиаты.

Мас медленно кивает. Его зрачки так сильно расширены, что мне кажется, я в каждом вижу отражение полной луны.

Я переворачиваю веер у себя на коленях.

— Мас, — говорю я. — Вспомни вечер, когда она умерла.

Тени мечутся по его лицу, тени изнутри. Бабочка зашуршала на бумажной стене, я оглянулся, а когда опять взглянул на Маса, все следы фрактора безмятежности уже стерты. Только ужас, беспомощность, гнев. Фрактор памяти ведет его, и он снова стоит на той аллее, уличные фонари отражаются в полированных крыльях Дайхацу 4x4.

— Скажи мне, Мас.

— Я стою и кричу! Я ничего не могу сделать, только кричать. Но что толку кричать? Почему я ничего не делаю? Почему ты сидишь там с таким дурацким, дурацким, дурацким выражением лица?

Он кричит не на меня, меня он даже не видит, только улицу и ночь и ее.

— Неужели ты не понимаешь, это бессмысленно, бессмысленно, тебя убьют, и все.

— Возвращайся туда, — приказываю я. — Назад! Как ты оказался тогда на той улице и в то время?

Мгновение Ля Сереniссима.

— Это башо, я забыл. Сегодня вечером плей-офф финала

сумо. Полиция уже оцепила стадион. Кругом знаки объезда. Машины тянутся на несколько кварталов. Не дави на сигнал. Давай, давай! Двигай! Видишь же, не выходит, все равно не быстрее. Пробка сама рассосется. Мы успеем. Ты всегда так нетерпелива за рулем!

— Тебе нечего себя винить, — наконец говорю я. — Вполне естественно, что ты на нее сердился. Она же не была совершенством, никто не совершенен. Смерть не сделала ее совершенной. Смерть никого из нас не делает совершенным. Мертвые тоже могут быть глупыми. Мертвые могут быть нетерпимыми и нетерпеливыми. На них можно сердиться. Их можно ненавидеть.

Мас дрожит, но я не переворачиваю веер обратной стороной. Пока не переворачиваю.

— Возвращайся туда, — говорю я. Он возвращается.

— Слушай, я помню путь в объезд: не то чтобы он короче, даже длиннее, но все равно там будет быстрее. Уж я-то знаю, я здесь вырос. Что угодно, лишь бы она попала на эту вечеринку, хотя по радио уже предупреждали, что в том районе неспокойно. Силы безопасности пытаются захватить какую-то шайку акира. Мне и в голову не могло прийти, что они попробуют прорваться.

Так, настроить память на успокоение. Гармонии и ритмы фрактора касаются периферии моего зрения, создавая почти географическую ясность.

— Даже если ты настоял на объезде, даже если ты слышал предупреждение по радио и подумал, что там может оказаться опасно, все равно тебе не за что себя винить, — говорю я. Уже во второй раз.

— Кто-то ведь виноват. — Ты?

— Ну а кто же еще, Этан?

— Она. Она тоже слышала эту передачу по радио. Она решила поехать в объезд. Сам подумай, Мас. Куда это она так хотела попасть? Почему ей так не терпелось?

Теперь Мнеме. Лицо Маса застывает, скованное виной.

— Зачем тебе ехать на эту вечеринку? Зачем ты заставила меня согласиться поехать с тобой? Все будет то же самое, как всегда, те же люди будут произносить обычные вежливые фразы. Никому и в голову не придет сказать, что он думает на самом деле обо мне, о моей работе. Давай плюнем, пойдем в кино, сходим куда-нибудь поужинать, сходим в магазин. «Там будут важные шишки, — говоришь ты. — Боссы из разных компаний, онк все время охотятся за головами. Для того эти вечеринки и устраиваются. Охота за головами». Ну, конечно, там будут пиарщики из американских филиалов Sony с полными карманами

контрактов, ты лопнешь, но не пропустишь такую возможность. Ты всю жизнь мечтала об этой мифической золотой Калифорнии. Что ж, может быть, у меня нет амбиций, и я доволен тем, что я есть, и тем, что делаю. Ты всегда злишься, когда я не делаю того, что ты хочешь. Что ж, на этот раз ты, как обычно, не позволишь моей чувствительности, застенчивости и закрытости помешать тебе сделать по-своему. На этот раз нет.

— А без тебя она бы поехала?

— Ты стучишь каблучками вечерних туфель, меряя шагами наш холл, он такой крошечный — как раз три твоих шага: стук, стук, стук — поворот, и снова: стук, стук, стук — поворот...

— Поехала бы она без тебя?

— Да! — закричал он. — Да. Ты бы уехала. Я попросил тебя подождать пять минут, пока я соберусь. Да!

— Она бы поехала на вечеринку, отправилась бы в объезд, пренебрегла бы предупреждениями по радио, налетела бы на акира... без тебя?

— Да, — говорит он. — Да!

— Ты невиновен, — выношу я вердикт. — Ты невиновен. — Я подношу правую руку к лицу Маса. Без перчатки. Без телесного напыления. Голую. Выпрямляю пальцы. — Поверь мне!

На ладони моей правой руки вытатуировано изображение Малкхута, фрактора Сефират, которому повинуется любой с первого взгляда.

— Поверь мне. — Зрачки Маса расширяются по мере того, как квазифракторные осколки образа скользят вверх по его оптическим нервам, по изгибам и складкам визуального отдела коры головного мозга мимо логического, рационального, сознательного начала в темное первичное ядро спинного мозга, где три с половиной миллиона лет назад в чисто животном существе впервые сверкнула искра разумного восприятия.

— Поверь мне! — То, что я повторил трижды — истинно. Истинно без всяких сомнений, несмотря на боль, вину, страх или на любые аргументы, которые будут это отрицать.

В тот раз в Маракеше мы с Лукой пошли ближе к вечеру на площадь Душ посмотреть на человека, который проталкивал туда-сюда сквозь язык тонкую металлическую шпагу и при этом танцевал, щелкал пальцами и громко прославлял Бога. Каждое из этих «поверь мне» похоже на тонкую прочную шпагу, которую протаскивают сквозь мои губы, язык и распластанные ладони.

Ночью поднимается восточный ветер, он поднимает огромные волны, которые сотрясают Двадцать четвертый храм до самого основания. Чудесный попутный ветер для пилигримов-велосипедистов, он подгоняет нас в спину вдоль старой береговой

линии всю дорогу между Двадцать пятым и Двадцать шестым. Наши паломнические мантии хлопают, как боевые знамена акира. Море под нами покрыто длинными пенистыми гребнями. Сосны по краям тропинки раскачиваются и машут ветвями. Как будто едешь внутри гравюры Хирошиге.

Через километр после Двадцать пятого храма мы видим, как господин Паук со стуком перебирает своими членистыми конечностями. В утреннем свете ярко блестят логотипы компаний-спонсоров. Посох взлетает при каждом шаге. Колокольчик непрерывно звенит. Он тепло нас приветствует. Он отправился в путь еще на рассвете. Оглядев наши велосипеды и их причудливую раскраску, он замечает, что до конца дня они успеют оставить пешего хенро далеко позади. Я не могу рассказать ему, что теперь между мною и Масом существует тайное единение, такое же глубокое и темное, как наше единение по вопросу о саморазрушении, которого я достиг с ним самим на вершине утеса, потому что поверил в высказанную им истину, что ответом на неправильное действие является не бездействие-разрушение, а правильное действие. Мы меняемся полосками. Сувенир из интельпластика с именем Маса вызывает улыбку, но что делать, вот они — мы: первые и последние пилигримы, встретившиеся в летний шторм. Мы крутим педали дальше, он машет нам посохом. Догио Нинин.

Дождь размыл тропу, превратив ее в две узкие предательские колеи. Торможение швыряет мой велосипед поперек дороги. Сырая щебенка трещит под шинами. Удивленный Мас останавливается, рукой в перчатке сдвигает очки.

— Подожди меня в Двадцать шестом, — кричу я сквозь рев ветра. — Надо кое-что сделать. Со мной все нормально. Не беспокойся. Езжай, езжай. Ну, давай!

Оставшись наедине с ветром и вздыбившимся океаном, я отдаю приказ одному из своих бумажных демонов черного ящика. Звонкая мантра колокольчика слышна раньше, чем появляется его хозяин. Наконец господин Паук оказывается на вершине подъема.

— Сеттаи, господин Паук. — Я протягиваю ему свернутую полоску бумаги.

— Позволено ли скромному пилигриму спросить, что это? — произносит господин Паук, со свистом гидролас-тических стоек устраиваясь на отдых.

— Могущественный талисман, дающий здоровье, жизненную силу и благословение всем, кто медитирует над ним.

Он смеется, раскачивая держащую его колыбель.

— Это и правда должен быть очень сильный талисман, —

говорит он, но принимает листок.

— Когда он вам станет не нужен, передайте его другому, — советую я ему, хотя к тому времени закольцованная временем бумага уже распадется. — А до тех пор никому ее не показывайте.

— Вы можете представить себе день, когда я не буду нуждаться в здоровье, жизненной силе и благословении?

Правая нога на педали, готовая надавить. Порывы ветра забираются под шляпу хенро, почти срывая ее. Я не мог предложить ему надежду на выздоровление в ее обнаженном виде, он не посмел бы принять ничего, что в случае провала могло бы его уничтожить. Но каждый раз, когда господин Паук станет созерцать Тиферет, демон здоровья тайком проскользнет мимо его надежд и страхов туда, где израненные, искалеченные нервные волокна снова начнут расти, где мертвые синапсы задергаются и оживут, кости окрепнут, мускулы отвердеют и начнут сгибаться, ноги пойдут.

— Я могу представить этот день, — уверенно отвечаю я. На верхушке следующей возвышенности я оглядываюсь, чтобы еще раз увидеть маленькую решительную фигурку — пылинку в этом безбрежном пейзаже. Увидеть, как господин Паук продолжает свой путь сквозь летнюю бурю. Я смотрю и смотрю, жду и жду, но его все нет.

Мы. Двое. Пилигримы. Товарищи в Пути.

По тому, что он договорился встретиться с ней в викторианском баре, который просто ненавидел: майолика, начищенное воском дерево, затянутая патиной бронза, по тому, что, когда она приехала, он сидел один в отдельной кабинке и пил бренди, которое тоже ненавидел, она догадалась, что произошло. Она решила, пусть все это выльется под собственной тяжестью: темные, холодные подземные воды, мчащиеся по мрачным извилинам и рубцам ложных путей.

— Когда мне было восемь лет, умерла моя бабушка, — начал он, крутя ножку бокала между большим и средним пальцами. — Она оставила мне пару маленьких статуэток, которые всегда стояли у нее на туалетном столике: мальчишка-пастушок и девочка с кроликом. Сейчас они у меня на книжной полке. Ты смеялась над ними. Дешевка, сувенир, какие покупаешь, выбравшись на денек к морю. Настоящий китч. Но они пережили мою бабушку, эти две китайские статуэтки. И могут пережить меня. Жизнь Этана Ринга канет в пустоту, исчезнет и будет забыта, а босоногая девочка будет по-прежнему ласкать своего кролика, а мальчишка — посвистывать, засунув руки в карманы. Это понимание проникло в меня, как кусок льда в сердце, как громадная темная стена на краю жизни, такая высокая, что не

переберешься, и такая длинная, что не обойдешь, омрачающая любую живую мысль и дело; и каждый день, каждую минуту каждого дня, каждое мгновение становящееся все ближе, выше и шире. Три месяца я не мог ничего делать, никуда ходить, никого видеть без мысли о смертной тени, распростертой над всем миром.

— Теперь в наших руках бессмертие, — проговорила Лука, думая, что подает утешение.

— В наших руках призраки и память, для тех, кто может за них заплатить.

В викторианский бар ввалилась толпа мужчин в костюмах с диджитфонами и биопроцессорами Olivetti\ICL модели Марк 88 во внутренних карманах. Они нарочито громко, каркающе переговаривались, как свойственно людям в костюмах. С диджитфонами. И с Olivetti\ICL модели Марк 88.

— Маркус умер сегодня утром. В восемнадцать минут двенадцатого.

— Черт подери... Этан.

— В одиннадцать двенадцать он вышел из комы. В одиннадцать тринадцать у него начались конвульсии. В одиннадцать восемнадцать все было кончено. Еще через двадцать три минуты объявили, что у него наступила клиническая смерть, и его печень, почки и поджелудочную забрали для трансплантации. Сердце и роговицы не тронули. Сказали, что от них практически ничего не осталось. Я был с ним, когда он очнулся. Какое-то мгновение он был самим собой, Маркусом, просыпающимся от кошмара. Тут он как будто что-то вспомнил, что-то увидел, кошмар, который выдул из его черепа все нейроны.

— Боже, Этан... фракторы...

Кружа пальцем по влажным следам от стаканов на исписанном столе, Этан Ринг кивнул.

— Когда я его нашел, то кое-что успел увидеть. Такое впечатление, что кто-то треснул меня кирпичом по затылку. Я потом еще несколько дней не мог ни ходить, ни как следует видеть. Бог знает сколько времени он сам на это смотрел. Лука, я забрал диск. Не мог допустить, чтобы его нашли.

— Избавься от него, Этан! Брось его в реку, засунь в мусорный контейнер, сожги. Избавься от него! То, что я повторю тебе трижды, истинно. Это смерть, Этан. — Она взяла ладонями его лицо, потом вдруг стукнула по щеке. Мужики в костюмах оглянулись, издавая животное фырканье.

— Прости...

— Не извиняйся. — Она снова его ударила. — Сделай это, иначе ты меня больше не увидишь.

Этану показалось, что она никогда еще не была такой прекрасной, как к концу этого второго удара.

Два дня диск таился в университетской папке на раскладном столе в его крошечной кухне. К вечеру второго дня, примерно в час начала «мыльных опер» по телевизору, она ему позвонила:

— Ты уже сделал?..

— Пока нет, Лука. Я все еще думаю... Она повесила трубку.

Еще два дня диск лежал на его университетской папке на раскладном столике в крошечной кухне. И он все время вползал на периферию его поля зрения. Когда в сериале «Коронейшн-стрит» началась реклама, она снова ему позвонила:

— Ну, что, сделал?

— Я собираюсь, завтра... Обещаю тебе... Она повесила трубку.

Следующие два дня диск торчал в рюкзаке с парой туристских ботинок и засунутыми в них носками, а Этан в это время пребывал в непрерывных сомнениях. В один из таких моментов, на пороге Великого Выбора, она опять позвонила:

— Ну?

— Лука, это не так просто...

— Это просто, как «да» и «нет», Этан.

— Лука... Пип-пип-пип...

— Лука!

Он взял рюкзак и отправился на автобус, на поезд, на биотакси, к дверям Девятнадцатого Дома, к своим комбиматерям.

— Это Лука, — сказала королева сандвичей, недавно потерявшая франшизу.

— Наверняка она от него забеременела, — вмешалась бывшая дилерша фьючеров, предвкушая, что в сообществе появятся новые малыши.

— У него проблемы с копами, — высказала свое мнение ювелирша.

— Дело в наркотиках, — заявила телеком-дизайнер европейских сельскохозяйственных журналов.

— Сейчас никого за наркотики не преследуют, — возразил Никки Ринг.

— Ну, так что? — спросили все хором.

— Со мной все нормально, — отозвался Этан Ринг. Услышав такую фразу, любая мать сразу поймет, если это ложь. — Мне нужно время кое-что обдумать.

Время вышло в четыре часа двадцать три минуты утра в темном конце пляжа, куда не доставал свет прожекторов и свечение вновь отстроенного эллинга. Бредя с рюкзаком за плечами, Этан встретил человека, трусившего в странном

костюме из эластомера.

— Доброе утро, — сказал Этан. Человек в странном спортивном костюме бросился наутек. Он положил диск Маркуса у самого уреза воды, где волны намыли грязноватые разводы пены, кучки обломков полистирола и водорослей, полил его растворителем и оторвал спичку от книжечки с эмблемой сомнительного греческого ресторана. Небо прочертил метеор.

— Черт подери!

Он зашвырнул спички вместе со всеми воспоминаниями о сувлаки и сальмонеллезе вслед меркнувшему метеору. Рюкзак тяжело оттягивал ему плечо, а он шагал по мягкому песку к ближайшему городу рассказать Луке Касиприадин, что он сделал.

Неделей позже Лука подала заявление о переводе в Школу изящных искусств города Парижа и съехала из квартиры над Этаном Рингом, не оставив нового адреса.

За десять лет запах растворителя выветрился из ящика с демонами. Подобным же образом потускнели убеждения и догмы тех лет. Анализируя прошлое с точки зрения гейзенбергианскои перспективы моих тридцати лет, я понимаю, что тот Этан Ринг, который брел по темному пляжу под весенним звездопадом, безусловно, имел какую-то важную причину, не позволившую ему уничтожить Сефирот-диск. Но теперь я ее не помню.

Я обнаруживаю заляпанного Дорожного Волка, принадлежащего моему другу, у стены общественной телеком-кабины в Двадцать шестом храме. Стучу по пластику, чтобы он знал, что я прибыл. В тот же миг он прекращает разговор и вешает трубку. По-английски... Я слышал, что он говорил по-английски. Замечаю, что на инструкции для пользователя накорябан номер, безобразные каракули выдают почерк моего актера кабуки. Код Йаватахамы.

— Кому звонил? — спрашиваю я. Лживо невинная интонация.

— Другу. Не виделись несколько лет, — отвечает он. Лживая прямота. И мы, два лжеца, направляемся в храм молиться о благодати из рук Кобо Дайцы. Вооруженные и защищенные бронежилетами полицейские, которые проверяют документы перед Синто-симулятором, провожают нас долгими, тяжелыми взглядами, пока мы идем сквозь толпу и поднимаемся по пологим ступеням в зал

Буду. На их куртках и шлемах все тот же орел с молниями эмблемы «Тоса Секьюрити Корпорейшн».

Они явились за ним, когда джаз-банда в перестроенной церкви, где по четвергам проходили дискотеки, как раз исполняла заключительную композицию. Потеряв Луку, Этан Ринг превратился в завсегдатая курсовых вечеринок, окунувшись

в них с отчаянием человека, который видит, как вокруг него смыкается ловушка собственной его ограниченности.

— Почему она не хочет вернуться ко мне? — откровенничал он с Кирсти-Ли, курсовой шлюхой, которая обнимала его за талию своими затянутыми в розовую лайкру бедрами, а нежным язычком исследовала ухо лишь потому, что где-нибудь когда-нибудь его, может быть, придется использовать для Деловых Целей.

Они вломились одновременно в обе двери и пожарный выход. Что там такое? Что случилось? Что? Что? Стулья, столы, бутылки — все покатилось. Группа вырывает штепселя из розеток и устремляется за кулисы. Лука! Но при чем здесь Лука... Это хряк-полицейский распинает его на стене с постерами легендарных групп из блистательных 1970-х, раздвигает ему ноги, шарит в карманах. «Что за?..» Рука выныривает кое с чем, зажатым между пальцами, кое с чем, выглядящим как пластиковый пакетик Ziploc, с кое-чем, выглядящим в точности как мра-морно-красные таблетки в форме крылатых головок херувимов.

— Ну и что это такое, парень?

— Это вы сами туда их засунули, — оторопело и недоверчиво бормочет Этан. — Это вы, суки!

— Придержите язык, сэр, — говорит хряк-полицейский и прыскает в лицо Этану галлюциногенным аэрозолем. Столы... стулья... бутылки... однокурсники... ребята из оркестра... все плывет... И Кирсти-Ли как распахнутые крылья ангелов...

* * *

Туалет. Это задача номер один. В полу имеется металлическая щель.

Граффити. Это задача номер два. Тут все исписано на языке, где сплошные удвоенные гласные. Что-то германское?

Еда. Это задача номер три. Еда оказалась изысканной. Была даже бутылка пива, которого никогда не осилил бы студенческий бюджет.

— О господи! Я в Бельгии, — прохрипел он, и его вырвало в металлическую щель в полу. Когда исчезли последние следы галлюциногена, они явились и отвели его в камеру с резиновым полом к женщине в красных очках и с множеством колец на пальцах, которые она постоянно вертела и крутила. По тому, как она подняла голову в его сторону, когда он садился в удобное кресло, Этан понял, что она слепая.

— Гент — приехали, дружок, — проговорила она в свободной разговорной манере на том английском, в котором слышится намек, что это не родной язык говорящего.

— Гент, — повторил Этан Ринг. — И что в Генте?

— Секретариат по безопасности Европейского сообщества.

— Не слишком ли это круто для облавы на наркоманов?

Слепая женщина улыбнулась и вынула из ящика стола компьютерный диск мега-плотности. От него слабо, но отчетливо пахло растворителем.

— Дерьмо! — В голове, словно элементарные частицы, заметались мысли. — Вы вломились в мою квартиру! В мой дом...

— Он попал под нашу юрисдикцию, когда полиция восстановила данные с жесткого диска, с которым работал ваш друг перед... э... несчастным случаем? Полицейский эксперт уже вышел из палаты интенсивной терапии, но сможет ли он когда-нибудь полностью восстановить свои двигательные функции — вопрос сомнительный.

Ночной кошмар. Некто продал ему что-то в мужском туалете, и сейчас он проснется на полу в своем или чужом доме с разламывающейся головой...

— Должна сказать, что вы меня слегка разочаровали, мистер Ринг. Я ожидала большего от изобретателя этих...

— Фракторов. Мадам, кто вы такая?

Слепая женщина улыбнулась скупой улыбкой человека, который не знает, как много отразится на его лице.

— Мы представляем Отдел исследований и разработок Секретариата по безопасности Европейского сообщества. Наше поле деятельности — психотехника.

— Фракторы.

— Именно, мистер Ринг. Из записных книжек господина Кранича мы знаем, что на этом диске существует более сотни фракторов, как вы их называете. Это — психогенное оружие такой мощности и такого уровня, что наши текущие проекты выглядят не изощреннее масок для Хеллоуина или мелкой брани на улицах.

— Вы обыскали комнату Маркуса? Вы рылись в его вещах?

— Мистер Ринг, работая с нами, вам придется стать чуть менее щепетильным.

— Что-то я не помню, что нанимался на работу.

— У вас невелик выбор: или — или. В первом случае вы возвращаетесь в университет. Оканчиваете курс. Получаете диплом. Сохраняете компьютер. Сохраняете программу с фракторами. У вас остались пароли. Сохраните их. Мы предоставим вам работу в Европейском PR-бюро, платим вам, оберегаем и защищаем вас. За это вы должны будете применять фракторы, когда нам потребуется. Не часто. Может быть, никогда. Второй вариант таков. Попробуйте спрятаться от белых американцев, левых пацифистов, панисламистов, ну и прочих в том же духе. Честно говоря, я не думаю, чтобы они стали тратить время на подобную дискуссию. Скажите мне, как долго, на ваш взгляд, вы способны смотреть, как вашу девушку — как ее там? — Лука Касиприадин? — это что, армянское имя или грузинское? — как долго вы способны смотреть, как ее насилуют псы? Два часа? Четыре часа? Может быть, восемь? А когда они получат, что хотят, вы, я думаю, обнаружите, что они тотчас забудут обо всех джентльменских соглашениях, которые с вами заключили. Пуля в левый глаз — это текущая практика — modus d'emploi — Корпораций охраны PRCPS.

— Вы не запугаете меня, — произнес он слова, вечно используемые теми, кто очень, очень напуган.

Слепая женщина положила на стол рядом с сефирот-диском сотовый телефон.

— Позвоните ей. Луке Касиприадин. Сейчас время завтрака. Она ведь не любит рано вставать. Я не представляю, почему она каждое утро давится своей кашей, хотя в кафетерии Школы пекут чудесные круассаны. Наверное, скрашивает ее калифорнийскими цукатами. Код из Гента в Париж — 00 33 1.

— Чтоб ты пропала, стерва, проклятая перетраханная стерва!

— Можете проверить, мистер Ринг, так сказать, добро

пожаловать. Вы примете наше предложение сейчас или желаете подумать?

— А что толку?

— Позвольте считать это согласием?

— Позволяю.

— Я рада, мистер Ринг. Видите ли, на ручке моего кресла есть кнопочка, мне совсем не хотелось бы ею воспользоваться. Я немного... отклонилась от истины. На самом деле мы не могли позволить вам выбрать второй вариант и отправиться в лапы янки или исламистов. Обращенная к вам сторона стола скрывает гильотину, действующую на сжатом газе — очень острую. — Она встала с места и обошла стол. Ее пальцы прошлись по его бедрам, паучьими лапками пробежали выше пупка. — Она разрубила бы вас точно надвое. — Пальцы постучали по черной джинсовой рубашке, все еще пахнущей пивом, сигаретным дымом и чужими духами. — Примерно здесь. Тук-тук.

Если бы паломничество совершал Этан Ринг, он мог бы заметить, что жизнь — тоже паломничество по замкнутому кругу из небытия в небытие. Из нулевого храма вселенской пустоты вверх по крутому подъему обстоятельств и закона Мерфи к горным вершинам самореализации, потом вниз по длинному легкому спуску, когда слабые души могут расслабиться и больше не тащить вверх неподъемную махину жизни по ухабам истории из темных морских пещер первичной праматерии, полных океанскими звуками смерти, к шестиполосным шоссейным дорогам с мчащимися по ним доисторическими бегемотами.

Странно: чем больше я пытаюсь восстановить жизнь Этана Ринга, тем меньше нахожу в нем того, что могу отыскать в себе. Благодаря милости Кобо Дайцы я теперь не вывожу абсолютных истин из частностей, как делал когда-то он сам, пытаясь найти себе оправдание. Мораль, извлеченная мною, говорит, что голова Будды так же надежно может покоиться среди звездочек двадцатичетырехскоростного велосипеда, как и в лице Кокуцо, высеченном в плоти живого дерева, и что храмы истинного, настоящего, пылающего бытия так редки и малочисленны, что мы должны всецело полагаться на мгновения просветления, мелькающие в нашей жизни.

Длинный тяжелый спуск к южному побережью Мурото. Между Западным храмом и городом Коси только четыре храма. Для размышлений о Будде зубчатой передачи было бы больше времени, не пролегай наш путь вдоль главной дороги этой провинции. Висящее прямо над головой облако сыплет мелким, настырным дождем; с грохотом несущиеся грузовики и трейлеры разбрызгивают маслянистую жижу, которая облепила нас липкой

пленкой. В бангаи, устроенном на сиропозаправочной станции, из рук хозяина мы получаем сеттаи в виде горячего чая и мандаринов. Краткое благословение. И снова — противотуманные маски, ветровки; шлем на голову и вперед!

Когда мы наконец видим рельефный указатель на приземистом столбике в сторону грязной тропинки, нырнувшей в заросли ольхи и березы, он кажется нам не менее чудесным, чем явление самого святого. Счастливые, мы сворачиваем с дороги и изо всех сил давим на педали среди березняка.

Тропа хенро приводит нас к роскошному, будто потерявшемуся во времени, сельскому пейзажу. Мы проезжаем деревни с крытыми соломой домами вдоль узеньких дамб между залитыми водою чеками, где измазанные грязью роботы трудятся над урожаем высоких' гибких побегов — тростника для татами. Мас все объясняет. Глупо, конечно, но я чувствую себя героем нелепого вестерна. И хотя мой пластиковый дождевик набрасывает на меня некий флер безымянности, это ощущение приходит не из-за какой-либо перемены во мне самом, но благодаря окружающим меня декорациям. Такое всепроникающее, но и такое неуловимое, что я успеваю проехать несколько километров прежде, чем умудряюсь его определить. На каждом доме. На каждом магазине. На каждом автомобиле, роботе, биогазовой фабрике, ветряном двигателе, столбе, указателе — везде эмблема орла и молний: охраняется «Тоса Секьюрити Инкорпорейтед».

— Словно кадр из фильма Куросавы, — замечает Мас, двигаясь рядом со мной. Встревоженные, мы налегаем на педали, а слабенький дождь превращается меж тем в настоящий ливень.

Пытаясь открыть нам глаза на мир за пределами печатных гарнитур и рекламных логотипов, мандарины и властители факультета графических коммуникаций постановили, что мы должны каждую неделю посещать лекции большей частью по темам, на которых в данный момент бзик у кого-нибудь из преподавательского состава.

Из всех мне запомнился только Джейк Бирн, куратор курса, который внушал нам свою безумную/ крайне правую/ расистскую/ ксенофобствующую теорию социальной инерции. Вот ее сокращенная версия, годится хоть в Reader's Digest. Национальные признаки берут свое начало буквально в костном мозге, они такое же его свойство, как цвет — для глаз и/или волос. Отсюда следствие: японское общество агонизирует, аркологии горят, европейские и/или исламские гробокопатели процветают, почтенный торговец отбрасывает свой деловой костюм, и на свет появляется меч/ доспехи/ шлем, ожидавшие

своего часа на чердаке. Привет, пацаны, это последний ремейк «Призрачного воина» Кагемуши. Если Масахико больше не узнает Японию своего детства в этой Японии его тридцати с небольшим, то, видимо, не следует удивляться, что такая вот процветающая буколическая местность превратилась в ленное владение неофеодалов из частной охранной компании.

Я чувствую, что нахожусь весьма далеко от Утвержденных Туристских Маршрутов.

Надпись сообщает нам, что святилище существует триста двадцать восемь лет, и дает понять, что оно будет стоять здесь и тогда, когда неуместная современная зелень частного поля для гольфа, перекрывающего тропу хенро, снова вернется в свое природное, естественное состояние. А сторож его еще новее и еще более преходящ, чем даже поле для гольфа. Мас останавливается, присаживается на корточки, завороженный непотребным зрелищем. От его плаща разлетаются целые водопады брызг. Мелкие плотоядные животные выгрызли губы, щеки, глаза, от ушей остались крошечные обглоданные хрящи. Там, где была татуировка, кожа сохранилась, видимо, благодаря какому-то консервирующему свойству чернил. Пластиковый шлем оказался недоступен воздействию ни стихии, ни животных; пластиковая идентификационная карточка — тоже, она прячется среди юного изобилия колокольчиков, аконита и дикого чеснока. На краю поля для гольфа голова акира смотрит слепыми глазницами на клетчатые брюки, сумки с клюшками и тележки на биотяге. Интересно, аплодируют ли младшие бухгалтеры и менеджеры по продажам под своими фирменными зонтиками — голфу слишком важная вещь, чтобы пренебречь ею из-за капризов погоды, — когда господин председатель наносит лихой удар прямо в центр поля, и смущает ли их варварское зрелище всего в сотне метров от тринадцатой лунки? Каковы Приемлемые Уровни чередования признаков Древности и Прогресса?

Среди мокрых весенних цветов Мас нашел пластиковую визитку делопроизводителя. На ее лицевой стороне рельефное изображение все того же вездесущего орла-громовержца «Тоса Секьюрити».

— Господи, Мас! Брось ее! — Глупый, глупый пилигрим... Не видит знамения...

Нам всего-то нужно пройти несколько сот метров по полю, потом по дорожке и газону у тринадцатой лунки — отсюда даже виден каменный столбик на краю лесистого участка, а тропа хенро ныряет именно туда, — однако среди тележек для сумок, хаотично движущихся по травяному покрытию, находится бело-голубой багги с эмблемой орла-громовержца ToSec. С нашей

позиции на краю поля просматриваются угловатости защитного панциря под адидасовским спортивным костюмом. Я что-то с трудом представляю себе боевика, который отрывает голову вторгшемуся сюда акира и при этом приветливо принимает двух хенро, оставляющих следы грязных шин на ухоженном газоне у тринадцатой лунки.

Тупик. Вперед мы идти не можем, а назад не хотим, не плестись же снова все двадцать километров по землям Клинт Иствуд до утвержденной туристской тропы. Следовательно, мы идем в обход. Поля для гольфа только кажутся бесконечными. Метров сто в обратную сторону, вот опять святилище — и мы находим тропинку, едва заметную — просто чуть-чуть притоптанная трава, — которая как будто ведет в нужном направлении. Тропинка, извиваясь и без конца поворачивая среди бурно разросшейся зелени, ожидающей летнего тепла и благополучия, утыкается в огромную плантацию сахарного тростника. Дождь лупит по растениям, которые представляются сейчас почти врагами: мы понятия не имеем, куда идем, однако полагаем, что любая тропа должна иметь свое назначение. Минут через десять — так себе плантация, ведь это же монокультура! — мы натыкаемся на дорогу и выбираемся наконец из тростника, от которого у меня уже началась клаустрофобия. А вот и сам фермер, стоит в кузовке пикапа и занимается окультуриванием своих посадок.

Ощущая и моральную, и юридическую вину за вторжение в частные владения, мы спешим пройти прежде, чем он успеет возразить. Заслышав окрик, я оборачиваюсь. Фермер машет рукой, зажав что-то в ладони, с такого расстояния подробностей мне не видно, но предмет явно имеет какой-то электронный блеск. Что он кричит? Собаки? Какие собаки?

Тем не менее мы прибавляем ходу, велосипеды трясутся, набирая скорость. Я снова оборачиваюсь, всего на мгновение. Фермер уже забрался в свой «ниссан» и несется следом за нами. Я кричу Масу, но он и сам все увидел. Выставив ногу, он тормозит и под углом в девяносто градусов сворачивает в узкую межу, где не пройдет никакой пикап. Собаки?

Нечто. Осколки движения. Бессвязные чередования света и тени среди упорядоченной массы сахарного тростника высотой в человеческий рост. Мелькание, мельтешение, высверки. Думаю, их больше пяти, но меньше двадцати. И это не люди. Слишком низкорослые, слишком быстрые и слишком неутомимые, нет, это не люди. Мас тоже ощутил их присутствие. Мы переглянулись и дружно включили самую высокую скорость. Охотники в тростнике без колебаний кинулись за нами. Я услышал, как Мас выругался,

и опять оглянулся. Собаки. Охотничья свора из десяти собак, и она приближается. Опухолевидные пузыри биопроцессорных имплантатов поблескивают на их черепах. И у каждой на груди аэрозольной краской нанесен логотип «Тоса Секьорити».

А блестящий предмет, который я заметил .в руке у фермера, это блок дистанционного управления.

В тот раз в Маракеше Лука водила меня на собачьи бои. В белом потоке света киловаттных ламп мы смотрели, как мощные псы кидаются друг на друга, грызут, рвут в клочья, заливая передние ряды алой артериальной кровью. Мы видели, как они умирали на пропитанном кровью песке и все равно продолжали рвать друг друга, даже в смерти порабощенные командами, идущими от пультов их вопящих, потеющих возбужденных хозяев.

Вот только на этот раз фермер не угрожал нам, он хотел предостеречь. Мас внезапно тормозит и поворачивается, я почти сшибаю его с ног. Впереди, метров за сто, мы видим вторую свору, которая несется к нам с элегантной, струящейся неумолимостью.

У меня всего несколько секунд. Несколько секунд...

— Закрой глаза, — кричу я Масу, а они уже здесь. Вожак прыгает, я встречаю его обнаженной левой рукой. Он взвизгивает, изгибается и отлетает в тростник со сломанной шеей.

Если правая длань — это истина, то что есть левая?

Ответ: разрушение. Кетер: Небытие, Уничтожение, фрактор шока. Любой разум, животный, человеческий, искусственный, любое существо, имеющее глаза, увидев его, погибнет.

Я направляю левую руку в разные стороны, и собаки спотыкаются, судорожно дергаются и валятся на землю. Они яростны и неотступны, но этого мало, мало для врага, который нападает через твое собственное зрение. Пять, десять, пятнадцать, двадцать. За двадцать же секунд. Тростниковое поле усыпано перекрученными тушами, дергающимися в окровавленной грязи. Проскользнув между стеблями, я иду от одной собаки к другой, проводя левой рукой перед каждой мордой, пока судороги не прекращаются. Милосердие. Сбоку, в канаве слабо бьет обрубком хвоста еще один пес; глаза смотрят жалобно, по-щенячьи, в них совсем не осталось нечистого огня искусственной ярости. Я чувствую ладонью его теплое дыхание. — Ну, тихо, тихо, уже все, все, — шепчу я и прижимаю левую руку к его глазам. Он судорожно дергается. Только одни раз.

Фермер, выращивающий сахарный тростник, пусть даже очень богатый, не в состоянии владеть двадцатью киберпсами. Он может оплачивать их повременно, иметь пульт управления, это — да, но реальные владельцы, настоящие хозяева — не здесь. И уж

они не станут смотреть сквозь пальцы на то, что случилось с их собственностью. И на нас тоже. Интересно, почему фермер, который пытался предупредить нас о собаках, не остановил их дистанционным пультом? Скорее всего кто-то, стоящий над ним, перехватил управление, кто-то, точно знающий (или знающая), что он ищет.

Мас сидит на корточках, закрыв лицо руками — не дай бог увидеть зло! — и вздрагивает, когда я касаюсь его плеча.

— Все кончилось, Мас. Пошли.

Мне страшно хочется, чтобы эта вотчина орла-громовержца и то зло, на которое он меня толкнул, оказались как можно дальше. Ладони, вцепившиеся в толстые, обитые мягким пластиком рукоятки, горят, словно от свежего ожога. Все мастера тайных искусств согласны в одном: использование и применение своей власти приносит страшную, искусительную радость. Раньше, когда я пользовался своей силой, возникало именно это сладкое чувство. Я ощущал себя Богом, ничто на Земле не могло мне противостоять. Однако мастера никогда не говорили, что за это восхитительное чувство придется платить, ибо на все есть своя цена, и эта цена — боль. Может быть, эмоциональная; может быть, духовная; может быль, физическая. Но всегда боль. И она вас обязательно найдет. Ее нельзя умолить, откупиться, отмахнуться от нее.

Впервые мы, я и боль, встретились в огромной комнате с высокими потолками и без окон. В таких комнатах гуляет эхо, там отличный резонанс, а двери скользят по пазам у вас за спиной, сливаясь со стенами так, словно их и не было. Серая комната, вся серая. Кресло — серое, бошевский промышленный робот — серый. Единственное цветовое пятно — препараты в пластиковых трубочках. Над ними торчат иглы.

— Будет больно? — спрашивает слепая женщина в красных очках, привязывая мои руки к подлокотникам серого кресла и разгибая пальцы: один, два, три, четыре, потом большой — пятый — и тоже приматывает к ручкам.

— Очень больно, — отвечаю я.

Женщина вставляет диск в робота и закрывает за собой дверь. Видно, она относится к тому специфическому типу трусов, которые не могут вынести зрелища мук другого человека.

Физическая боль была лишь малой толикой. Боль истинная возникла от ощущения вторжения, когда поблескивающие иглы впились в ладони моих рук и цветное содержимое пластиковых флаконов устремилось по кровотоку вдоль нервных волокон, запечатлевая мою внутреннюю структуру, как портрет мог бы запечатлеть внешнюю. У Кафки есть длинный и кошмарный

рассказ о машине для казней, которая иглами записывала преступления человека в его плоти. Но это — прошлые преступления, а как быть с теми, которые еще только предстоит совершить? Может ли наказание предшествовать преступлению? Если и была точка, в которой фокусируются долгая смерть и возрождение Этана Ринга, то она на кончиках этих пяти игл.

Боже, как жжет! Руки горят так сильно, что я боюсь на них взглянуть. Хочется остановиться. Хочется выть.

Хочется сунуть их в глубокую, холодную воду. Вина. Жжение. Жар. Жар — это энергия, энергия, которой я могу воспользоваться, чтобы крутить педали, крутить педали, крутить педали и оказаться наконец где-нибудь за пределами этого чувства вины. Крути педали. Крути педали. Иначе эти существа, которых ты запер в другой жизни, вломятся в тебя. В него. В меня. В него.

Сьюзи Мэгги Аннетт. Шесть лет и три четверти, Направляется через океан на Запад с матерью. Та, похоже, летит, чтобы примириться с супругом. Большую часть полета над половинкой планеты девочка рассматривает новое пластиковое гнездо размером в полтора сантиметра за правым ухом у Этана Ринга. Да и трудно на него не смотреть: ярко-красную кожу шрама окружает голый участок черепа — они выбрили ему полголовы, чтобы вставить это гнездо.

— Гляди, гляди, гляди, мам, у этого дяди в голове дырка! — говорит Сьюзи Мэгги Аннетт, не в состоянии больше сдерживаться, но в ответ получает совет не совать нос в чужие дела и скорее засыпать. Когда ему наконец кажется, что они заснули, он вынимает микрочип, вставляет его в гнездо и узнает, что агентурная сеть Европейско-тихоокеанского бюро разоблачила панисламистского крота и теперь его посылают выяснить, как много тот знает, и это знание изъять. Разумеется, он не предполагал, что Сьюзи Мэгги Аннетт окажется скверной маленькой девочкой и сквозь опущенные ресницы станет наблюдать за отвратительным, но таким захватывающим зрелищем: человек с червяком в голове!

Они держали агента в одном из последних деревянных домов на побережье Бэрбэри-кост, который пережил расовые войны. Голый человек был накрепко привязан коричневым скотчем (Этану Рингу это показалось немного чрезмерным) к поразительно красивому шейкеровскому стулу. Сам человек тоже был поразительно красив.

— Оставьте нас, — бросил Этан Ринг, почесывая шелушащуюся кожу вокруг имплантата. Он показал агенту правую руку и произнес:

— Рассказывай свои секреты.

Пока человек, привязанный к шейкеровскому стулу, тараторил, сообщая имена, адреса, информаторов и даты терактов на пленку микромагнитофона, Этан Ринг распечатал фрактор Хохмах и спрятал его в ладони левой руки, не снимая перчатки.

— Забудь все это, — проговорил он, раскрывая ладонь. И тот забыл.

— Сделано, — сообщил он остальным, вручая микрокассету.

— Прекрасно, — сказали ему. — А теперь делай остальное. Уничтожь все.

— Все? — удивился он.

— Все. Мы хотим, чтобы они нас боялись. Тряслись от ужаса перед нами.

И он вернулся к обнаженному пленнику, изъял из его памяти все числа и номера, которые могли бы его идентифицировать: водительского удостоверения, паспорта, страхового свидетельства, банковского счета, кредитных карт, электронной почты, название улицы и номер дома, код замка, личный идентификационный номер. Все ушло.

Его друзья. Ушло.

Его любовницы. Ушло.

Его враги. Ушло.

Его братья, его сестры, его тетки и дядья, кузены, отец, мать. Все ушло.

На следующий день Этан Ринг пришел снова и счистил последние десять лет его жизни, как апельсиновую корку. Годы в университете. Рассвет на мысе Забрисский. Соревнования в университетском бассейне. Тихий вечер на траве в парке. Ощущение адреналина в крови на вершине собора. Пьяная прогулка под дождем в Париже. Танцы в снегу в Новый год. Все ушло.

Тинейджерские годы, школьные страхи и прыщи, потеря девственности. Ушло.

Головокружительное осознание всех несообразностей взрослой жизни. Ушло.

Детство, пренатальный период, ливень воспоминаний, впечатлений, ощущений, о которых человек даже и сам не подозревает. Ушло.

На третий день Этан Ринг забрал все, что знал этот человек; Как водить машину. Как говорить по-испански. Как приготовить омлет, как ездить на велосипеде. Название двенадцати ближайших к Земле звезд. Ушло. Слова песен старины Элвиса Костелло. Ушло. Карта дорог между штатами и расписание

северо-западного тихоокеанского пароходства. Ушло. Уолт Уитмен. Эмили Диккенсон. Квинтет «Треска». Ушло. История. География. Физика. Химия. Биология. Искусство. Музыка. Ушло. Арифметика — чтение — письмо. Ушло.

Осталось только одно.

— Назовите свое имя.

— Титус Виттер. Меня зовут Титус Виттер, — ответил голый человек, накрепко примотанный к деревянному шейкеровскому стулу. — Прошу вас, только не это, оставьте мне имя...

Ушло.

— Теперь он ваш, — сказал Этан Ринг, сел в наемный автомобиль и хотел вернуться в отель, но попал в растянувшуюся на двенадцать кварталов пробку, возникшую из-за того, что миссис Марта Радецки, шестидесяти восьми лет, сама того не ведая, возникла на пути биоэнергетического фургона Bagels'R'Us. Иначе он непременно бы проехал мимо галереи Пендеретски, не заметив, что там в этот самый вечер празднуют торжественное галаоткрытие новой работы под названием «Фантазия» очень, очень, очень популярного нового таланта — Луки Касиприадин.

Ему казалось, что в костюме он выглядит как пароходный шулер, но тот торговец в пункте проката уверял, что это «просто шик, очень стильно и так к лицу!». Она узнала его из дальнего конца набитого гостями зала — да и как не узнать эти ярко-рыжие волосы, еще более заметные оттого, что половина черепа оказалась обрита. Узнала и кинулась сквозь дебри друзей-гостей-богемы-пьяни-и-наркоты.

— Ты выглядишь как пароходный шулер. — Ее ладонь скользнула по желвакам его челюсти.

— Ты выглядишь как мечта, обретенная в канаве за час до рассвета, накачанная, наколотая и мертвая. — Его пальцы пробежали по колючей стерне вокруг хохолка ее черных волос.

— Люблю, когда ты хамишь, — отозвалась она, протаскивая его сквозь плотную завесу коктейльных стаканов, блеска губной помады и сияния бриллиантов от Картье. Ее пальцы ласково обвели отверстие в его черепе. — Должно быть, твои боссы тебя ценят, раз решились оснастить такой штукой. Идем. Хочу кое-что тебе показать. Предварительный показ грядущих аттракционов. Только для тебя. — Снаружи, на пожарной лестнице ощущалась легкая морось. Она перемахнула через перила, нырнула в неоновые тени аллеи, изогнулась, как кошка, и ловко приземлилась на ноги. Сунула в рот два пальца и по-разбойничьи засвистела: — Йо-хо-хо! Не дрейфь! Давай сюда!

Какая-то возня в полумраке, звяканье, жужжание, отблеск света на полированной поверхности, и в аллее, покачиваясь на

консольных конечностях и сверкая дождевыми каплями на желтом блестящем корпусе, показался высокоточный промышленный робот Дорнье. Лука положила руку в черной перчатке на изогнутый пластиковый корпус.

— Лови! — крикнула она и бросила ему какой-то черный предмет. Хлопок безупречно чистых перчаток — вот оно! Микрочип, двадцатая модель Olivetti/IBM.

— Разницу между этой штуковиной — новым биопроцессором и старомодной нон-инвазивной ерундой надо сначала попробовать, иначе не поверишь, — сказала она. — Очевидно, тебя послал Бог. Подумать только, Этан Ринг в Сан-Франциско с сияющей новой дыркой в голове! Ты получишь широкоформатный вариант в люксовом исполнении. Но предупреждаю, не дай себя обдурить название?.. Это тебе не гребаный Уолт Дисней.

Это действительно оказался не гребаный Уолт Дисней.

— Они есть у всех, — объясняла Лука, скользя вдоль мокрых от дождя улиц среди сполохов неонового моря в лужах и над головой. Два странника в ночи — пароходный шулер и новая звезда. А сзади тащится робот. — Просто мы их боимся. Боимся, что если другие люди узнают, они подумают, что мы испорченные-дурные-извращенные или глупые-тупые-бессмысленные, тогда как их собственные головы, головы этих других людей устроены точно так же. Точно так же.

А вокруг особняки конца прошлого века и хромированные чудовища офисов извергали органическую лаву благоухающих сиренью цветов или вытягивались ввысь мощными деревьями, чьи стволы усеивало множество окон, а сами они подпирали ситцевые небеса. Шторы на окнах человеческих нор смотрели на мир мерзкими ухмылками демонов, каждый почтовый ящик выглядел словно вагина с дразнящим раздвоенным язычком, а пасущиеся вокруг велорикши, эти буколические гибриды человека и машины, будто испуганные газели, кидались врассыпную от хищников-таксомоторов, кружащих наподобие акул.

— Компьютерное оборудование находится на борту у робота — это мой Одджоб, мы связаны с ним в реальном времени через мегафлексный инфракрасный канал. Микрокамеры располагаются на головной повязке. Видишь, я далеко ушла от Умберто Бочиони.

Мост через Бухту выкорчевал из земли свои ноги (в ботинках) и отправился в пляс по Окленду, пока пятнадцатилетняя девочка нашептывала длинные, похожие на лабиринт мечтания в ухо Этана Ринга. Лука протащила его через ворота крытого рынка, превратившегося в изукрашенный идеограммами ряд зубов, в

заглатывающую неоновую утробу. Внутри освещенные биогазом киоски с подвесными лотками еды и курева стали вдруг пульсирующими органами некоего посткибернетического тела; шумные толпы, кричащие на дюжине различных юго-восточных диалектов, обернулись скопищами тромбоцитов, макрофагов и антител. А сверху звучал голос человека, описывающего фантастическое путешествие под геодезическими линиями собственной кожи. Этан Ринг закричал:

— Ты больная женщина, Лука Касиприадин!

— Но ведь это же не мои фантазии, — прокричала она в ответ. — Это мечта одного несчастного идиота, жертвы СПИДа. Мечта о последнем путешествии доктора фармакологии и магистра искусств в собственное тело, чтобы излечить болезнь, которая теперь скорее всего уже спровадила его на тот свет. Понимаешь, они все живые! Реальные! Наберите 0898 FANTASY и после гудка оставьте все ваши самые темные мечты, самые яркие надежды, доверьте их Луке; абсолютная конфиденциальность гарантируется.

— Правда, ты разметываешь их над тремя городскими кварталами, и люди платят деньги, чтобы подсмотреть их сквозь маленькую дырочку у них в головах.

— Они все в курсе, что я собираюсь делать с их фантазиями. За три месяца работы открытой линии я получила пять тысяч звонков. Разбудила в населении прибрежной полосы глубокую потребность в признаниях. Ты думаешь, я сошла с ума — слышал бы ты кое-что из того, чем я не воспользовалась! Мне нравится думать, что некоторые из моих источников придут и посмотрят и поймут: их откровенность поможет другим несчастным, замученным депрессией идиотам.

— Даже для тебя это уж очень слабое оправдание.

— Но разве не справедливое?

Сморщенный, пронизанный неоном анус крытого рынка, словно фекалии, вываливает их вместе с желтым роботом Дорнье к подножию двадцатиэтажного здания Первого тихоокеанского банка, преображенного чьей-то больной фантазией в обнаженного двадцатилетнего юношу со сказочными мускулами и черными шелковистыми волосами. Пока голос женщины пятидесяти с чем-то лет шепчет сладкую сексуальную ерунду под аккомпанемент реконструированной Джулии Эндрюс, исполняющей порнографическую версию «Любимых вещей»: («Голые черные моряки, кто вас связал плетями?»), провода срываются со своих мест, извиваясь, щелкают, как бичи, и узлом обматываются вокруг напрягшегося левиафана.

— Гребаный ад! — бормочет Этан Ринг, вспоминая человека в

шейкеровском кресле в деревянном домике на окраине Сан-Франциско.

Вперед: сквозь Страну чудес, Диснейленды и маленькие Аркадии размером три на два квартала, сквозь небеса и адские муки, сквозь метель долларовых купюр, от которой пальмы пригибают друг к другу пушистые верхушки и слаженно напевают старые добрые песни, а соборы взлетают, как готические ракеты, в небо, где дефилируют дамы в стиле Джорджа Мелье, наряженные в костюмы комет и метеоров. Вперед, к залитой светом Койт Тауэр, в экстазе обратившейся в кромлех-гриб-фаллос Иеронима Босха среди танцующих нимф, летающих акул и по-гусиному ступающих журавлей, где она его поцеловала. Очень жестко. В губы. И просунула ему в рот язык.

— Я могла бы связать тебя веревкой, — отдышавшись, проговорила она и вытащила микрочип из отверстия в его черепе. И все... В легком облачке карамельного цвета пропали все сны, мечты, фантазии. — Этан, прости меня. Прости мне все эти годы. Я просто трусиха. Я — как Будда. Мне нравится думать, что я живу в совершенном мире без боли и страданий, в искусственном мире искусства. Потом приходит первый болезненный сигнал, и я нажимаю клавишу «esc». Черт подери, даже для меня это очень слабое оправдание. О'кей, Этан Ринг, вот она я, если ты меня пожелаешь. — Она хлопнула по желтому панцирю Дорнье-робота. — Убирайся к чертям домой, Одджоб.

В тайском ресторане на сампане они ели что-то запеченное в фольге. На кебе-мопеде они проехали по старинному итальянскому кварталу, немного менее старому вьетнамскому, чуть более новому индонезийскому, новому северо-австралийскому и новейшему кварталу, где селился всякий сброд — белые выходцы из южных штатов, к мосту, где приказали водителю подождать, а это означало, что они не собираются дойти до половины и броситься в океан. Они пили бурбон в каком-то баре и напились, но несильно. Они вернулись в номер Этана на крыше гостиницы и насладились зрелищем евклидовой геометрии городских улиц, разрезанной мандельброцианской математикой залива.

— Наверно, здорово стоять у этого окна голышом... — говорила Лука, сидя на его кровати и возясь со своими ботинками. Этан выскользнул из пиджака пароходного шулера и парчового жилета и как раз расстегивал пуговицы на жемчужного цвета рубашке, когда она заметила:

— Дело пойдет быстрее, если снять перчатки. Пауза. Шипастый кулак летит ему в грудь и вырывает сердце.

— Этан, что ты сделал со своими руками, Этан?

И он рассказал. Его голова гудела от белого рева, пока он рассказывал ей, что сделал со своими руками, с собою, с тем человеком в шейкеровском кресле. Он стоял у окна и смотрел, как прозрачные дирижабли с голограммами холодного газа, рекламирующими диетическую колу, «Фольксваген-G.M.», и пятнадцатый канал плывут над прекрасным городом, стоял, пока не услышал, что за спиной щелкнула и захлопнулась дверь.

Настоящий огонь, горящий у меня в глотке. Я кашляю, отплевываюсь, огонь устремляется в легкие. Я изрыгаю фонтан слюны, мокроты и огня.

— Все в порядке, Эт. Успокойся. — Еще одна волна жидкого огня у меня на губах, в глотке, в трахее. Отдаленные, односложные звуки. На японском. — Старое доброе виски, Эт. От шока.

Мас. Мой голос дребезжит, как старая трещотка. Я отталкиваю стакан.

— Теперь ты в порядке. Супруги Танацаки сказали, мы можем побыть здесь, пока ты не сможешь двигаться дальше.

Шарю за своим правым ухом, пальцы натыкаются только на пластиковый диск пустого гнезда. Прикосновение уплотняет размытое цветовое поле вокруг меня, превращая его в предметы: прямоугольник света — это окно, наполненное бетонным небом; ромб вишневого и сиреневого цвета — неоновая буква, кружок в нижнем правом углу светящегося окна — этикета: «ОХРАНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ «ТОСА СЕКЬЮРИТИ ИНКОРПОРЕЙТЕД»». Я пытаюсь подняться с постели; рука Маса на моей груди.

— Тихо, тихо, Эт. У тебя был настоящий шок.

— Мас...

— Ты упал с велосипеда. Ударился о колею. Ты несся, как... Как будто одержимый демонами. Чудо, что тростник не проткнул тебя насквозь.

Собаки. Поле сахарного тростника. Теперь я вспомнил. Молодая женщина — восемнадцать, около двадцати — входит с чайным подносом.

— Фермер положил тебя в кузов пикапа и доставил сюда. Тебя всего трясло. Как от удара. Или как при эпилепсии.

Таковы условия сделки. Вы используете его, оно использует вас, и с каждым разом все больше. Я беру чашку чая в ладони, вдыхаю его чистый, здоровый аромат.

— Я вызвал ее, Эт. Она наймет машину и к утру будет здесь. Она поможет тебе.

Она? Я хочу спросить: она? Но у моей постели появляется пожилая женщина и начинает приклеивать к акупунктурным точкам моего тела кусочки пластыря с успокоительными

пилюлями. Она?

Библейские рассказы для буддистов. Добрый самаритянин нашел у дороги изможденного путника и привел его на постоялый двор. За триста двенадцать лет со времени, когда Руидзы Танацаки Первый узрел лик Дайцы, явившийся ему в чайных листьях на дне чашки, и открыл чайный домик для поддержания сил усталых хенро, множество поколений пристраивали, увеличивали и расширяли его, и теперь эта «танацакия» является великолепным образчиком мотеля-закусочной-гаража-сувенирной лавки-газозаправочной станции-аптеки-бани-парикмахер-ской-караоке-бара-борделя-дома свиданий, то есть истинным, настоящим вкладом в архитектуру придорожных строений. Его бы целиком, ничего не меняя, поместить в музей, вместе со всем пестрым, многоязычным семейством Танацаки — представителями десятого—двенадцатого поколений, для отрады и просвещения их будущих, наверняка менее совершенных потомков. Разыскивая Маса в послешоковом тумане среди закоулков, пристроек, тупичков и коридоров, я чувствую себя каким-то призрачным животным, покачивающимся в сюрреалистическом ковчеге на волнах истории. Я то и дело попадаю все в тот же бар, где группа коммивояжеров, сняв пиджаки, произносит бесконечные тосты во здравие друг друга и подтягивает модным песенкам включенного поп-канала. С каждым разом они выглядят чуть более пьяными и чуть больше фальшивят.

Столовая не освещена, если не считать неоновых сполохов над стойкой бара самообслуживания и свечения телеэкрана в углу, где Мас разговаривает с девушкой, которая приносила мне чай. Они здесь — единственные посетители. Меламиновый пластик столешниц усыпан страницами комиксов и раздавленными банками из-под пива. Я чувствую себя нежелательной персоной, вторгшейся в самый неподходящий момент. Мас представляет девушку: Марико. Настоящая хозяйка, она вежливо кланяется и приносит из кладовой пиво, очень холодное и очень вкусное.

— Мас, сколько времени Лука уже здесь? Он предлагает мне чипсы из своего пакета.

— Она задержалась в Токио. Здесь она появилась позавчера. Мы встретили ее в Йаватахаме.

Я вдыхаю дым каньябариллос, чтобы чуть-чуть остудить голову, чтобы выскочить из сужающейся вокруг меня ловушки. Если ты, хенро, собираешься грешить, то уж греши по-крупному, чтобы милость оказалась сильнее.

— Значит, это с ней ты говорил по международному

телефону, то-то ты выключал изображение.

По телевизору борцы сумо в молчании ломали друг друга в священной глине арены.

— Мы задумали это задолго до Первого храма. Еще когда вы встретились в Кейптауне и ты сказал ей, что серьезно подумываешь принять мое приглашение о паломничестве.

— Боже мой! Да тут целый заговор. Когда вы все это придумали? В постели с бутылочкой саке, разглядывая порнографические комиксы?

Мне приходилось познать глубины гнева, на которые способен Мас, однако внезапная вспышка этой сверхновой устрашила и меня.

— Никогда, никогда, никогда не смей о ней так говорить! Никогда, слышишь, подонок! Мы встретились в Саппоро на Ледовом фестивале. Компания «Майер Ми-койан» поручила ей заказ на виртуальный аттракцион. Она считает, что паломничество может позволить тебе вырваться. Спастись, спасти свою душу.

— Ну, что ж. Аллилуйя! Честь ей и хвала, маленькой мисс Армия Спасения. Значит, ты про меня все знал с самого начала... И что, все это представление в Мурото предназначалось специально для меня?

Секунду я был уверен, абсолютно, абсолютно уверен, что если бы под рукой было что-нибудь хоть чуть-чуть более острое, чем палочка для риса, Мас воткнул бы мне его в глотку.

— Не знаю, что она в тебе нашла. Ты эгоистичное, неблагодарное, порочное и трусливое существо. Ты — как ребенок, Эт. Она не выдала ни одного твоего гребаного секрета. Ты сам это сделал. Тебе нельзя доверить даже безопасность твоей собственной страны. Она просто сказала, что у тебя беда. Страшная беда. И паломничество может дать тебе время, силы и пространство, чтобы вырваться из пут. И все. По некоторым причинам я согласился ей помочь. Она тебя любит. Кроме тебя она никогда никого не любила и не будет любить, а ты ее ранил. Ранил, ранишь сейчас и дальше будешь ранить.

— Боже мой, Мас!

Голоса в холле. Мистера Танацаки и кого-то еще. Громкие голоса, сильные. Опасные голоса. Я приподнимаюсь и оборачиваюсь в кресле, и тут они вламываются в дверь. Тяжелые. Мясистые. Акира. Их двое. Камуфляжные куртки тошнотворного неонового и черного полуночного цвета. Волосы зачесаны назад и сплетены в тощие сальные косички. На лицах маски, усеянные цифрами. Растерные линии сходятся на моем лице.

Я вскакиваю. Руки инстинктивно сжимаются в кулаки.

Лазерный луч отмечает красные точки прицела у меня на лбу и в области сердца. Висящие в воздухе пылинки прочерчивают путь к его источнику — автоматическим пистолетам Fiuzzi.

— Ты. И ты. — Красная нить, танцуя, смещается на переносицу Маса. — С нами.

Мистер Танацаки протестует, что-то кричит, пытается вырвать оружие из рук бандитов. Красный луч мечется по нишам со столиками, по полу и потолку, но тут акира с пугающей, явно химически усиленной мощью швыряет его об угол холодильника, бьет рукоятью пистолета, бьет, бьет, бьет… В холле визжат.

И тогда я открываю свою левую ладонь.

Кетер вдавливает акира, извивающегося, дрожащего, скрученного судорогой, в стену комнаты. В приступе бешенства я бросаюсь к нему. Единственное, что я ощущаю, что знаю, — это гнев. Целые годы гнева горят в моих руках, сплетаются в белый раскаленный узел в правой ладони. Я представляю, как левая ладонь вдавливается в его глаза, и в душе возникает греховное ликование.

— Этан! Оставь его! — Мас. Второй акира направляет на меня прицельный луч лазера, я откатываюсь в сторону, потом ползу, держа наготове левую ладонь.

— Нет, Этан, не таким способом.

Нет. Не таким способом. Это способ Этана Ринга. Не твой. Мой способ. Моя ладонь открывается, как цветок лотоса. Правая ладонь.

— Брось оружие! — Голосу, в котором звучит абсолютная власть, не нужно кричать. Звяканье керамики и металла на досках пола. Лазерный луч чертит строгую красную прямую по отполированному дереву. — Сядь! На корточки. Руки на голову! Так и сиди, пока я не разрешу шевельнуться.

Он подчиняется. Хотел бы иначе, да не может. Камуфляжная куртка становится синей, как неоновый свет.

— Кто вас послал?

— Управляющий отделением Аки из «Тоса Секьюрити» по приказу шефа-директора по безопасности. Наша бригада работает по субконтракту.

Классическая тактика: разделяй, а потом используй своих врагов. Если даже акира служат и не считают такое позором, значит, эта земля значительно крепче зажата в твердом кулаке «Тоса Секьюрити», чем я думал. Здесь нельзя оставаться, даже на час. Миссис Танацаки, Марико и старший сын, стоя на коленях, окружили мистера Танацаки. Очень много крови, и он не шевелится. Миссис Танацаки раскачивается туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. На столе в холле есть телефон, и младший сын звонит.

— Нет! — кричу я. — Стой! — Его пальцы замирают над кнопками, потом решаются. — Смотри на меня, — приказываю я, подняв правую руку. В темноте холла его зрачки расширяются. — Остановись. — Трубка опускается на место.

— Я только хотел вызвать «скорую помощь», — объясняет он. Марико смотрит на меня с ненавистью. Словно холодное железо ударяет мне в грудь. Фракторы Выздоровления и Спокойствия могли бы помочь мистеру Танацаки еще до нашего ухода, так что ничего страшного, если вызвать «скорую помощь», но Марико не приняла бы моего дара, и я все равно не могу потратить даже несколько минут, чтобы их напечатать.

Паломничество закончено. Разрушено. Оно было разрушено в тот миг, когда я впервые напечатал слова: что я повторю трижды, есть истина, — в той темной комнате на ферме миссис Морикава.

— Мас, надо уходить.

— Нет, Этан. — Отказ пронзает меня, словно пуля. — У нас всегда так: нагадили — и дальше, в путь, правда? Крутим педали, въезжаем в чужие жизни, выполняем свои трюки — и дальше, знай крути педали. А эти люди остаются. Все, что у них есть, — здесь. Им некуда идти, если начнется заваруха. Ты пришел в их мир, в один вечер разрушил его, а наутро, когда сюда явятся сыщики из «Тоса Секьюрити» разобраться, что случилось с их акира, ты уже будешь стоять на коленях в каком-нибудь храме и молить Дайцы отпустить тебе грехи и просветить. Ты не понимаешь, вы, европейцы, не понимаете: здесь не существует высших принципов, нет неотъемлемых прав человека, к которым они могут взывать. Нет благородного западного представления о правде и справедливости, нет понятия невиновности, пока не доказана вина. Здесь закон — это «Тоса Секьюрити».

Пуля. Медленно убивающая пуля вгрызается в кости и плоть, впивается в самое сердце холодным, пронзительным пониманием, что та нерушимость закона и неподкупность его стражей, на котором зиждется наше общество, здесь в буквальном смысле не существует. Большую часть человеческой истории, и вот теперь, в эпоху увядания Западной Промышленной Демократии, — снова, закон был, и опять является, территорией силы.

Как-то раз мама Эмма — императрица сандвичей — показала мне, как ловить в бутылку землероек. Соблазняемые приманкой (такой жирной, такой вкусной), они сами лезли в ловушку — горлышко, а потом и дальше — в емкость (такую просторную, такую удобную). Вот только наевшись вдоволь «Вискас» из печени и почек, они с изумлением понимают, что не могут взобраться по гладкой и скользкой стенке к горлышку. Попав в капкан, я считал себя свободным, но это была просто иллюзия — гладкие

прозрачные стены. История. Моя собственная и история этих краев, по которым я скитаюсь в поисках озарения, тащат меня вперед, вверх, вниз, к неизбежной игре с демонами, из которой нет возвращения. Капкан. Мои кулаки колотят по меламиновой столешнице. — Мас, неужели ты не понимаешь, с этим необходимо покончить! Надо найти способ жить так, чтобы насилие не было решением любой проблемы. Я знаю, чего ты просишь. Но это жизнь. Это не фильм Куросавы. Это не анима. Я говорил об этом на черепашьем пляже и говорю опять. Я не какой-нибудь гребаный актер кабуки. Здесь нет грима и декораций, или что там вы еще используете... Мы живые, из крови и плоти, и мы умрем.

Я говорю и вижу семейство Танацаки, а за спиной у них, в холле, невидимые и дармовые постояльцы: мистер Морикава, убитый своей наивной верой в непоколебимость власти. Лишенные своей Токушимы, своей Японии, жертвы ложной веры в хаотических богов экономики, акира, дети, не продавшие себя врагам, потому что они все еще верят в мифическое, совершенное прошлое. Безымянная, изъеденная ветром голова на колу у придорожного святилища Косю. Возлюбленная Маса в наколенниках, налокотниках, в узеньких волейбольных шортах, убитая мечтой о Калифорнии. Другие. Сотни и тысячи других. Безымянные и безликие, пришедшие ниоткуда, выплачивающие налоги и взносы, и пошлины, и поборы, покупающие визы, лицензии и разрешения, те, кто мечтает лишь об одном: чтобы закон их защищал.

Я вижу: святой подает мне чашу искупления, шанс использовать мою мощь не против абстрактных, утилитарных псевдодемонов планетарной экономики и мировой политической целесообразности, но против реальной, ощутимой, прагматичной и приземленной тирании. Против Зла. Простого. Прямого. Неприкрытого и несомненного. К тому же это шанс превратить мир в нечто чуть-чуть иное, нечто лучшее, чем до вмешательства. Вот так всегда, Лука, только ангелы и герои. Я отвожу глаза. Отвожу глаза и в зеркальном заднике бара вижу его. В зеркалах множится смерть. С каждым взглядом и каждым днем она все сильнее. Смерть, перемены, время. Смерть — это высокий мужчина, чуть за тридцать, с буйными рыжими волосами, убранными назад. Из серебряной глубины зеркала, куда я его запер, чтобы он не мог больше причинять боль, мне кивает Этан Ринг. Он — это я. Я должен его обнять. Конечно, он. Как же может быть иначе. Догио Нинин. Мы, двое. Пилигримы. Товарищи в Пути.

Щелкают ножницы, чик-чик. Рыжие волосы длинными

прядями падают на каменные плиты внутреннего садика. Я поднимаю локон, яркие, блестящие ножницы щелкают, он падает. Подготовка к битве. Средневековые рыцари проводили ночь перед испытанием у алтаря, в молитве.

Я велел отнести мистера Танацаки в спальню. В голове и ногах расположились ангелы Излечения и Спокойствия, они присмотрят за ним. Сон Нобио занимается акирой, пребывающим в коматозном состоянии в комнате для гостей нежилого крыла. В соседнем помещении лежит второй акира; на внутренней стороне двери я расположил ангела Бинаха, это фрактор, уничтожающий временную зависимость, теперь акира застыл во времени.

Каждый демон когда-то был ангелом. Период полураспада, встроенный в нестабильную суть бумаги, защитит мир от демонов. Или ангелов.

Встроенный распад. Ну и дела.

Щелк! Упал еще один кусочек меня. Пусть этот садик — всего несколько квадратных метров площадки между двумя обитаемыми крыльями дома, но сейчас в нем весь мир. Крохотный бассейн — это океан; обломки скалы над мелким, аккуратно выровненным гравием — горы в пустыне; лес из бамбука; каменный фонарь с биолюминесцентами — это луна; а алтарь в память многочисленных поколений Танацаки — духовный центр. Аромат раннего жасмина и поздней магнолии наполняет воздух, дождь прекратился, ночь невероятно теплая и тихая. Масахико спрашивает: «Если тебя убьют, что я скажу Луке?» Увидимся в следующей жизни, Лука! Я пробегаю пальцами по клочковатой стерне своего черепа. Мои приготовления почти закончены. Все, что мне нужно, — это одно завершающее воспоминание, один, последний, краеугольный камень. Уложить его на место, и мост между мной прошлым и тем, что я есть сейчас, будет переброшен.

Теория гласила, что в каждый определенный момент в политической истории имеется только два, два — и не больше, блока политической мощи. НАТО против советского блока, коротко говоря — Америка против Сферы влияния Японии; позже, во времена, когда колоколообразная кривая экономического развития империи находилась в своем пике длиною в сорок лет — Европа, ее государства-сателлиты старого восточного блока и хилая демократия Южной Африки против внезапно возникшей яростной культуры панисламизма, которая сплотила Аравию и Северную Африку от Дарданелл до Шри-Ланки и теперь делала политические реверансы в сторону Сахарской Африки и Конфедерации черных штатов Америки. Противостояние сарацин и крестоносцев по берегам Гибралтарского пролива.

— И я в роли привязанного к лошади Карлтона Хестона.

Как обычно, мои кинематографические аллюзии пропали впустую. Слепая женщина из Гента то ли пропускала их мимо ушей, то ли просто не понимала.

— С идеологической точки зрения, у нас нет конфликтов с панисламизмом, — заметила она. — Это наш самый крупный торговый партнер. Новая буржуазия Северной Африки дает работу большей части Франции и Испании. Сейчас мы даже не можем их обвинять в фундаментализме. Сиди али в Рияде производит, пожалуй, лучшее в мире пиво. Это чистейшей воды старый добрый империализм. Им нужно наше добро, нам — их, и помоги Господь неприсоединившимся.

Результат: был установлен организатор яростных выступлений гастарбайтеров в Испании, Португалии и на юге Франции — группа «Аль Хак» исламистов-социалистов. Панисламисты, стремящиеся к сближению с соседями, предложили в качестве жеста доброй воли его уничтожить. А так как страсбургские стратеги от политики полагали, что разрядка может бросить неприсоединившиеся государства сферы Бенина в объятия Каира, то расправиться с «Аль Хак» полагалось европейцам, усугубив тем самым дипломатическое напряжение и вернув таким образом государства Бенина, а с ними и большую часть стран Черной тропической Африки в зону влияния Европы. И вот я, отуманенный дармовой выпивкой и теорией хаотической социальной динамики, падаю по суборбитальной параболе к Маракешу — самому сердцу культуры нового ислама.

Красный город между пустыней и снегами всегда привлекал людей с Запада. Теперь же, в эпоху блестящей и суррогатной реставрации доброго утерянного имперского духа, он встал в один ряд с мекками новой богемы: Парижем, Берлином, кайфующим Лондоном, Гринвич-Вилладж, Катманду. И нечего удивляться, что на стене древнего города, помнящего еще времена Сида, красуется имя и лицо несгибаемой и гибкой Луки Касиприадин. Картель европейских промышленных компаний, озабоченный проблемами снижения налогов и завоевания североафриканского рынка, отправил ее по линии культурного обмена через Панисламский художественный директорат и снял для нее помещение в некоем уголке старого города. Она снимала здесь дом. Справочная служба сообщила адрес-телефон-факс-e-mail и предложила подходящее место встречи: кафе «Наяда» — забегаловка для экспатриантов из Европы, то есть, по моим понятиям, для младшего персонала разведывательных служб. Она появилась в «Наяде», когда деревья наполнились щебетом перелетных птиц, а улицы Маракеша — громкоголосыми,

уверенными, очень красивыми молодыми людьми. Одетая в черное с серебром.

— Этан, ты сумасшедший, ты что, не знаешь, это местечко — такая неприличная дыра, мимо нее пройти — и то стыдно.

Казалось, полутора лет между кафе «Наяда» и служебным номером в отеле Сан-Франциско просто не было. Микрочип у нее за ухом, переводя на арабский, позволил получить бутылку вина.

— Гребаная дыра, но надо признать — у них лучший в городе музыкальный автомат. Особенно если собираешься окунуться в мазохистскую ностальгию по былым временам.

Мы оба собирались. Она решала за нас обоих. Мы танцевали на таком расстоянии, что расширялись зрачки. Танцевали, пока в кафе не набились абсолютно пьяные финны, которые изо всех сил орали «Су-о-ми-и-и!».

— Видишь, я была права, Эт, — промурлыкала она и потащила меня по лабиринту старого города сквозь водопад неоновых и лазерных бликов. — У меня в продолговатый мозг встроена карта, иначе я ночью никогда бы не нашла дорогу домой. — Мы пробирались среди бродяжек, ночующих на улице, среди юнцов в итальянской коже и на флуоресцентных биомопедах Vespa. — Я всегда завидовала матери, ее прыщавая юность пришлась на свинг шестидесятых. Глядя на весь этот монохром, я представляю, как оно было. — И дальше, сквозь путаницу коридоров, еще не остывших от баталий между политическими / теологическими / артистическими / философскими / научными группами. — Здесь главное — юность, Эт. Они действительно верят, что имеют силы изменить мир, сделать его лучше, справедливее, цивилизованнее, прекраснее, естественнее. — И дальше, мимо киосков с «быстрой едой», ларьков с пиратскими дисками, голландскими шмотками, драгоценностями «от Картье — лучше, чем настоящие» и ароматами Шанель. — Знаешь, что здесь привлекает и волнует европейского стегозавра вроде меня, — то, что среда самовыражения еще не узурпирована редакторами. Экю Всемогущий здесь еще не стал началом и концом любого дела. Какими бы ни были твой голос, музыка, поэзия, трехмерка или традиционная живопись, визуалистика, артнарктика, стиль изложения или сценические представления, тебя все равно услышат. — И дальше, сквозь жару и пот, к площади Душ. — Это один большой андеграунд, Эт. Здесь все свободны. Скорее, я покажу тебе одного сумасшедшего проповедника. Он что-то вроде суфия. Он может заглянуть человеку в душу и убить его дух. Человек просто валится на спину, как мешок. Ужасно забавно. Когда ты видел такое в Центре Помпиду или в гребаном Ковент-

Гардене? — И горели огни, и фокусничали фокусники, и проповедовали сумасшедшие проповедники и убивали людские души прямо в живом теле, вот только она со мной не стала спать.

Утром я отправился уничтожать «Аль Хак». Моим контактом был студент факультета политических наук Исламского университета, в котором, по имеющейся информации, действовала структура «Аль Хак». В качестве экспатрианта доктор Праваль обязан был каждый день вкушать ленч в одном и том же бангладешском ресторане. Тут я его и ждал, за самым дальним и самым темным столиком. Смотрел, как он изящно ест горошек и лобио из бобов и отстукивает ногой такт политически безупречной дхангра. Я позволил ему добраться до кофе и лишь потом послал записку, напечатанную в кабинке мужского туалета. Там стояло: «Подойдите к рыжеволосому мужчине в шелковом галстуке с рисунком из самолетиков». Разумеется, напечатано было шрифтом Малкхут.

— Извините, мы знакомы? — Они никогда не могут понять, почему делают то, что велит им Малкхут. Просто какой-то странный импульс.

— Не совсем, — отвечаю я и протягиваю ему через стол вторую записку. Арабская версия Малкхута приказывает: «Расскажите мне все, что знаете об «Аль Хак». Когда он закончил, я вежливо его поблагодарил и с помощью Хохмаха, ангела Забвения, изъял из его памяти все события сегодняшнего дня после ухода с семинара по политической социологии. Затем я отправился в «Наяду» пить плохое вино, слушать блюзы и ждать Луку. Как раз в эту ночь она повела меня на собачьи бои, и в крови, изуродованной плоти, дерьме и смерти я отказывался видеть аналогию того, что сам сделал во имя политической целесообразности примерно с пятьюдесятью людьми примерно в пятидесяти же странах.

Теперь, узнав Мохаммеда Бедави, основателя и лидера «Аль Хак», по имени и в лицо, я мог изучать его настолько пристально, насколько это вообще возможно для рыжеволосого европейца в городе, где преобладает оливковый цвет лица. В пятницу он уехал из города в красном «альбенице», а я следовал за ним в наемном «пежо» по пыльным дорогам, окаймленным щитами с лозунгами во славу исламского единения и рекламой французских сигар — каньябариллос. Мимо хорошо орошаемых ферм мы добрались к подножию Атласских гор. Дорога петляла и круто извивалась по склонам. Он остановился в горной деревушке, не менявшейся последнюю тысячу лет, если, конечно, не считать спутниковых антенн, солнечных генераторов и вездесущих «тойот». Шумно и прочувствованно поздоровавшись с семьей, он отправился с

мужчинами на молитву, а женщины принялись готовить еду. Голограмма местного СД, в прозрачном горном воздухе выглядящая слишком бледно, парила над квадратной башней деревенской мечети. Я расспросил фермера, и он объяснил мне, что Бедави приезжает каждую пятницу, чтобы помолиться вместе с семьей. Я поблагодарил его и удалил у него все воспоминания, что он когда-либо встречал рыжего европейца.

Лука ждала меня в «Наяде».

— Покажу тебе кое-что, — сказала она и, взяв меня за руку (в перчатке, и ее рука — тоже в перчатке), потащила по лабиринтам старого города, который так неистово любила. — Узри, это чистилище, — объявила она и протолкнула меня в низкую деревянную дверь комнаты, которую она сотворила. Чистилище... где неудача, неадекватность, вина сгорает и становится прахом. Это было поразительно. Это был экстаз. Долгое, упоительное погружение в самое сердце тьмы. Секс с ангелами. Удивительно, ужасающе, прекрасно, чудовищно, и отвратительно, и грустно, и шокирующе, и забавно, и тошнотворно, и... это меня не задело. Не могло задеть. Некоторые поражения и комплексы вины лежат слишком глубоко, чтобы их можно было вычистить из закоулков души.

Всю следующую неделю, готовясь к акции уничтожения, я не мог избавиться от мысли, что Лука изготовила этот ад размерами с комнату специально для меня.

— Если бы ты мог до меня дотронуться... — с грустью проговорила она как-то вечером, когда мы сидели на кованых металлических стульях в ее заросшем папоротником саду. На ней было черное платье без рукавов, она курила «блэк кэтс» и пускала фигурные ароматные кольца. — Я хочу почувствовать твои руки, хочу, чтобы твои руки чувствовали меня. Сними перчатки!

— Ты же знаешь, я не могу. — Я вынул из ее пальцев сигару и пару раз потянул дым из тонкой коричневой каньябариллос. — Это опасно.

— Не могу. Не буду. Ты всегда носил перчатки. Эмоциональные перчатки. Никого не касайся, и тебя не коснутся. Чего ты так боишься, Эт?

— Я не боюсь.

Вдруг она схватила мои кисти.

— Боишься. Видишь, ты испуган, ты весь холодный. — И тут она заплакала. Навзрыд. По-настоящему. Слезы так и катились. — Я люблю тебя. Как больно! Но что я могу сделать? Ничего. Я ничего не могу сделать. Мне больше никто не нужен, Этан! Если хочешь, я всегда буду здесь. Ты всегда сможешь меня найти. Но тебе придется выбирать.

Неужели она так плохо меня знала, что забыла: для меня не бывает или/или, только и/и.

Наступила пятница. Визит к местному дилеру автомобильной компании подтвердил, что полная офисная система, встроенная в шестиместный «марк-альбениц», на котором ездит Бедави, является стандартной. Справочная служба Маракеша любезно предоставила код e-mail в его машине. Подготовившись таким образом, я отправился на наемном «пежо» в одно хорошенькое местечко на склоне долины. Присмотрел его еще на прошлой неделе, когда тащился по особенно неприятному витку горного серпантина. И стал ждать. Слушал «Новую волну», съел пакет соленых орешков. Заметив шестиместный «марк-альбениц» — в тот момент просто красное пятно на охряном фоне атласского пейзажа, я вынул переносной факс-фон. Когда красный «альбениц» стал карабкаться по крутому склону, я подсоединил карманный биопроцессор Olivetti\ICL Mark 88 к модему. Из-за поворота показался с натугой ползущий вниз трейлер-бензовоз. Когда красный «альбениц» оставил позади киоск с моими солеными орешками, я загрузил сефирот-диск и набрал на панели код инициирования фрактора. Когда автомобиль обогнул поворот перед очень уж специфическим уклоном, я вызвал номер, который получил от справочной службы, нажал кнопку «transmit» — передача — и впустил Кетера — ангела Разрушения — на дисплей передней панели «альбеница». С моего места было прекрасно видно, как шестиместный красный «марк-альбениц» выруливает прямо навстречу наползающему трейлеру с цистерной, разворачивается задом поперек дороги, пробивает невысокое ограждение из песчаника и с поразительной, балетной медлительностью летит вниз, чтобы в бешеных цветах пламени взорваться среди скал и кустарников тенистого днища долины. Я видел, как застыл на месте бензовоз, как высунулся из кабины шофер и целую минуту тупо смотрел вниз и лишь потом выскочил и, нелепо размахивая руками, побежал по дороге к киоску с орешками.

Вернувшись в Маракеш, я заказал билет на шаттл до Малаги, упаковал вещи, расплатился и уехал, ничего не объяснив, не оставив записки, не попрощавшись с Лукой.

Некоторые драконы слишком огромны, слишком сильно давят своим весом на землю, чтобы их можно было убить, пусть даже они сто раз заслужили смерть. Европа, драконихa, развалившаяся на целый континент, с лыжными курортами на ее гористой хребтине и со спрятанными за красными стеклами очков глазами, которые жадно мечутся в поисках еще одного ужина из девственных наций, она, эта Европа, вероятно, более

других заслужила уничтожение, но даже моя отягощенная Кетером рука не в состоянии выжечь ее громадную, медлительную, многоголовую нервную систему. Однако здешний святой, может быть, сумеет разорвать цепь, которая приковала эту руку к пальцу дракона.

Внутренний дворик. В сумрачном рассвете ранняя трель птицы. Теперь поспеши. Пора. Я кладу ножницы, беру оружие и выхожу навстречу врагу.

* * *

Велосипед — это друг, каким никогда не станет автомобиль. Машина может быть возлюбленной — изысканной, сложной, темпераментной, но один неверный шаг — и чары развеются. Велосипед по натуре прост, нетребователен и верен, но, как и над всякой дружбой, над ним надо работать, ухаживать за ним, при необходимости чинить, проводить с ним время, постигать характер. Постепенно я полюбил эту красно-зеленую грозу дорог — Dirt Wolf MTV. Мы начали совместный путь чужаками, Мас только что представил нас друг другу на пароме в Осаке, но в ходе взаимного непонимания и ошибок: потянутых мускулов, порванной цепи, ободранных локтей, погнутых колес, — мы сумели выстроить наши отношения. От Танацакии до штаба «Тоса Секьюрити» всего пятьдесят километров скучной, наводящей на мысли о вездесущем телевидении местности, однако удовольствие крутить педали прекрасной машины все равно приносит высокую радость. Следуя инструкциям, добытым у того акира, который еще был в состоянии дать их, я свернул с обрамленного деревьями проспекта с Очень Процветающими Телеком-зданиями, с Чуть Менее Процветающими Телеком-домами, сооруженными у них на участках, с Еще Менее Процветающим Жильем, сооруженным у них на участках, на частную дорогу и таким образом добрался до ворот «земли обетованной». Бойницы из армированного алюминия, оснащенные телекамерами Spyball и охраняемые стражами ToSec в униформе, стилизованной под mr. Нуди вплоть до вышитых гитар на эмблемах, да и как могло быть иначе?

Если у вашего врага имеется чувство юмора, это всегда опасно. Спросите у Бэтмена.

Я подъезжаю к воротам — стражники рычат, — слезаю с велосипеда (сиди на месте, добрый верный страж) и поднимаю

свою голую правую руку к камерам слежения.

— Эй, там! — По-японски это звучит не так беззаботно, как мне бы хотелось. — Впустите меня. — И зеленые ворота «земли обетованной» раскрываются. Я клею биораспадающийся листок с фрактором лицевой стороной к линзе камеры. Бинах, владыка времени, позаботится о тех, кто сидит за мониторами. Удивленные стражники тянутся к внутренним карманам. Слишком медленно, ребята. Я отрываю листок с отпечатанным фрактором от демонического ящика, висящего на поясе, и пришлепываю его себе на шлем... и исчезаю, как только их окуляры доходят до области моего сердца. Потерянные акры, фрактор слепого пятна, о котором говорила Бекка. Исчезает все в радиусе двух метров, в этой зоне центры восприятия свертывают пространство. Пока охранники размахивают кулаками, как дуэт из борцов сумо, я подпрыгиваю и наклеиваю пару листков с Бинахом на их стекла из защитных забрал. Застыли. Играющие статуи. Секунда — и сзади на моем шлеме появляется второй фрактор Потерянных акров. И вот я уже готов плыть по реке из выровненного гравия меж темных рододендроновых берегов. Та парочка охранников, что попадается мне на пути, не имеет никаких шансов против врага, который может вынырнуть из зоны слепого пятна и заморозить их без движения, остановив время фрактором. Надо только молиться святому Дайцы, чтобы на их забралах не оказалось выведенных наружу датчиков: в инфракрасном свете я гол, как леди Годива, и так же беззащитен. Но самая большая опасность — это собаки, вроде тех, с которыми мне пришлось воевать в сахарном тростнике. Фрактор Потерянных акров не обманет их чуткие носы, а чтобы воспользоваться, как в тот раз, Кетером, мне придется выйти из слепого пятна. Я лезу напролом сквозь рододендроны и оказываюсь на широком, прекрасно подстриженном газоне, который усеян бюстами в два человеческих роста: Будда, Эдди Кох-рейн, Чак Берри, Пэтси Клайн, Литтл Ричард, Билл Хейли. Ну и, конечно, Элвис. Рай рок-н-ролла. Среди великих теней пасутся мунтжаки с урезанными генами. Сюрреалистичное зрелище, однако карликовые мунтжаки означают отсутствие киберпсов. За газоном желтая гравиевая дорожка, за желтым гравием — здание в духе Скарлет О'Хара. Единственным знаком, что я все еще в Японии, а не в прибежище сопливой мечты — Америке, является орел-громовержец, оседлавший портик над входом.

За углом я вижу бассейн в форме гитары. Мои передвижения не остаются незамеченными, но я и не рассчитывал проникнуть в sanctus sanctorum — святая святых — без сопротивления. Подкрепление выстроилось на пятачке гравия: в руках автоматы,

глаза устремлены к небу, как будто они ожидают нападения Супермена. Ничего сложного, надо только собраться с духом и сделать быстрый, сумасшедший бросок по грохочущему, предательскому гравию и надеяться добраться до двери до того, как они опустошат магазины на звук моих шагов. Ну, Этан, вперед, вперед...

Они даже не повернулись. Что-то уж слишком легко. Сверхъестественно легко. Внутри земли обетованной я закрываю дверь, задвигаю засов и снимаю маску человека-невидимки. Для внутренних покоев у меня есть другое оружие: Гевурах — разрушительный страх Божий. Двигаясь по коридорам, как Божья кара, я повергаю в ужас и бегство всех, кто попадается на пути, и при этом обнаруживаю, что моя «земля обетованная» — это загадка во чреве шутки. Слащавый фасад — всего-навсего пустая раковина для офисов и проходов, а внутри, если заглянуть в окна или вентиляторные отверстия, виднеется огромное помещение, размером во все здание, крытое стеклянным колпаком и облицованное тем, что я могу описать только как видиостены высотой в три этажа. Сотни телевизоров, тысячи. На полированном деревянном полу стоят четверо неосинтоистских ворот тории; каждые смотрят на одну из сторон света. А между ними — облицованный содзи и крытый черепицей Зал Дайцы.

И в первый раз моя уверенность, моя самонадеянность дрогнули. Господин Дайцы, не оставь меня!

Почудилось или вся масса телевизоров действительно заполнена лицами?

Слишком опасно уходить, распространяя ложь. Я подношу демона Страха к огню своей серебряной «Зиппо» и держу, пока он не скрючивается и не сворачивается в смертных кольцах. Потом поднимаюсь по ступеням к двери с надписью «АМИНИСТРАЦИЯ И БУХГАЛТЕРИЯ».

— Доброе утро, — объявляю я собравшимся секретаршам, младшим менеджерам, делопроизводителям, счетоводам и двум хорошеньким крошкам-панки в облегающих комбинезонах. — Пожалуйста, не пугайтесь. — Ласковое журчание Джеймса Мейсона из «Противной девчонки» у меня все же не выходит, но все лица поворачиваются в мою сторону, и я ловлю их души в свою правую руку. — Инструкции, которые я собираюсь загрузить в ваши рабочие станции, подлежат неукоснительному исполнению, нарушать их абсолютно недопустимо. Всем понятно? — Кивнули даже парни в модных — как у киногероев — костюмах. Я мечтал об этом с того момента, как идея пришла мне в голову, пока я крутил педали, удаляясь от Танацакии. — Вы организуете выплату каждому держателю акций ToSec суммы,

эквивалентной дивидендам за пять лет. Вы выбросите на тихоокеанский рынок все акции, которые находятся в собственности компании. Все, что останется, разделите между собой, потом как можно быстрее покинете здание и отправитесь в длительный отпуск.

Разумеется, демонический ящик с фрактором Канджи на экране сообщает это значительно более убедительно, но ведь каждому мужику хочется хоть раз в жизни почувствовать себя Робин Гудом, гарцующим по Шербургскому лесу. Забрать у богатых и раздать бедным? И пусть скромный танец пальцев по клавишам не похож на величественные пассы мага от индустрии, но он означает истинное разрушение, полный экономический крах «Тоса Секьюрити».

Двойные двери раскрываются без моей команды. Я молча скольжу по сверкающему полу к самому сердцу земли обетованной. И так же молча утыканные телеэкранами стены заполняются лицами — мужскими, женскими, молодыми, старыми. Европейцев и американцев немного. Среди лиц странный пустой экран, по которому промелькнула путаница образов, резанувшая по глазам, как фрактор. Колонны ворот тории усеяны клапанами для душ.

Создаваемая «Тоса Секьюрити» империя мечты сооружается и поддерживается руками мертвецов, украденных душ, порабощенной памяти многих. Здесь десятки, возможно, сотни функционирующих систем. За ними надо следить, управлять ими, контролировать их. И все это осуществляют они. Бдительные. Неутомимые. Надежные. Вечные. Если мертвые — цифры и датчики этой империи, то кто... что же является ее движущим интеллектом? Дверь в Зал Дайцы распахивается. Что мне остается? Только войти.

Висячие бронзовые светильники озаряют ясные лики сотен буддийских святых, которые обрамляют стены. Я узнаю Кэннона, Дайницы, Бинзуру, навеки лишенного просветления из-за пристрастия к крепким напиткам. Место центрального образа в алтаре занято чем-то, напоминающим древние рыцарские доспехи с телевизором вместо головы.

— Жизнь имитирует анима? — говорю я по-английски, двигаясь между боддисатвами и боддидхармами. Теперь я вижу, что древние доспехи укреплены на корпусе популярного промышленного робота Дорнье, такого же, как Одджоб Луки Касиприадин, который сопровождал нас в калифорнийском чистилище. Я продолжаю приближаться, пока не вижу, что мое лицо полностью отражается в пустом экране под пикирующим крылатым силуэтом.

— Совсем рядом люди спокойно завтракают и смотрят утренние новости.

Лезвие кажется ужасающе ярким серебряным пятном, стальной ветер бьет мне в лицо, оно готово к удару, как и моя левая рука, тоже готовая и тоже к удару.

— Это легко могла бы оказаться и ваша голова, мистер Ринг. — Английская речь. Стандартное произношение. Достаточно идиоматичное. Совершенное, как может быть совершенным только микрочип-переводчик самого высокого класса.

Я начинаю понимать. И очень сильно пугаюсь.

— А ваша — еще легче, — бессильно бросаю я и сжимаю левую руку.

— Что-то я сомневаюсь, мистер Ринг.

Совсем как в старом мультфильме Рея Харрихаузена, машина-самурай спускается с алтаря; тонкие ноги стучат, стучат, стучат по деревянному полу. Две из ее четырех рук оканчиваются короткими острыми лезвиями. Детский кошмар: телевоспоминания о крабопауках, извлеченных со дна Японского моря, пять метров позвякивающих, хитинообразных, длиннющих доспехов. Поборов внезапную слабость, я перехожу к делу:

— Значит, все делают компьютеры, так? — кричу я боддисатвам и боддидхармам и массе телелиц на массе экранов. Всему, что может и будет слушать. — Как вы умерли?

— Рак, мистер Ринг. Разумеется, рак. Некоторые говорят, что такая болезнь — благословение, она дает время подготовиться к встрече с Буддой, или с предками, или с Аллахом и обрести достоинство. Но это не про меня, мистер Ринг. Но с другой стороны, я всегда был исключением из правил. Вместо достоинства я обрел гнев. Гнев, что тело, которое я так яростно тренировал, так необратимо предало меня. Гнев, что мои амбиции, моя работа станут достоянием других, не таких способных, как я. Да, гнев. Сама по себе смерть не была мучительной. Клапан моей души был разгружен в симулятор, мои дети и служащие выказали приличествующую случаю скорбь, я превратился в призрак, живую память. А потом, мистер Ринг, произошла странная вещь, которую я не могу должным образом объяснить вам потому, что она подразумевает проникновение в самую суть необъяснимости каждой личности. Я вернулся к жизни. Я превратился в нечто большее, чем просто мертвая, пассивная память. Я стал понимать, чувствовать. Стал активным, живым. Мне нравится думать, что именно гнев, сила моего негодования не пожелали умирать и реинкарнировались в машине. Конечно, только гнев и инстинкт обладания заставили меня создать компанию, напасть на других призраков, обитающих

в том же симуляторе, покорить их, превратить в инструменты, оружие, которое отобрало контроль над компанией у моих наследников. Представьте себе их возмущение, когда они обнаружили, что системы им не повинуются, и увидели на экране мое лицо! Еще несколько шагов по деревянному полу.

— У всех наций, мистер Ринг, имеется определенная дата, время и место, когда каждый очень отчетливо помнит, что именно он делал. У вас — это смерть Элвиса Пресли, гибель «Челенджера». У нас — внезапный утренний свет над Хиросимой. Я видел тот свет, мистер Ринг. Видел, как вместе с дождем и пылью на землю обрушился пепел Империи. И я видел, как Империя возродилась, стряхнула с себя патернализм Америки, победила ее. И я не жалею, что сегодня мы отодвинуты на периферийные роли, боковые игроки иногда переигрывают центральных нападающих.

Теперь я понимаю и этот дом — воплощение культурной шизофрении, и это неоимперское приключение. За напудренной маской гейши живет все та же душа, неизменившаяся, неизменяющаяся и не подверженная изменениям.

— И сейчас вы поднимаете меч Мисимы.

— Требуется особое благородство, чтобы выпотрошить себя на балконе отеля, но Мисима был идеалистом, а все идеалисты — дураки. Мы, Такеда, прагматики. Для начала я хочу получить то, что всегда было моим: земли, имя, почет.

— Я бы понял, если бы вы хотели этого во имя спасения души Японии, — сказал я, — но ведь вы просто-напросто еще один маленький гребаный даймио.

— Который хочет и получит вашу голову, мистер Ринг. Лезвие дрогнуло. На этот раз я готов. Моя правая рука поднята.

— Не думаю, мистер Такеда.

— Господин Такеда, если не возражаете. И как я уже говорил, я-то не сомневаюсь.

Дуга лезвия пролетает так близко, а мои инстинкты реагируют так медленно, что я почти ощущаю стальной поцелуй на своей глотке. Робот-самурай со щелчком принимает боевую стойку: одно лезвие высоко поднято, другое отведено для смертоносного удара.

Теплая кровь на пальцах. Я с изумлением смотрю на правую руку.

Невозможно! Невозможно! Невозможно!

Левая рука. Рука Хаоса. Рука Смерти. Костяшки пальцев прижаты к лицу. Умирай, ты, покойный ублюдок!

— Воинам известно, мистер Ринг, что путь к победе лежит через превращение в своего врага, — вещает голос с

произношением диктора BBC. Он говорит? Видит Кетера и продолжает жить? Как? Как? Я едва разбираю его слова, кровь ударяет мне в голову.

— Я знаю вас, мистер Ринг. Неужели вы думаете, что ваши европейские хозяева позволят своему самому ценному, самому могущественному оружию безнадзорно разъезжать на велосипеде по холмам и долинам?

— Они наняли вас, чтобы следить за мной?

— Европейское посольство вступило с нами в контакт, когда вы еще только занимались покупкой велосипедов с вашим другом из анима. С тех пор как вы получили штамп в Первом храме, наше присутствие незримо сопровождало вас на всем пути паломничества. Мы двое. Пилигримы. Товарищи в пути. Вам удалось скрыться от нас в Токушиме, но мы догнали вас в Девятнадцатом храме и установили контрольный пост в Хиясе. Я до сих пор не уверен, было ли ваше отклонение от утвержденнного туристского маршрута в Ахи упущением или большой удачей. Если бы не это, вам не встретилась бы охрана из киберпсов и я никогда бы не понял до конца, почему европейские хозяева так высоко вас ценят.

Эти мертвые телевизоры, эти полуфракторы, вспыхивающие интерференцией. Так я и думал, кто-то управлял собаками, но только кто-то неживой.

— Если бы я наблюдал за вами по чисто визуальным каналам, моя особа была бы так же безнадежно уничтожена, как и другие ваши жертвы. Но я охочусь за вами более чувствительными средствами: инфракрасными, звуковыми, двигательными датчиками.

— Я не собираюсь так легко расставаться со своей головой, мистер Такеда. — Европейцы тоже читают откровения мастеров. «Бей неожиданным образом», — пишет Миямото Мусахи. Конечности робота очень сильны, но связки у него хрупкие. Интересно, зарегистрировали ли датчики моего врага скачок тепла, мелькание цифр, когда я наношу удар между его расставленными ногами, рывком опускаю поднятую руку с лезвием, ломаю сустав о колено и когда вторая рука, сверкая, летит к моему горлу, чисто срезаю ее в первом суставе захваченным в битве мечом?

В пластиковом гнезде моего черепа хранится кое-что еще, кроме японского разговорника для туристов.

— Не следует полагаться только на один вид оружия, — цитирую я древних воителей, хватая ртом воздух и пытаясь унять бешено бьющееся сердце.

— Разумеется, — отзывается механический Такеда, — но не

только вы умеете играть в «камень — ножницы — бумага». Темный экран открывает свой единственный глаз. Фрактор Кетер не выжигает дыры вместо глаз в моем черепе лишь потому, что мне уже случалось видеть его лик и выжить. Даже доля секунды на узнавание и реакцию смертью отдается у меня в позвоночнике. Что? Где? Чувствуй! Чувствуй! Деревянный пол. Закрой! Закрой глаза! Чувствуй!!! Мои дрожащие пальцы шарят по деревянной резьбе подножия боддисатвы. Я слышу позвякивающие, семенящие шаги. Мой враг приближается, чтобы убить меня. Но теперь битва — это нечто большее, чем личная месть Этана Ринга. ToSec, владеющая паролями и командами, записанными на клапане души, встроенном в мой череп, и распоряжающаяся фракторами по своему усмотрению во всем мире! Трудно себе представить, чем может кончиться подобная историческая драма!

— Я вижу вас, мистер Ринг, а вы меня?

Ты не можешь позволить себе ни единого взгляда, ведь если ты только что задействовал Малкхут, фрактор послушания... Действие Кетера ты еще мог пережить благодаря давнему знакомству, но как насчет неоспоримого приказа разрезать твой собственный желудок, сотворить харакири? Датчики движения. Инфракрасные датчики. В моей сумке-набрюшнике баллончик с аэрозольной смазкой, которую я использовал для этой проклятой коробки скоростей... Пальцами нащупываю зажигалку. Действуйте же, пальцы, чтоб вас, действуйте! Снимайте крышку! Господи, шаги все ближе! Беги, идиот, беги! Нащупываю боддисатву, вслепую обхожу... Прости меня, господин наш Дайцы! Масляный аэрозоль вспыхивает огненным факелом. Я направляю импровизированную горелку на деревянные образы... Прости меня, господин наш Дайцы! И в пламени просветления Будды устремляются вверх. Я больше не могу слышать уверенных, звякающих шагов робота Такеды. Заслонившись рукой, тушу пламя и поливаю жирным черным маслом свои велосипедные очки.

— Вот так, скотина!

Идиоты, дерущиеся в горящем доме!

— Очень впечатляет, мистер Ринг.

Голос слишком близко, слишком близко... Многосуставчатые пальцы смыкаются на моей глотке, выдавливают кровь из пореза вдоль линии волос, толкают к горящим Буддам. Я отбиваюсь баллончиком, но пальцы робота хватают мои очки, сдирают их. Моя единственная свободная рука распыляет черноту на то место, где, я надеюсь, находится экран. Пластиковые пальцы судорожно сжимаются, я ломаю суставы, как ноги у краба, и вырываюсь. Смогу ли я? Посмею ли? Смогу ли, посмею ли, смогу ли, посмею

ли? Посмею.

Аэрозоль зачернил левую сторону крылатой эмблемы и три четверти светящегося экрана. Наму Дайцы хеньо конго! Я должен действовать быстро и решительно, пока Такеда не успел переформатировать фрактор для меньшего экрана.

Единственный взгляд может дать ключ к победе. На задней панели кирасы, в точности там, где, как я помню, Лука вставляла мультиплексный линейный передатчик в своего Одджоба, имеется пятнадцатиконтактное гнездо, стандартное для всех моделей роботов Дорнье Марк 15.

Такеда крутится вокруг своей оси, пытаясь в расплывчатых пятнах инфракрасных теней поймать истинное изображение, но я действую быстрее. За мгновение до того, как двигательные датчики успевают меня зарегистрировать, я оказываюсь на нем. Зал Дайцы сейчас подобен горящему аду, но демонический ящик слетает с моего пояса, и вот уже его адаптер вставлен в гнездо питания, куда Такеда дотянуться не может.

— Ты хотел получить фракторы, — кричу я сквозь рев огня и вой пожарных сирен. — Так держи их!

И нажимаю на клавишу dump disk.

— Ввести код? — спрашивает демонический ящик. Мои пальцы, онемевшие от Кетер-шока, ошибаются.

Страшная боль в шее; пальцы робота шарят, пытаясь оторваться от моего тела.

— Что я повторю...

Еще одна рука ощупывает сломанными пальцами основание моего черепа, трогает, щупает, пробует...

— Что я повторю три...

Хитиновый палец ввинчивается, ввинчивается в пластиковое гнездо микрочипа у меня на голове. Боль просто ошеломляет, но это ерунда по сравнению с тем, что будет, если господин Такеда сможет пропустить многовольтный разряд сквозь мой мозг.

— Что я повторю трижды... Я горю, я умираю.

— является...

Он выцарапывает внутренность моего черепа, высасывает душу, заглатывает меня.

— ...истинной.

— Полная загрузка фракторной системы, — сообщает демонический ящик. В тот же момент господин Такеда ослабляет хватку, и моя душа освобождается. Боль утихает. Я, покачиваясь, отхожу в сторону. При свете сотни горящих Будд вижу робота Такеду, его ноги сложились пирамидой, руки повисли жесткими плетями, а Сефирот, диск Маркуса, изливает на него весь страх и всю радость, всю боль и все уничтожение, и все сумасшедшее, и

все излечение, и всю святость, и всю память, и все забвение, и все высоты, и все провалы, и тишину, и проклятия, и смерть всего мира.

— Гори в аду, ублюдок!

Колонны вспыхивают, пламя лижет балки и перекрытия. Стены, облицованные содзи, уже исчезли. У меня совсем нет времени, крыша сейчас рухнет, но в этой огненной церемонии надо еще сжечь две вещи. Дым и жар заставляют меня опуститься на пол и ползти, давясь и обжигая кожу, к упавшему образу Кокуцо.

Как-то раз Лука записала на видеокамеру молодого уличного проповедника, который использовал большую турецкую свечу как аллегорию ада.

— Тысячу экю тому, кто продержит палец в ее пламени в течение минуты, — провоцировал он обывателей, отправившихся в воскресенье за покупками. — Одна минута... Нет желающих? Как же вы выдержите целую вечность в аду?

Однако некоторые вещи необходимо вытерпеть. Есть ад, который надо объять. Я прижимаю руку к раскаленному дереву. Боль сметает все мысли, все, кроме потребности прекратить ее, прекратить, прекратить! Но я не могу. Не могу. Наму Дайцы хеньо конго-наму Дайцы хеньо конго-наму Дайцы хеньо конго-наму Дайцы хеньо конго. Держи их. Я смотрю, как мои руки чернеют, держи их и плюй на все, держи их, и дымись, и гори, чтобы обнажились обуглившиеся хрящи. Держи их. И я держу, пока не сгорают все следы, все очертания того, что было на них выгравировано. И только тогда, преображенный болью, выбегаю из Зала Дайцы, а за спиной у меня, в водопаде пламени, рушится крыша на сверкающего в огне и плавящегося Такеду. Выбегаю между воротами тории под стеклянную крышу земли обетованной, которая трещит от внезапного приступа жара и разлетается на десятки мозаичных шестиугольников, и все они падают, валятся, летят вниз, дождем осыпая мою голову.

Легенда, связанная со скитом-бангаи, без номера, в который попадаешь утром после ночевки в Двадцать седьмом храме, пожалуй, самая необычная во всем паломничестве. Когда Дайцы шел через эту часть Сикоку, ему попался торговец с вьючной лошадью, груженной сухой соленой форелью. Кобо Дайцы попросил дать ему одну рыбу в качестве сеттаи, но сердце рыботорговца ожесточилось от многолетней греховной жизни, и он не подал даже самой маленькой рыбки, лишь подстегнул свою лошадь. В тот же миг у лошади начались паралитические колики, и тут торговец вспомнил, что на острове находится великий и святой человек, он повернул назад и стал молить Дайцы о

прощении. Дайцы дал ему чашу для подаяния, велел наполнить ее водой из близлежащего источника и дать лошади. Так тот и сделал, и лошадь сразу поправилась. В благодарность торговец хотел отдать Дайцы весь тюк с форелью, но святой принял только одну рыбку, самую маленькую. Он поместил ее в источник, помолился, и рыбка сразу ожила. Рыботорговец построил у источника часовню, которая через века стала буддистским монастырем. По сию пору в пруду, питаемом этим источником, плавают рыбы; монахи любят показывать паломникам метки по обе стороны их спинок и на хвосте, которые считаются следами пальцев Дайцы.

Согласно их предписанию я должен держать руки в этих живительных водах два раза в день: на рассвете и на закате.

Не могу сказать, что я ощутил особое просветление и благословение, может быть, целительное воздействие основано на пользе физических упражнений — ежедневной двойной прогулке к источнику, и духовному умиротворению от наблюдения за медлительными созданиями в глубокой, чистой воде. Как бы то ни было, мои лекари говорят, что когда я иду к пруду, линии биотоков на мониторе робота, который следует за мной, как больная совесть, вычерчивают более гладкие, более спокойные конфигурации.

Это отшельническое братство монахов-гомосексуалистов состоит из добрых и истинно благочестивых людей. Они живут духовной жизнью с естественной, природной грацией рыбы в воде. На свете не много вещей более привлекательных, чем природная святость, и не много столь же редко встречающихся. Многие из них — это люди, оставившие свою профессию, потому что чувствовали: сексуальная ориентация уводит их от принятых духовных практик. Братья монастыря Форельного источника среди тех немногих, кто знает о его существовании, пользуются славой сильных мастеров щадящего лечения, очень умных счетоводов и суровых законников. После того как Мас нашел меня среди хаоса и руин «земли обетованной» и доставил назад в Танацакию, семейство Танацаки послало за братьями из монастыря Соленой форели, зная, что у них имеются возможности не только исцелить меня, но и укрыть от тех, кто может заинтересоваться человеком, в одиночку разрушившим «Тоса Секьюрити Инкорпорейтед».

Пока основные игроки этого разворачивающегося акта японского театра кабуки маневрируют и интригуют в образовавшемся вакууме после внезапной гибели ToSec, я знакомлюсь со своими новыми руками. Пластиковая кожа немного меня смущает, особенно шокирует место срастания с

бледной веснушчатой кожей Этана на кистях, но брат Сайгио, мой любящий лекарь, ежедневно укрепляет мою уверенность, что под жестким клешнеобразным панцирем нарастает, уплотняется слой за слоем новая кожа. Каждую минуту, каждый час, каждый день. Пигментация, волоски, ногти, отпечатки пальцев — все будет как прежде, благодаря чуду ускоренной регенерации.

— Надеюсь, что нет, — говорю я, не объясняя брату Сайгио смысл этой маленькой шутки. Надеюсь, что нет. Думаю, что нет. Когда медицинский робот раскрывает эти пластиковые раковины и я опускаю руки в воды источника Дайцы, то вид их способен вызвать у меня невротический шок, но чувство такое, будто они здоровые и чистые.

— К вам гость, — лукаво усмехается брат Сайгио. Я не удивляюсь. Я жду этого визита с тех пор, как очнулся от анестезии на самом пике боли и сразу вспомнил, что сказал Мас в ту ночь в Танацакии. — Вы спуститесь или отправить ее сюда, наверх?

— Пришлите ее сюда, — отвечаю я, чувствуя себя в безопасности со своим пивом, газетами, дисками и роботом на веранде корпуса для пилигримов. Я смотрю, как она идет по вымощенной плитами дорожке среди надгробий, касаясь руками камней, ощущая мягкое покалывание сосновых иголок, чувствую бессознательную сексуальность каждого ее движения, ее раскованную непосредственность, и что-то словно впивается мне в сердце. Она поднимается по ступеням веранды: первая, вторая, третья, четвертая, — обозревает мои пустые жестянки из-под пива, газеты, диски, робота.

— Ну что ж, ты прошел долгий путь, правда?

Черная длинная юбка с каймой, браслеты с индийскими колокольчиками, черные туфли, черная блузка без рукавов. Много серебряных украшений. И этот нелепый хохолок черных волос, который вечно лезет ей в глаза.

— Идешь до тех пор, пока позволяет Дайцы, — отзываюсь я. — На этот раз, в этом паломничестве, я получил благословение только на двадцать семь с половиной храмов.

Мы обнимаемся. Ее длинные, тонкие, голые руки смыкаются у меня на шее с серебряным перезвоном. Я ощущаю дрожь острого, почти болезненного чувства. Мое полуобъятие нелепо — локти, руки; возникает странное нежелание касаться ее своими пластиковыми руками.

— Как они у тебя, Эт? — Я показываю. Она смотрит с тенью отвращения.

— Господи, Эт! Я сказала Масу, что оплачу счет, то есть сделаю соответствующий взнос в фонд храма. Они ушлые ребята,

эти монахи. Мас об этом и слышать не хочет, говорит, что зарабатывает в пять раз больше меня и ни за что такого не допустит, но мне все равно, я сделаю по-своему.

— Они будут помогать мйе по-прежнему, дело не в деньгах, — возражаю я. — Не только в деньгах. — Потом добавляю: — Они прошли, Лука. Потому я это и сделал. Единственный способ от них избавиться. Просто выжег их.

— Вечно у тебя в голове ангелы и герои, а, Эт? — Она откидывается на ограждение веранды, вытягивает руки вдоль сучковатого дерева перил.

— Диск тоже пропал, Лука. Сгорел в огне. Все уничтожено. Все фракторы. Сгорела мечта Маркуса.

— Мас рассказывает, что когда он нашел тебя, ты все время бормотал одно и то же.

— Что?

— Прости, Маркус. Прости, Маркус. Снова и снова.

— Лука.

Она улыбается мне из-под своей нелепой челки.

— Я свободен. Я умер в огне вместе с фантомом Такеды. Этан Ринг больше не существует. Закрытый файл в сером офисе города Гента.

— Нет, это дерьмо, Эт. Я не желаю скрываться всю свою жизнь. У меня есть дела поинтереснее.

— Тебе и не придется, Лука. Я уверен. Без фракторов я им не нужен.

— Но если они передумают и захотят тебя вернуть, то будут действовать через меня. — Она оглядывается на храмовый сад. — Эт, я голодна, как гребаный волк. Пустилась в дорогу еще до завтрака. Ты знаешь, Мас не хотел сказать мне, где ты прячешься. Пришлось встретиться с ним в Йаватахаме и заставить привезти сюда. Сплошные тайны. Что ты натворил? Здесь в округе все с ума посходили.

— Я тут отстал от жизни. И слава богу. Я могу достать тебе что-нибудь поесть. Но у них строгости, буддистская диета. Овощи, крупы запрещены.

— Это мне подойдет.

— Ешь, что я ем.

— Стань мною.

— Ты хочешь этого?

В первый раз мы решились взглянуть друг другу в глаза. — Да. Да.

Она притягивает меня к себе, пробегается языком по розовым шрамам на голове.

— Эти сказочные, сказочные волосы, — мурлычет она. А

потом лукаво шепчет в самое ухо: — А насчет всего остального как у них тут?

— Для братии это духовное благословение. Если, конечно, есть любовь.

— Думаю, это можно устроить.

Она берет мои изувеченные руки в свои ладони, потом поднимает их вверх и широко раскидывает.

— Они исчезли, Лука. И не вернутся. Но иногда, при особом освещении, рано утром или на закате, мне кажется, я вижу, что здесь, под пластиком, что-то написано.

Она замирает, каждый мускул готов к последнему, убийственному акту предательства. А в следующий момент решается мне верить.

— И что там написано, Этан?

— Эмон Сабуро, вновь рожденный.

— И ты объяснишь мне, что это значит?

Наши руки наконец встречаются в самом низу окружности, очерченной в воздухе.

— Когда-нибудь, Лука. Когда-нибудь.

ИСТОРИЯ ТЕНДЕЛЕО

© Перевод В. Гришечкин, 2001.

Начать мой рассказ лучше всего с имени. Меня зовут Тенделео, и родилась я здесь, в Гичичи. Вы удивлены? Действительно, поселок так изменился, что люди, жившие там в одно время со мной, теперь вряд ли его узнают. Одно название осталось прежним. Вот почему имена так важны — они не меняются. Родилась я в одна тысяча девятьсот девяносто пятом году — как мне сказали, это произошло после ужина, но до наступления сумерек. Именно это и означает мое имя на языке календжи* [Календжи, или каленхи, — один из диалектов африканского языка нанди. По языку называется племя (община) календжи. — *Здесь и далее примеч. пер.*]: ранний вечер вскоре после ужина. Я была старшей дочерью пастора церкви Святого Иоанна. Моя младшая сестра родилась в девяносто восьмом, после того как у матери было два выкидыша, и отец, в полном соответствии с местными традициями, попросил помощи у общины. Мы все называли девочку Маленьким Яичком. Я да она — в семье нас было только двое. Отец считал, что пастор должен служить примером для своей паствы, а в те времена правительство как раз пропагандировало компактные семьи.

На моем отце лежала обязанность окормлять сразу несколько приходов. Он объезжал их на большом красном мотоцикле, который выделил ему епископ в Накуру. Это был отличный японский мотоцикл фирмы «Ямаха».

Водить мотоцикл отцу очень нравилось; он даже учился прыгать на нем через небольшие препятствия и тормозить с разворотом. Впрочем, для своих упражнений он выбирал глухие проселочные дороги, считая, что духовное лицо не должно заниматься такими пустяками на глазах прихожан. Разумеется, все знали, но никто его не выдал — ни один человек!

Церковь Святого Иоанна построил мой отец. До него прихожане молились прямо на улице — на скамьях, врытых в землю в тени деревьев. Наша церковь была приземистой, с крепкими белеными стенами, сделанными из бетонных блоков. По красной жестяной крыше карабкались вьюнки и лианы, которые цвели крупными колокольчиками. Весной же за окнами церкви колыхалась настоящая завеса из цветов и листьев, и внутри было красиво, точно в раю. Во всяком случае, каждый раз, когда я слушала рассказ об Адаме и Еве, я представляла себе рай именно таким — зеленым, тенистым, благоухающим.

Внутри церкви стояли скамьи для прихожан, аналой и кресло с высокой спинкой для епископа, который приезжал на конфирмацию. В алтаре находились престол, накрытый белой пеленой, и шкафчик для чаши и дискоса. Купели у нас не было — тех, кого крестили, водили к реке и окропляли там.

Я и моя мать пели в церковном хоре. Службы были долгими и, как я теперь понимаю, скучными, но музыка мне нравилась. Пели у нас только женщины, а мужчины играли на музыкальных инструментах. Самый лучший инструмент был у нашего школьного учителя из племени луо; преподаватель был таким высоким, что за глаза мы кощунственно называли его Высочайшим. Он играл на поршневом кольце от старого «пежо» — по нему надо было бить тяжелым стальным болтом, и тогда кольцо издавало высокий звенящий звук.

Все, что осталось от строительства церкви, пошло на пасторский дом. У нас были бетонные полы, жалюзи на окнах, отдельная кухня и замечательная угольная печка, которую один из прихожан смастерил из бочки для солярки. В доме было электрическое освещение, две розетки и кассетная магнитола, но никакого телевизора. Иметь телевизор, говорил отец, все равно что приглашать на обед дьявола. Итак, кухня, гостиная, наша спальня, спальня мамы и отцовский кабинет — всего пять комнат. Как видите, в Гичичи наша семья имела определенный вес, во всяком случае — среди календжи.

Сам поселок в беспорядке вытянулся по обеим сторонам шоссе. В Гичичи имелось несколько лавок, школа, почта, кондитерская, заправочная станция и контора по найму матату. Все они находились почти у самой дороги: жилые дома стояли чуть в глубине, и почти от каждого начинались утоптанные пешеходные тропинки, которые вели к устроенным на склонах земляным террасам. В конце одной такой тропинки — примерно в полукилометре дальше по долине — находилась и наша шамба* [Шамба *(суахили)* — поле, обрабатываемый участок земли.]. Идти к ней надо было мимо дома, где жила семья укереве. В этой семье было семеро детей, и все они нас ненавидели. Когда мы проходили мимо, они швыряли в нас камнями и кизяком и кричали: «Вот что мы думаем о вас, проклятые календжи, богомерзкие епископалы!» Сами укереве принадлежали к Внутренней Африканской церкви кикуйо и не подчинялись епископу.

Если для отца земным подобием Небес была его церковь, то для матери раем была шамба. Воздух на склонах долины был чист и прохладен, а внизу шумела по камням река. На шамбе мы выращивали маис, тыквы-горлянки и немного сахарного

тростника. Его охотно покупали местные самогонщики, и когда приходила пора сбора урожая, отец делал вид, будто не знает, для чего тому или иному из наших соседей нужен сладкий сахаристый сок.

Еще на шамбе росли перец, бобы, лук, картофель и две банановые пальмы. Отец ни за что не хотел их срубить, хотя м'зи* [М'зи *(суахили)* — мудрец, старейшина.] Кипчоби вполне авторитетно утверждает: деревья высасывают из земли силу. Как бы там ни было, маис и тростник каждое лето вымахивали выше моего роста, и мне очень нравилось, забежав в эти заросли, притворяться, будто я перенеслась в другой мир.

На шамбе всегда звучала музыка — играл чей-нибудь радиоприемник на солнечных батарейках, или пели хором женщины, помогавшие друг другу вскопать землю или разделаться с сорняками. Я всегда пела с ними, так как, по общему мнению, у меня был неплохой слух.

Было здесь и свое святилище. В расщелинах коры между толстыми скрюченными ветками старого дерева, давным-давно задушенного золотистым фикусом, женщины оставляли маленьким деревянным божкам свои подношения — купленные у странствующих торговцев-индусов стеклянные бусы, мелкие монетки и чашки с пивом.

Вы спросите меня: а как же *чаго?* Вы, наверное, уже подсчитали, что, когда на Килиманджаро упал первый контейнер, мне было девять. Вы хотите узнать, почему столь важное событие, как завоевание нашей планеты пришельцами из другого мира, не оказало на мою жизнь никакого особенного влияния? На самом деле все очень просто. Для наших жителей Килиманджаро находится лишь немногим ближе, чем тот, другой мир, из которого явилось к нам чаго. Нет, разумеется, кое-какие сведения до нас доходили. Мы смотрели телепередачи, где рассказывали про Килиманджаро, читали статьи об этой штуке в «Нейшн» и знали, что чаго похоже одновременно на коралловый риф и тропические джунгли и что оно попало на Землю с какого-то летающего объекта. Мы слышали передачи по радио, в которых обсуждалось, как быстро растет чаго (пятьдесят метров в сутки, эта круглая цифра легко запоминалась), что оно может собой представлять и откуда оно появилось. Каждое утро в небе над Гичичи мы видели белые инверсионные следы больших ооновских самолетов, которые перевозили исследователей и научное оборудование. С каждым днем их становилось все больше и больше, но нас это не касалось. Церковь, школа, дом, шамба. Праздничная служба в воскресенье. Кружок по изучению Библии в понедельник. Спевки церковного хора. Вечерние посиделки с

подругами. В промежутке я могла вышивать, полоть, гонять из маиса коз или играть с Маленьким Яичком, Грейс и Рут, но только чтоб не очень шуметь, потому что папа работает. Вот из чего состоял мой мир. Раз в неделю в Гичичи приезжал передвижной банк, раз в месяц — передвижная библиотека.

По шоссе носились громоздкие матату* [грузовик или пикап.], с азартом обгонявшие друг друга и все, что двигалось, а на их подножках и окнах гроздьями висели пассажиры. Большие грязные рейсовые автобусы, словно сонные волы, тащились вверх по склону, и одетый в лохмотья деревенский дурачок Гикомбе — роскошь, которую мы едва могли себе позволить, — бросался на дорогу перед каждым из них, стараясь остановить. На смену дождям приходила жара, после знойного лета наступал сезон холодных туманов, и так происходило из года в год. Люди рождались, женились, разводились, болели, погибали от несчастных случаев. Килиманджаро? Чаго?.. Что нам было до них?.. Для нас это были только слова, картинки, которые попадали в наш мир из одного и того же далекого мира.

Мне было тринадцать, и я только вступила в женский возраст, когда чаго пришло в мой мир и разрушило его. В тот вечер я отправилась к своей подружке Грейс Мутиго, чтобы позаниматься вместе. Но мы, конечно, не занимались. Уроки были просто предлогом; на самом деле мы хотели послушать радио. После того как в нашу страну понаехали ооновцы, радиопередачи сделались намного лучше. Под радио теперь можно было петь и танцевать. Проблема была только в том, что музыку, которую оно передавало, мои родители не одобряли.

В тот вечер мы слушали трип-хоп. Вдруг музыка стала прерываться — она раздавалась то тише, то громче, то пропадала совсем. Сначала мы решили, что в студии слетел компакт. На всякий случай Грейс решила покрутить ручку настройки, но получилось еще хуже. Мы как раз выясняли, стоило или не стоило трогать приемник, когда из соседней комнаты вышла мама Грейс. Она пожаловалась, что в телевизоре пропало изображение: на экране были одни волнистые линии, и ничего больше.

А еще через какое-то время мы услышали первый удар. Это был глухой далекий звук, очень похожий на гром. На возвышенностях вокруг нашей долины по ночам часто бывают грозы, но это было что-то другое.

Бу-бум! Снова грохот, на этот раз — ближе. С улицы донеслись голоса, сверкнул луч фонаря. Вооружившись карманными фонариками, мы тоже вышли из дома. На шоссе толпился народ — мужчины, женщины, дети. Отблески света от фонарей и керосиновых ламп беспорядочно метались по стенам

домов.

Бум-м! Третий удар был таким сильном, что в домах зазвенели стекла. Все, как по команде, направили фонари вверх, так что лучи их стали похожи на копья света. Многие дети заплакали, и я поняла, что тоже испугалась.

Один Высочайший сохранял спокойствие.

— Звуковая волна, — сказал он. — Там, наверху, что-то есть.

И как только он произнес эти слова, мы увидели *это*. На удивление, все происходило очень медленно. Ночь была безоблачной и ясной, как часто случается в конце мая после вечернего дождя, на небе высыпали звезды. И вот среди звезд мы увидели мерцающую точку. Она появилась над холмами восточнее Кириани и немного южнее нас. Нам казалось, она то плывет, то подпрыгивает на месте, словно искорки, которые пляшут в глазах, если долго смотреть на солнце. Светящаяся точка оставляла прямой как стрела след, похожий на след реактивного лайнера, только он не был белым, а светился чистым голубым светом, ясно видимым среди черноты небес.

Потом раздался двойной удар — такой близкий и громкий, что у меня заложило уши. В темноте запричитали старухи, и вскоре страх охватил всех. Теперь и женщины, и мужчины неотрывно смотрели на яркую голубую черту в небесах; из глаз их медленно текли слезы. Многие садились прямо на землю и, положив фонарики на колени, в растерянности качали головами, не зная, что им теперь делать. Старики накрывались платками, плащами, газетами; остальные последовали их примеру, и вскоре уже все жители поселка сидели на шоссе, спрятав головы под чем попало. Один Высочайший остался стоять. Выпрямившись во весь рост, он смотрел на яркий голубой след, разрезавший ночь надвое.

— Какая красота! — выдохнул Высочайший. — Подумать только: я вижу это своими собственными глазами!

Он стоял так до тех пор, пока светящийся объект не исчез во мраке за грядой холмов на западе, но я видела его отражение в глазах учителя. Прошло много времени, прежде чем эти крошечные искорки тоже погасли.

Казалось, все кончилось благополучно, но растерянность осталась. Люди были напуганы и в то же время испытывали радость от того, что непонятный предмет, словно ангел смерти, пролетел над Гичичи! Многие еще плакали, но слезы облегчения ни с чем не спутаешь.

Кто-то вынес из дома радио на батарейках. Другие поступили так же, и вскоре все мы собрались небольшими группами вокруг своих приемников. Буквально через несколько минут вечерняя

музыкальная передача была прервана срочным выпуском новостей, и диктор объявил, что в двадцать часов двадцать восемь минут в Центральной провинции упал еще один биоконтейнер.

При этих словах многие снова заплакали и запричитали. Потом кто-то крикнул:

— Тише!

Жалобные вопли затихли, а я подумала, что каким бы страшным ни было сообщение, доносящиеся из мрака всхлипывания были стократ страшнее.

Еще диктор сказал, что контейнер упал на восточном склоне хребта Ньяндаруа неподалеку от Тусы — небольшой деревеньки кикуйо. Где находится Туса, мы все хорошо знали — у многих там были родственники. Через Тусу ходил междугородный автобус до Ньери. От Тусы до Гичичи было не больше двадцати километров.

И снова над темным шоссе раздались крики, стенания, молитвы, но большинство молчало. Мы все понимали — наше время истекло. За четыре года чаго поглотило Килиманджаро, Амбосели и приграничный район Наманга и теперь двигалось по шоссе А-104 к Каджадо и Найроби. Но мы никогда не задумывались об этом, продолжая жить, как жили, в глупой уверенности, что когда чаго наконец доберется до нас, мы не оплошаем. И вот оно оказалось в каких-нибудь двух десятках километров от Гичичи. Чаго как будто говорило: двадцать километров это четыреста дней — вот сколько времени у нас осталось.

Первым поднялся Джексон, владелец мастерской по ремонту «пежо». Он слегка наклонил голову набок. Потом поднял палец, и все затихли. Джексон посмотрел на небо:

— Вы слышите?

Я прислушалась, но ничего не услышала. Тогда Джексон показал на юг, и мы сразу поняли, что он имеет в виду. Ночь звенела от гула моторов. Над темными верхушками деревьев на дальнем краю долины один за другим вспыхивали яркие огни. Их становилось все больше — десять, двадцать, тридцать, еще и еще. Вертолеты кружили над Гичичи, словно саранча: казалось, грохот их турбин заполнил собой весь мир. Я замотала голову платком, заткнула ладонями уши и громко закричала, перекрывая шум, но все равно мне казалось, что моя голова вот-вот разлетится на куски, будто глиняный горшок.

Вертолетов было ровно сорок. Они прошли так низко над поселком, что от поднятого винтами ветра жестяные крыши домов гремели и лязгали, а взвихренная пыль засыпала глаза и скрипела на зубах. Многие дети кричали и махали им фонариками и белыми школьными рубашками, пока вертолеты не

достигли гребня горы и рев турбин не растворился в звоне и стрекотании ночных насекомых. Для них это было просто забавой, но большинство понимало: ооновцы идут за чаго — словно собаки, преследующие кабана.

И действительно, не прошло и нескольких часов, как на шоссе появились первые грузовики. Громкое гудение поднимавшихся по серпантину машин разбудило весь поселок.

— Вам известно, что сейчас уже три часа ночи? — кричала грязно-белым грузовикам с голубой эмблемой ЮНЕКТА* [ЮНЕКТА — вымышленная комиссия ООН по оказанию технической помощи развивающимся странам.] на дверцах пожилая миссис Кариа, но ее никто не слышал, к тому же вряд ли кто-то из жителей поселка собирался ложиться спать. Почти все население Гичичи вновь высыпало из домов и выстроилось по сторонам шоссе, глядя, как идет через поселок колонна. Интересно, что подумали водители, когда в свете фар за поворотом вдруг возникли все эти лица с блестящими глазами. Впрочем, некоторые из них махали нам в знак приветствия, а дети махали в ответ.

Это продолжалось всю ночь. Когда на рассвете мы поднялись на шамбу, чтобы подоить коз, я увидела: по шоссе внизу все еще ползла бесконечная белая змея, петли которой повторяли извивы дороги. Когда же передние грузовики достигли перевала, косые лучи только что вставшего солнца перекрасили их из белых в золотые.

Грузовики, бензовозы, краны, тягачи с платформами, на которых стояли бульдозеры и другая специальная техника, шли по дороге два дня. Потом их поток иссяк, и на шоссе появились беженцы, двигавшиеся в противоположном направлении. Первыми были счастливые обладатели машин. Мы видели матату, нагруженные посудой, постельным бельем, мебелью и инструментами, и грузовички, в кузовах которых балансировали на грудах домашнего скарба целые семьи. Промчался микроавтобус, битком набитый чем-то, что на первый взгляд напоминало тюки пестрого тряпья; и только потом мы поняли: это просто женщины в цветастых платьях. Тракторы тащили прицепы на колесах. Древние легковушки, мотоциклы и мопеды едва виднелись под привязанными к ним узлами. Все эти механические чудовища и возглавляли своеобразную гонку, в которой богатые, как всегда, оказались в лучшем положении.

Следом за машинами двигалась основная масса беженцев. Шоссе запрудили тележки с впряженными в них осликами, влекомые волами фургоны и велосипеды с колясками, но больше всего людей шло пешком. Кто-то толкал перед собой тачку,

груженную горшками, свернутыми матрасами и картонными коробками, кто-то тащил на веревках тележку или вез в коляске закутанную в канта* [Канга — род национальной одежды наподобие индийского сари.] престарелую мать, бабку или тетку. Серпантин у перевала оказался довольно крутым, и спускаться по нему было небезопасно. Тележки так и норовили вырваться из рук, скатиться под уклон или свалиться с обрыва, и террасы у подножия горы были буквально усеяны осколками горшков, помятой посудой, разноцветными тряпками, покореженными лопатами и сломанными кирками.

Последними в этой гонке шли те, чье имущество умещалось в одном-двух узлах. Взрослые несли их на голове или на плечах. Дети тащили в руках завязанные в тряпки кастрюльки, пыльные клетки с крикливыми птицами, крошечные корзиночки из коры, в которых лежало по горсти ягод и куску зачерствевшей лепешки.

Мой отец предоставил беженцам свою церковь. Здесь они могли получить отдых, чашку горячего чая, миску угали* [Угали — каша из риса.] или бобов. Угали варилось прямо на кострах в больших кастрюлях и котлах, и я помогала мешать его, чтобы оно не подгорело. Местный врач открыл при церкви пункт первой помощи. В основном, впрочем, ему приходилось лечить вывихнутые или пораненные ноги да детей, страдавших обезвоживанием вследствие неизбежного расстройства желудка. Но далеко не все жители Гичичи одобряли такую благотворительность. Некоторые боялись, что, встретив подобный прием, часть беженцев останется в поселке и истребит наши запасы продовольствия. Владельцы лавок прямо говорили, что мой отец разорит их, раздавая бесплатно то, что они продавали за деньги. Недовольным — тем, кто осмеливался заявлять об этом открыто, — отец отвечал, что он поступает так, как, по его мнению, поступил бы Иисус. Возразить на это было трудно, но я знаю, что у него была еще одна причина. Ему было интересно слушать рассказы беженцев. Очевидно, отец уже тогда догадывался, что их судьба скоро станет и его судьбою.

— Так что там у вас, в Тусе?

— У нас-то нормально. Контейнер промахнулся по нам и грохнулся двумя километрами дальше, в Комбе. Нет, там нет ничего особенного — просто ферма кикуйо; они еще коров держат. Мы все слышали гром. Наши соседи взяли матату и поехали посмотреть, что стряслось. Они-то и рассказали, что от Комбе ничего не осталось. Да вон они сидят, эти ребята, — сами у них спросите.

— Это «ничего», братья мои, как оно выглядело? Как яма?

— Нет, это было нечто особенное, но что — мы описать не

можем. Что? Ах, фотографии!.. На фотографиях видна только эта штука, они не показывают, как все происходит. Дома, поля, тропинки в полях растекаются, точно жир на сковородке. Мы видели, как сама земля таяла и из нее тянулись вверх такие штуки, похожие на пальцы тонущего человека...

— Что за штуки? Какие они были?

— Мы не можем сказать — у нас не хватает слов. Их можно сравнить разве что с коралловыми рифами, которые показывают по телевизору, но эти штуки были большие, как дома, и полосатые, как зебры. Они походили на кулаки, которые растут прямо из земли, поднимаются все выше, а потом — р-раз! — раскрываются, будто пальцы. Еще там были веера, пружины, воздушные шары и футбольные мячи.

— И все это произошло быстро?

— О, очень быстро! Так быстро, что пока мы смотрели, эти штуки добрались до нашего матату. Они поползли по покрышкам, поднялись по капоту, словно ящерицы по стене, и вся машина покрылась тысячами крошечных желтых почек или бутонов.

— Что же вы сделали?

— А вы как думаете? Бросились бежать, конечно!

— А те, кто жил в Комбе? Что сталось с ними?

— Когда мы привели подмогу из Тусы, нас остановили солдаты, которые прилетели на вертолетах. Они были повсюду. Солдаты сказали: все должны уходить, здесь будет карантинная зона. У вас есть двадцать четыре часа.

— Двадцать четыре часа?!

— Да. Все, что ты честным трудом нажил за целую жизнь, тебе велят собрать за каких-нибудь двадцать четыре часа! «Голубые береты» привезли с собой инженеров, которые тут же начали строить огромную башню из рельсов и железа. От сварки ночь стала как день. Комбе снесли, и разровняли место бульдозерами, чтобы строить аэродром, — теперь там будут садиться самолеты. А нас, прежде чем отпустить, заставили сдать анализы. Мы все выстроились друг за другом и по одному проходили мимо столов, за которыми сидели люди в белых халатах и масках.

— Но зачем?

— Я думаю, они проверяли, вдруг чаго попало в нас.

— Почему ты так думаешь? Разве врачи делали что-то такое... особенное?

— Да, пастор. Некоторых они легонько хлопали по плечу, вот так, совсем как Иуда — Господа, и солдат отводил таких в сторону.

— Что было с ними потом?

— Я не знаю, святой отец. Этих людей я больше не видел. И никто не видел.

Эти истории очень тревожили моего отца. Они смущали и тех, кому он их пересказывал; даже Высочайший испугался, хотя именно он радовался тому, что на нашу землю пришли чужие. Но больше всего эти рассказы пугали ООН. Два дня спустя в Гичичи приехали на пяти армейских вездеходах представители власти. Первое, что они сделали, это приказали отцу и доктору закрыть свой пункт помощи беженцам. Официальный центр Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев находился в Муранге. Все беженцы направлялись туда, ни один из них не должен был оставаться в Гичичи.

В частной беседе они сказали моему отцу: человеку, занимающему столь высокое положение, пристало вести себя более ответственно и выдержанно и ни в коем случае не способствовать распространению нелепых слухов и глупых выдумок, способных подорвать стабильность общества. А чтобы мы узнали настоящую правду, люди из ЮНЕКТА устроили в церкви общее собрание жителей.

В этот день в церковь пришли все, даже мусульмане. Те, кому не хватило места на скамьях, встали у стен и в проходах; многие теснились снаружи у окон и, приподняв жалюзи, заглядывали внутрь. Перед алтарем поставили длинный стол. За столом разместились мой отец, наш доктор и вождь, а также правительственный чиновник, военный и одетая в белый полотняный костюм китаянка, которая показалась мне напуганной. Как я узнала, она была ученым-ксенологом. В основном говорила именно она; правительственный чиновник из Найроби только вертел в руках карандаш и постукивал им по столу, пока не сломал кончик. Военный — французский генерал с богатым опытом участия в разного рода гуманитарных кризисах — сидел неподвижно и молчал.

Женщина-ксенолог рассказала нам, что появление чаго — это первый контакт человечества с внеземной жизнью. Характер контакта, по ее словам, оставался пока неясным; во всяком случае, события развивались совсем не так, как предсказывали специалисты. Пока что все сводилось к тому, что чаго физически преобразовывало наш земной ландшафт и растительность, однако то, что содержалось в контейнерах-посылках, не являлось ни семенами, ни спорами. Непонятные штуки, которые уничтожили Комбе, а теперь медленно поглощали Тусу, представляли собой что-то вроде крошечных механизмов, которые разлагали вещество нашего мира на молекулы и вновь воссоздавали в совершенно новых, непонятных формах. Еще мы узнали, что чаго реагировало

на раздражители и отлично приспосабливалось к разрушительным внешним воздействиям. Специалисты ЮНЕКТА уже испробовали огонь, яды, радиоактивное опыление и генетически модернизированные вирусы, однако чаго успешно отразило все атаки. Несмотря на это, до сих пор не удалось выяснить, обладает ли оно собственным интеллектом или это — просто инструмент, агент каких-то разумных существ, обнаружить которые пока не удалось.

— А что будет с Гичичи? — спросил наш цирюльник Исмаил.

Ему ответил французский генерал:

— Всех жителей поселка эвакуируют в ближайшее время.

— А если мы не хотим, чтобы нас эвакуировали? — заговорил Высочайший. — Вдруг мы решим, что нам лучше остаться?

— Все гражданское население подлежит эвакуации, — повторил генерал.

— Но это наш поселок и наша страна! По какому праву вы указываете, что мы должны делать, а чего не должны? — крикнул Высочайший, и все зааплодировали — даже мой отец, сидевший за столом рядом с людьми из ЮНЕКТА.

Правительственный чиновник из Найроби недовольно нахмурился.

— ЮНЕКТА, Управление верховного комиссара по делам беженцев и командование миротворческих сил ООН в Восточной Африке действуют с ведома и согласия правительства Кении, — сказал он. — Чаго представляет собой серьезную опасность для жизни людей. Эвакуация необходима для вашего же блага.

Но Высочайший не сдавался:

— Опасность? Кто это сказал? ЮНЕКТА? Организация, которая на девяносто девять процентов финансируется Соединенными Штатами Америки? Я, например, слышал другое. Говорят, чаго не приносит вреда ни людям, ни животным. Ответьте, правда ли, что внутри захваченных им районов живут люди? Правда это или нет?

Правительственный чиновник посмотрел на генерала, но тот только пожал плечами. Высочайшему ответила китаянка-ксенолог:

— Так говорят, но официально это не подтверждено. В последнем информационном бюллетене ЮНЕКТА говорится, что...

Мой отец поднялся и помешал ей договорить.

— Что происходит с людьми, отсортированными после проведения медицинских тестов? — спросил он. — Куда они пропадают?

— Мне ничего не известно... — начала китаянка, но отцу

было нелегко заткнуть рот.

— Меня интересует судьба жителей Комбе. И что за тесты вы проводите?

Китаянка смешалась, но тут снова заговорил генерал.

— Я не ученый, а солдат, — сказал он. — Я служил в Косове, в Ираке, на Восточном Тиморе и могу ответить на ваши вопросы только как солдат. Четырнадцатого июня будущего года чаго подойдет к шоссе. Примерно в половине восьмого вечера оно достигнет стен этой церкви. К вечеру следующего дня от поселка под названием Гичичи не останется ничего, кроме названия.

На этом собрание закончилось. Как только сотрудники ЮНЕКТА вышли, христиане Гичичи окружили моего отца. Во что верить? Что такое чаго — Христос или антихрист? Кто эти пришельцы — ангелы или такие же грешники, как все люди? Знают ли они Иисуса? В чем здесь промысел Божий? Вопросы сыпались градом.

Голос отца звучал безнадежно, устало, немного визгливо — совсем как рев леопарда, которого гонят охотники.

— Я ничего не знаю! — прокричал он. — Вы думаете, у меня есть ответы на все ваши вопросы, но это не так. У меня нет ни одного ответа! Больше того, я не могу говорить с вами на эти темы, и никто не может. Зачем вы задаете мне ваши дурацкие вопросы? Или вы считаете, что простой деревенский священник знает что-то такое, что может остановить чаго или прогнать его туда, откуда оно явилось? Это не так. У меня, как и у вас, накопились десятки, а может быть, сотни своих вопросов, на которые я не в силах дать ответ.

На несколько мгновений все замолчали. Помню, мне тогда показалось, что вот сейчас, сию секунду я умру от стыда. Потом моя мать взяла отца за руку, и я заметила, что его трясет. Извинившись перед своими прихожанами, он двинулся к выходу, и толпа все так же молча раздалась, пропуская нас.

В дверях мы, однако, остановились, остолбенев от изумления. Еще недавно церковный двор был полон беженцев, но сейчас от них не осталось и следа, словно все они были живыми взяты на небо. Их тюки, постели, скот и тележки — все исчезло. Не осталось даже нечистот, которые, бывало, так раздражали отца.

По пути домой я увидела, как Высочайшего обогнала китаянка-ксенолог, спешившая к одному из вездеходов.

— Насчет людей, мистер... — шепнула она на ходу. — Они изменились и стали совсем другими.

— Как? Как изменились? — быстро спросил Высочайший, но дверца вездехода уже захлопнулась.

«Голубые береты» подняли с земли сумасшедшего Гикомбе,

который терпеливо сидел в пыли перед его капотом, и вездеход, то и дело сигналя, двинулся сквозь валившую из церкви к дороге толпу. В окошке в последний раз мелькнуло испуганное лицо женщины-ксенолога.

В тот же день после обеда отец сел на красную «ямаху» и куда-то уехал. Вернулся он только через неделю.

Именно тогда я кое-что узнала о своем отце, точнее — о его вере. Он был неуступчив и строг в мелочах, в простых, бытовых вопросах только потому, что перед большими проблемами его вера пасовала. У него она складывалась в основном из церковного пения, воскресных проповедей, дисциплины, личной молитвы и умения сосредоточиться во время службы — то есть из таких вещей, которые легко увидеть в том числе и в других людях. Что же касалось «осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом», то этого в отце никогда не было.

Собрание в церкви оказалось раной, через которую медленно вытекала живая кровь Гичичи. «Это наш поселок и наша страна!» — сказал Высочайший, однако уже через несколько дней первая семья, увязав пожитки и загрузив ими древний пикап, влилась в поток беженцев, двигавшийся по шоссе на юг. После этого не проходило и недели, чтобы кто-то из односельчан не покинул насиженного места, в последний раз закрыв двери своего дома. Брошенные дома превращались в руины. Вода подмывала стены, крыши рушились, а остальное сжигали распоясавшиеся подростки. Мертвые дома походили на древние черепа. Собаки тонули в выгребных ямах, которые беженцы даже не давали себе труда прикрыть как следует.

Опустела и хижина укереве. Уже давно никто не бросал в нас камнями, когда мы шли на шамбу, а однажды мы обнаружили, что их хижина сгорела и ее окна превратились в пустые, закопченные глазницы, слепо глядящие на тропу.

Лишенные ухода и присмотра шамбы зарастали травой и сорняками. Козы и коровы паслись, где хотели, стены террас осыпались, и дожди размывали плодородную почву, которая стекала вниз, словно крупные красные слезы. Бывало, что после особенно сильного дождя поля, которые возделывались поколениями хозяев, исчезали в одну ночь. За священным деревом тоже никто не ухаживал, никто не приносил деревянным божкам пиво и украшения. Казалось, всякая надежда покинула Гичичи, и даже те, кто еще оставался в поселке, ни на секунду не забывали о том, что настанет день, когда над перевалом, будто передовой отряд вражеской армии, покажутся странные деревья, гигантские кораллы и разноцветные шары.

Я помню, однажды утром меня разбудили голоса,

доносившиеся из соседнего двора, где жила семья Мутиго. Голоса принадлежали нескольким мужчинам, которые говорили негромко, словно боясь разбудить окружающих, но меня это как раз не удивило, поскольку было еще довольно темно. Тем не менее я соскочила с кровати и, торопливо одевшись, вышла на улицу посмотреть, что происходит. Грейс и Рут как раз вынесли из дома большие картонные коробки, которые мистер Мутиго и двое его друзей грузили в багажное отделение «ниссана». Очевидно, они работали уже давно, поскольку свободного места в пикапе почти не оставалось, и девочки собирали последние мелочи.

— А-а, это ты, Тенделео, — печально сказал мистер Мутиго. — А мы-то надеялись уехать, пока никто не видит!

— Можно мне поговорить с Грейс? — спросила я. Но разговаривать с ней я не стала. Вместо этого я принялась на нее орать. Понимает ли Грейс, что, если она уедет, я останусь совершенно одна? Неужели она хочет меня бросить?

И тогда Грейс задала мне вопрос. Она сказала:

— Ты говоришь, мы не должны уезжать. Скажи, Тенделео, почему ты должна остаться?

Возразить на это мне было нечего. Мне всегда казалось, мы никуда не уезжаем, потому что пастор всегда должен оставаться со своей паствой, но недавно я узнала, что епископ несколько раз предлагал отцу перевести его в новый приход в Элдорете.

Грейс с семьей уехали, едва начало светать. Красные габаритные огни их «ниссана» скоро затерялись в потоке беженцев, не редевшем даже ночью. Несколько раз я слышала сигнал клаксона, сгонявший с дороги скот и предупреждающий пешеходов; этот звук разносился по всей долине.

Я не надеялась, что Мутиго вернутся, но старалась поддерживать их дом в порядке. Однако всего несколько недель спустя компания подростков из соседней деревни вломилась в него, вытащила все ценное, что там еще оставалось, а сам дом сожгла.

Вопрос, который задала мне перед отъездом Грейс, оказался довольно мрачным прощальным подарком. Чем больше я над ним размышляла, тем сильнее становилась моя убежденность, что мне необходимо самой взглянуть на вещь, вынуждавшую нас принимать столь непростые решения. Я должна была увидеть чаго своими глазами. Мне хотелось оказаться с ним лицом к лицу и попытаться выяснить, что им движет.

Маленькое Яичко стала моим доверенным лицом и помощником. Мы тайно собрали в дорогу еду и даже взяли деньги из церковной кружки для пожертвований. Лучшим

временем для путешествий было выбрано раннее утро, когда в школе начинались занятия.

Нам хватило ума не идти по дороге, где нас легко могли заметить. Вместо этого мы сели на попутный матату, который довез нас до Кинангопы в долине Ньяндаруа, где нас никто не знал. Деревни вдоль шоссе еще не обезлюдели окончательно, и матату был битком набит крестьянами, везшими на продажу самые разные товары, а также связанными за ноги курами, которых владельцы затолкали под скамьи. Нам с Яичком досталось место в самом конце. Стараясь не привлекать к себе внимание, мы сели и принялись за орехи, вытаскивая их из бумажного кулечка.

Чем ближе к границе чаго, тем чаще попадались на шоссе грязно-белые ооновские грузовики. Пассажиры выходили один за другим, и к Нданьи в кузове матату остались только мы с Яичком. В конце концов помощник водителя обернулся и спросил:

— А вам куда, девочки?

— Мы хотим посмотреть чаго, — ответила я.

— Скоро чаго само доберется до ваших мест, смотрите тогда на него сколько влезет.

Я показала ему церковные шиллинги.

— Вы можете отвезти нас туда?

— Ну, ваших денег на это не хватит. — Помощник покачал головой, потом переговорил о чем-то с водителем. — Мы высадим вас в Ньеру, оттуда вам придется идти пешком. Впрочем, там совсем недалеко — километров семь, может быть, меньше.

В Ньеру мы очень ясно увидели, что станет с Гичичи, когда там останутся только старики, больные или безумцы. Я была рада, когда мы покинули поселок. Определить, в какой стороне находится чаго, было очень легко — туда никто не ехал и не шел. Только мы с Яичком шагали к горам по заброшенной грунтовой дороге.

Должно быть, со стороны мы выглядели довольно странно. Две девочки, идущие по пустынному, разоренному краю с узелком в руках, должны были сразу бросаться в глаза, но, к счастью, смотреть на нас было некому.

Солдаты остановили нас, когда мы отошли от Ньеру километра на два. На протяжении нескольких минут я слышала позади урчание мотора. Потом показалась и сама машина — большой четырехосный бронетранспортер Южноафриканской армии.

Офицер показался нам очень сердитым. Он то и дело хмурился и говорил раздраженно, отрывисто, но наша храбрость, похоже, произвела на него впечатление. Что мы себе думаем,

вопрошал он. Здесь повсюду рыскают шайки стервятников. Только на прошлой неделе в пяти километрах от этого места они напали на рейсовый автобус и перерезали всех пассажиров. Ни один человек не спасся. Если бандиты наткнутся на двух беззащитных девочек, они ограбят их, изнасилуют, а потом подвесят за ноги и перережут глотки, как свиньям.

Пока он нас отчитывал, солдат на башне внимательно оглядывал окрестности, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону вместе со своим большим тяжелым пулеметом.

— Так что, черт возьми, вам здесь понадобилось?

Я честно ответила, и офицер ушел переговорить с кем-то по радио. Когда он вернулся, то коротко сказал:

— Полезайте назад.

В бронетранспортере было ужасно жарко и пахло мужским потом, оружейным маслом и соляркой. Когда бронированная дверца с лязгом захлопнулась за нами, я подумала, что еще немного — и мы задохнемся.

— Куда вы нас везете? — спросила я, впервые почувствовав страх.

— Смотреть чаго, вы ведь этого хотели? — ответил командир.

Мы молча съели наши завтраки, стараясь не глазеть на солдат, которые наперебой угощали нас водой из своих фляжек и пытались рассмешить. К счастью, поездка оказалась недолгой, хотя и не слишком комфортной. Снова лязгнула бронированная дверца, и офицер помог мне выбраться наружу. Оглядевшись, я чуть не упала от изумления.

Я стояла на склоне холма. Повсюду виднелись древесные пни — они были совсем свежими, многие еще сочились. Откуда-то доносился визг бензопил. На расчищенном от леса пространстве яблоку негде было упасть — столько здесь было военной техники и палаток. Между палатками суетились люди, главным образом — белые. В самом центре обширной поляны находилось нечто, что я могу сравнить разве что с городом на колесах. Тогда я еще не бывала в Найроби, но узнала это сооружение по снимкам из газет. Над скоплением невысоких прямоугольных строений возвышался целый лес изящных высоких башен и ажурных ферм. Именно такой, похожей на железные джунгли, показалась мне база, когда я впервые увидела ее. Только приглядевшись, я поняла, что строения — это стандартные сборные вагончики, установленные на огромных лесовозных платформах, подобных тем, какие я один раз видела в Элдорете. Их тащили за собой мощные трактора. От платформ к башням тянулись толстые пучки кабелей и вели железные лестницы. По лестницам быстро, чуть ли не бегом поднимались и спускались люди. Некоторые из

башен возносились высоко к небу, но к ним тоже сновали люди. Я смотрела на смельчаков со страхом. Сама я не отважилась бы на подобное и за миллион шиллингов.

Таковы были мои первые впечатления. Вы, конечно, будете смеяться, потому что вам хорошо известно: прекрасный белый город, который я описываю, был на самом деле мобильной базой ЮНЕКТА, собранной на скорую руку из самых дешевых материалов. Но в моих словах есть и доля истины, ведь видеть — это одно, а рассматривать — совсем другое. Рассматривать — значит убивать волшебство, и чем дольше я смотрела, тем меньше магии оставалось в открывшейся мне картине.

Воздух на поляне был таким же скверным, как в бронетранспортере, и так же сильно вонял дизельными выхлопами. Отовсюду доносился рев, стук, урчание работающих моторов. Вырубленная в лесу просека выглядела так, словно ее проломила сама база. Невольно я перевела взгляд на огромные зубчатые колеса тракторов. Они едва заметно вращались. База действительно двигалась — тяжело, грузно, не быстрее, чем стрелки часов; она пятилась назад по своим следам с той же скоростью, с какой наступало чаго.

Маленькое Яичко взяла меня за руку. Думаю, некоторое время я стояла разинув рот.

— Идем, — сказал офицер. Он больше не сердился. — Ведь вы хотели увидеть чаго.

И он подвел нас к высокому американцу, у которого были рыжие волосы, рыжая борода и голубые глаза. Его звали Байрон, и говорил он на таком скверном суахили, что даже не понял, когда Яичко довольно громко шепнула мне: «Он похож на вампира».

— Я умею говорить по-английски, — сказала я, и Байрон, с облегчением улыбнувшись, повел нас между тягачами к центральной, самой высокой башне. Как и все в городе, она была выкрашена белой краской, и на ее боку большими голубыми буквами было написано: ЮНЕКТА, и ниже, буквами помельче: «Станция «Ньяндаруа». Здесь мы вошли в небольшую металлическую клетку. Байрон закрыл дверцу, нажал кнопку, и клетка стала подниматься вверх вдоль стены башни. Должна сказать, что этот грузовой лифт показался мне куда более страшным, чем любые рассказы о бандах мародеров. Вцепившись в металлический поручень, я крепко зажмурилась, но это не помогло: я ясно чувствовала, как башня — и вся база — раскачивается подо мной.

— Можешь открыть глаза, — сказал Байрон. — Иначе ничего не увидишь, и получится, что весь путь ты проделала зря.

Лифт поднялся уже выше макушек деревьев, и передо мной открылась панорама окружающей местности. Я увидела, что станция «Ньяндаруа» двигалась вниз по восточному склону Абердарского хребта. Чаго расстилалось передо мной, как разложенное на кровати свадебное покрывало-канга.

Выглядело оно так, словно кто-то нарезал из цветной бумаги кружочков и рассыпал по горам. Чаго повторяло все изгибы и складки местности, но это было, пожалуй, единственной его особенностью, которая казалась естественной. Во всем остальном оно было совершенно чужим. Цвета этих кругов были ошеломляюще яркими, и я едва не рассмеялась, глядя на апельсиново-рыжие, вишнево-алые, ядовито-розовые и темно-красные пятна, словно венами пронизанные ярко-желтыми полосами. Мне не верилось, что это — настоящее. Ничто живое, реальное такой расцветки иметь не могло, и оттого мне на мгновение почудилось, будто передо мной созданная в Голливуде киношка, сверх меры напичканная компьютерными спецэффектами.

Я прикинула, что от нас до чаго примерно километр. Это было совсем небольшое чаго — куда меньше килиманджарского, которое уже поглотило Моши, Арушу и другие танзанийские города и находилось теперь на полпути к Найроби. Когда я сказала это вслух, Байрон ответил, что новое чаго имеет в диаметре пять километров и начинает приобретать классическую форму скопления разноцветных кружков.

Я вгляделась пристальнее, стараясь рассмотреть детали. Мне казалось, если я сумею это сделать, чаго станет для меня реальным. Вдали я увидела путаницу отростков-ветвей цвета медной проволоки, и впрямь похожих на кораллы, увидела стену темно-малиновых деревьев, вздымавшихся на невероятную высоту. Их стволы были прямыми и гладкими, как копья, а листья смыкались наподобие зонтиков. За деревьями громоздилось что-то похожее на покосившиеся ледяные горы, на молитвенно воздетые к небу руки, на пористые, как старые грибы, колонны, на веера из перьев, на груды футбольных мячей, купола, гигантские мозги или ядра грецких орехов. Были там и совсем уж непонятные образования, похожие только друг на друга и ни на что больше. Чего там не было, так это того, что принято называть предметами в общепринятом смысле слова. И весь этот невообразимый хаос тянулся ко мне, но я почему-то сразу поняла — чаго не схватит меня до тех пор, пока я нахожусь здесь, на белой башне, которая медленно пятится назад вниз по отрогам Абердарской гряды со скоростью пятьдесят метров в день.

Мы были почти на самом верху, и наша клетка раскачивалась

на ветру. Я почувствовала тошноту и страх и снова с силой вцепилась в ограждение. Именно тогда чаго стало для меня реальностью. Я почувствовала его запах, который принес ветер. Иллюзии не пахнут, а от чаго пахло корицей, потом и свежевспаханной землей. Еще от него пахло гнилыми фруктами, соляркой и мокрым после дождя асфальтом. От него пахло свернувшимся молоком, которое отрыгивают грудные младенцы, телевизором, той штукой, которой мастер из нашей сельской цирюльни «Под деревом» смазывал волосы отцу, и женским святилищем на шамбе. Каждый из этих запахов будил во мне воспоминания о Гичичи, о наших соседях, о моей жизни, а все вместе они вновь всколыхнули во мне чувства, которые я испытала совсем недавно, когда вступила в Возраст. Так чаго стало для меня реальностью, и каким-то шестым чувством я поняла, что оно поглотит мой мир.

Пока я стояла, стараясь как-то вместить в себя все, что было или могло быть внутри этих цветных кругов, в стене башни отворилась дверь, и в клеть лифта вошел белый мужчина в вылинявших джинсах и превосходных ботинках «Тимберленд».

— Привет, Байрон, — сказал он и только потом заметил двух кенийских девочек. — А это кто такие?

— Меня зовут Тенделео, а это — моя сестра, — объяснила я. — Мы зовем ее Маленькое Яичко. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть чаго.

Кажется, мой ответ ему понравился.

— Меня зовут Шепард, и я исполнительный директор ЮНЕКТА, — представился он, пожимая нам руки (судя по акценту, Шепард тоже был американцем). — Это значит, что я мотаюсь по всему миру и ищу ответы на вопросы о чаго. Что это такое, откуда оно взялось и что нам теперь с ним делать...

— Ну и как, нашли хоть один? — спросила я. Шепард, казалось, слегка растерялся, и я почувствовала себя нахалкой и грубиянкой, но он сказал:

— Пойдем, я покажу вам одну штуку.

— Может, не стоит, Шеп?.. — сказал вампир-Байрон, но Шепард все равно повел нас в башню.

В комнате, куда мы попали, было столько белых (большинство — бородаты и одеты только в шорты), сколько я не видела за всю свою жизнь. На каждом столе стояло по компьютеру, но за ними никто не работал. Вазунгу* [Вазунгу *(суахили)* — белые люди, европейцы.] в основном сидели друг у друга на столах, очень быстро и много говорили и еще больше жестикулировали.

— Разве нам сюда можно? — спросила я на всякий случай.

Шепард рассмеялся. На протяжении всей экскурсии он относился к каждому моему слову так, словно оно слетело с уст старого мудрого м'зи, а не тринадцатилетней девчонки.

— Почему бы нет? — спросил он и повел нас в комнату, где компьютеры рисовали на круглых столах планы чаго: чаго сейчас, чаго через пять лет, чаго, когда оно встретится со своим братом с юга и они оба начнут поглощать Найроби сразу с двух сторон, точно два старика, повздоривших из-за стебля сахарного тростника.

— А что будет, когда и Найроби исчезнет? — спросила я.

На картах я видела названия всех городов и поселков, уже проглоченных чаго, но это меня не удивило. Как же иначе? Ведь названия не меняются! И я потянулась к тому месту на карте, где, по моим расчетам, должно было находиться Гичичи.

— Мы не можем заглядывать так далеко, — сказал Шепард.

Но я все думала о Найроби — огромном городе, который исчезнет под яркими красками чаго, словно втоптанная в ковер грязь. Человеческие жизни вместе с их прошлым превратятся в воспоминание, в ничто... И я поняла, что некоторые названия все же могут исчезать — даже названия таких больших вещей, как города и народы.

Потом мы спустились по крутым металлическим лестницам на другой этаж. Здесь в закупоренных контейнерах хранились образцы, добытые из самого чаго. В пробирках топорщились колонии изящных грибов, в стеклянной реторте лежало несколько голубоватых губчатых пальцев, цилиндрический резервуар размером с двухсотлитровую бочку сплошь зарос изнутри похожей на тесто зеленоватой массой. Некоторые контейнеры были настолько большими, что внутри мог свободно поместиться человек. Я увидела несколько таких исследователей — они были одеты в мешковатые белые костюмы, которые скрывали их целиком и соединялись со стенами шлангами и гибкими трубками. Глядя на них, трудно было сразу сказать, где люди, а где — чаго. Запертые за стеклом полосатые, странной формы листья диковинных растений выглядели едва ли не более естественно, чем специалисты ЮНЕКТА в своих странных костюмах. Чаго в своей прозрачной темнице было по крайней мере на своем месте, чего нельзя сказать о людях.

— Чаго надежно изолировано от окружающей среды, — сказал Шепард.

— Это потому, что если оно вырвется, то сразу начнет нападать и расти? — спросила я.

— Совершенно верно, — подтвердил он.

— Но я слышала, чаго не нападает на людей и животных, —

сказала я.

— От кого ты это слышала? — удивился Шепард.

— Мне папа сказал, — вежливо объяснила я. После этого вопросов он уже не задавал, а повел нас еще ниже, в отдел геодезии и картографии. Там мы увидели огромные, размером во всю стену, видеоизображения нашей планеты, передаваемые со спутников. Сейчас такие изображения знакомы буквально всем, но тогда они были в диковинку. Мы, дети, видели их только в учебниках, а среди поколения, к которому принадлежали мои родители, еще встречались люди, от души веселившиеся, когда им говорили, что Земля — шар и что она не висит ни на какой ниточке.

Я долго рассматривала изображения (на мой взгляд, это одна из тех вещей, которые становятся тем интереснее, чем дольше на них смотришь) и только потом заметила, что лицо мира сплошь покрыто точками, как у женщин из племени гириама. Под тонким слоем облаков вся Южная Америка, Южная Азия и мать Африка словно оспинами испещрены светлыми пятнышками, выделявшимися на фоне коричнево-зеленого ландшафта. Некоторые пятна были довольно большими, некоторые — крошечными, как пылинки, но все имели форму правильного круга. Глядя на один из них, разместившийся на восточном боку Африки, я поняла, что за болезнь поразила континенты. Чаго. И впервые я поняла, что это не только наша, кенийская беда. И даже не африканская. Весь мир был поражен чаго.

— Они все на юге, — заметила я. — На севере нет ни одного чаго!

— Как ни странно, над Северным полушарием действительно не отсеялся ни один из биоконтейнеров, — ответил Шепард, с уважением поглядев на меня. — Именно это дает нам основания полагать, что чаго все же можно остановить и что оно не покроет собой всю нашу Землю от полюса до полюса, а ограничится одним Южным полушарием.

— Почему вы так думаете?

— Мы не думаем. — Он пожал плечами. — Скорее надеемся.

— Надеетесь?

— Да.

— Мистер Шепард, — сказала я, — объясните, пожалуйста, почему чаго отнимает *наши* земли и дома и не трогает богатых людей на севере? Это несправедливо!

— Во Вселенной, детка, не существует такого понятия, как справедливость. Но ты, наверное, знаешь это лучше меня.

Потом мы перешли в отдел звездной картографии — еще одну просторную темную комнату, где на стенах мерцали тысячи

и тысячи звезд. Примерно на высоте моего лица звезды сливались, образуя широкую белую полосу, которая опоясывала всю комнату.

— Я знаю, что это, — сказала я. — Это Серебряная Река. Я видела такую картинку по телику у Грейс, пока они не увезли его с собой.

— Серебряная Река? Да, это она. Хорошее название.

— А где находимся мы? Земля? — спросила я.

Шепард подошел к стене возле двери и показал пальцем на крошечную звездочку где-то на уровне его колен. Она была обведена красным кружочком. Я думаю, что если бы не это, даже Шепард не смог бы отыскать наше Солнце среди окружающих звезд. То, что оно оказалось таким маленьким и обычным, мне не понравилось.

— А откуда взялось чаго? — спросила я.

Не отрывая пальца от изображения звездного неба, Шепард двинулся вдоль стены. Он дошел до угла, повернул и остановился, лишь добравшись до середины смежной стены. Его палец уперся в небольшой радужный завиток, похожий на язычок пламени.

— Ро* [Ро — семнадцатая буква греческого алфавита.] Змееносца. Это просто название, которое ничего не значит. Важно другое — то, что Ро находится очень, очень далеко от нас. Так далеко, что свету — а быстрее света ничто в природе двигаться не может — необходимо восемьсот лет, чтобы долететь до нас. Кроме того, Ро Змееносца не планета и даже не звезда, а огромное облако светящегося газа; мы называем подобные объекты туманностями.

— Как могут люди жить в облаке? — спросила я. — Разве они ангелы?

Это мое замечание рассмешило Шепарда.

— Не люди, — сказал он. — И не ангелы, а машины, механизмы. Не такие машины, какие мы знаем. Обитатели Ро Змееносца больше похожи на живые существа, только очень, очень маленькие. По своим размерам они меньше, чем самая маленькая клеточка твоего тела. Представь себе цепочку атомов, которые обладают способностью перемещать, компоновать окружающие атомы и таким образом копировать самих себя и все, что им захочется. Существует гипотеза, что эти облака газа есть не что иное, как триллионы триллионов этих микроскопических живых машин.

— То есть это не растения и не животные? — уточнила я.

— Нет, не растения и не животные.

— О такой гипотезе я еще не слышала, — сказала я. Она

казалась мне замечательно всеобъемлющей, почти гениальной, но думать о ней было все равно что смотреть на солнце — очень больно. И я стала разглядывать завиток туманности, раскрашенной так же ярко, как оспины на лике Земли, и крошечную белую точку у двери, которая дарила мне свет и тепло. По сравнению со всей комнатой и та, и другая казались просто ничтожными.

— А зачем этим машинам понадобилось лететь так далеко? Что им надо в нашей Кении? — спросила я.

— В том-то и вопрос... — сказал Шепард.

На этом наша экскурсия закончилась. Очевидно, мы осмотрели все, что специалистам ЮНЕКТА разрешалось показывать посторонним, потому что из комнаты со звездами Шепард повел нас в помещения, где сотрудники базы ели, спали, смотрели телевизор и видео, пили алкоголь и кофе или, одевшись в нескромные костюмы, занимались на тренажерах, что, похоже, нравилось им больше всего. В коридорах мы то и дело встречали голоногих, нескладных, как щенки, молодых мужчин, идущих в спортзал или из него.

— Здесь пахнет вазунгу, — заявила Маленькое Яичко, не подумав о том, что этот м'зунгу* [М'зунгу *(суахили)* — вождь.] может знать суахили лучше, чем Байрон. Но Шепард только улыбнулся.

— Мистер Шепард, — сказала я, — вы не ответили на мой вопрос.

Сначала он удивился, но потом вспомнил.

— А-а, что такое чаго и прочее... Этого я не знаю — не знаю даже, как лучше взяться за поиск ответов. А какой вопрос считаешь самым главным ты?

Десятки новых вопросов тотчас пришли мне на ум, но ни один из них не был таким важным и правильным, как тот, который я уже задавала.

— Мне кажется, единственный важный вопрос, от которого зависит все остальное, это вопрос о том, могут ли люди жить внутри чаго.

Шепард отворил дверь, и мы вышли на металлическую платформу, нависавшую над одной из тракторных упряжек.

— Это и есть тот вопрос, который нам даже обсуждать не разрешается, — сказал он, когда мы поравнялись с лестницей-трапом.

Итак, можно было подвести первые итоги нашей дерзкой вылазки. Мы увидели чаго. И еще мы увидели наш мир, и наше будущее, и наше место между звездами. Быть может, эти вещи были слишком большими для двух деревенских девочек-

подростков, но не думать о них мы не могли — не имели права, потому что в отличие от большинства вазунгу найти ответы нам было необходимо.

Снова очутившись на твердой земле, где звенели бензопилы и пахло гарью от множества работающих дизелей, мы поблагодарили доктора Шепарда. Казалось, он был тронут. Судя по всему, на базе он пользовался достаточной властью. Одно его слово — и вот уже юнектовский «лендровер» везет нас домой. Мы были так взволнованы увиденным, что позабыли попросить водителя высадить нас не доезжая Гичичи, чтобы пройти остаток пути пешком. Так мы и въехали в поселок по главной дороге, промчавшись в облаке пыли мимо лавки Харана, мимо авторемонтной мастерской и мимо мужчин с газетами, которые именно в этот час выходили посидеть в тени под деревьями.

Потом «лендровер» уехал, а мы остались лицом к лицу с отцом и мамой. Объяснение было тяжелым. Отец увел меня к себе в кабинет. Я стояла. Он сел. Достал свою Библию на языке календжи, которую епископ подарил ему в день рукоположения, чтобы отец всегда мог иметь под рукой слово Божье на своем родном языке, и положил ее на стол между нами. Отец сказал, что я обманула его и мать и сбила с пути истинного Маленькое Яичко. Он обвинил меня во лжи и воровстве. «Это не Бога ты обокрала, — сказал он про деньги, которые я взяла из церковных сборов, — а тех людей, с которыми ты каждый день встречаешься на улице, вместе с которыми каждое воскресенье молишься и поешь в церкви. Ты подвела их», — вот как он сказал.

Все эти обвинения отец произнес очень спокойно, он даже ни разу не повысил голос, и я готова была рассказать ему обо всем, что с нами произошло. Все эти вещи я хотела предложить ему, так сказать, в обмен: да, я совратила сестру, я лгала, обманывала, обокрала христианскую общину Гичичи, но зато я многое узнала. Я видела наше Солнце, затерявшееся среди миллионов других звезд. Я видела, что наш мир, который Бог якобы создал совсем особенным, на самом деле так мал, что его едва можно разглядеть среди остальных миров. Я видела, как люди, которых Бог возлюбил настолько, что умер за их грехи, пытаются понять живые машины, каждая из которых меньше, чем бактерия, но которые вместе образуют облако столь большое, что пересечь его из конца в конец можно лишь за несколько световых лет. Я хотела сказать отцу, что это путешествие не прошло даром и что я узнала, насколько сильно многие вещи отличаются от наших представлений о них, но не успела, потому что он сделал невероятную вещь. Он встал. И ударил меня по лицу — ударил, не сказав ни слова, без всякого предупреждения или другого

знака. Я упала на пол, больше от неожиданности, чем от удара.

А потом папа сделал другую невероятную вещь. Он снова сел за стол, обхватил голову руками и заплакал. Это настолько испугало меня, что я выбежала из кабинета и бросилась к матери.

— Он боится, — сказала мама.

— Но ведь у папы есть церковь, есть его пасторский воротничок. Библия — что же могло так его напугать?

— Ты, — ответила мама.

Этот ответ потряс меня едва ли не сильнее, чем удар по лицу, и мама спросила, помню ли я, как после собрания в церкви отец сел на мотоцикл и куда-то уехал на целую неделю. Я сказала, что да, помню.

— Он ездил на юг, к самому Найроби и даже дальше. Он ездил, чтобы взглянуть на то, чего боялся, как это сделала ты. И он увидел, что даже вера не поможет ему победить чаго.

Отец сидел в своем кабинете довольно долго. Потом он вышел в гостиную, встал передо мной на колени и попросил простить его. Он сказал, что это библейское правило, которого он старается придерживаться. Но хотя библейские принципы по-прежнему жили в его сердце, в тот день отец как будто немножечко для меня умер. Впрочем, что такое жизнь, как не вереница смертей и перевоплощений в новые вещи и понятия?

Между тем дом за домом Гичичи тоже понемногу умирал. Когда над кронами деревьев на перевале показались верхушки самых высоких шпилей чаго, в поселке оставалось не больше двадцати семей.

В тот же день, вскоре после рассвета, на шоссе появились потрепанные юнектовские грузовики русского производства, ныне принадлежащие суданской армии. Небрежно раскрашенные и грязные, они ревели моторами и выплевывали черный дым. Когда грузовики остановились и из них стали выпрыгивать чернокожие солдаты, мы очень испугались, потому что нам приходилось слышать о том, как жестоко одни африканцы могут поступать с другими африканцами. Не доверяла я и их офицеру — он был слишком худым, а на его выбритом черепе красовалась странная вмятина, похожая на лунный кратер.

По его приказу все оставшиеся жители поселка собрались на площади у церкви, их пожитки были свалены тут же. У нас оказалось двенадцать завязанных в канга тюков. Я держала в руках радиоприемник, а отцовские книги были связаны бечевкой и навьючены на бензобак красного мотоцикла.

Офицер с проломленной головой взмахнул рукой, и первый грузовик подъехал к нам задним ходом. Из кузова выпрыгнул солдат. Поставив на землю складной пляжный стульчик, он

уселся на него и достал карандаш и блокнот. Первыми грузились Кариа, которые были одними из самых дисциплинированных отцовских прихожан. Посадив в кузов детей, взрослые стали передавать им узлы с вещами. Солдат внимательно наблюдал за ними, делая какие-то пометки в блокноте. Потом он покачал головой.

— Очень много лишнее, — проговорил он на плохом суахили. — Что-то придется оставлять.

Мистер Кариа нахмурился, поглядел в кузов, где еще оставалось довольно много места, и поднял с земли узел с одеждой.

— Нет, нет, нет! — быстро сказал солдат и, встав со стула, постучал карандашом по их телевизору. Подошел другой солдат и, взяв телевизор из рук ошеломленного мистера Кариа, отнес его в грузовик, который стоял на обочине дороги. Мы сразу поняли, что это был «оброчный» грузовик для «лишних», с точки зрения солдат, вещей.

— Теперь садиться, — приказал солдат и черкнул что-то в блокноте.

Да, именно так все и происходило. Это был самый настоящий грабеж средь бела дня. Жаловаться было некому. Мы даже не пытались протестовать.

Нам пришлось расстаться с мотоциклом. От негодования лицо отца словно окаменело — он не выносил, когда попирались законы Божий, однако мотоцикл он отдал без звука. Офицер взял машину за руль и укатил в сторону, где возле небольшого костра-дымокура сидели на корточках несколько солдат. Сразу было видно, что мотоцикл им очень понравился. Солдаты вскочили и принялись рассматривать его и тыкать пальцами в двигатель. До сих пор, когда я слышу шум мотора «ямахи», я оборачиваюсь, чтобы увидеть вора, который ездит на нашем красном мотоцикле.

— Давай, давай, — поторапливал мытарь.

— Моя церковь! — спохватился отец и выпрыгнул из кузова на землю. Тут же на него оказалось направлено не меньше дюжины «Калашниковых». Отец поднял руки, потом оглянулся на нас.

— Идем со мной, Тенделео. Я хочу, чтобы ты тоже это увидела.

Офицер чуть заметно кивнул. Автоматы опустились, и я вылетела из грузовика. Отец взял меня за руку, и мы зашагали к церкви.

Войдя внутрь, мы немного постояли на пороге, потом медленно двинулись по проходу. На скамейках еще лежали молитвенники, а на полу перед кафедрой были расстелены

новенькие яркие циновки, но отец даже не посмотрел на них. Отперев еще одну маленькую дверцу, он привел меня в ризницу, откуда я когда-то украла деньги. Темная и тесная комнатка — свидетельница моего преступления — хранила и другие мрачные тайны. Из шкафчика для церковных облачений отец достал помятую красную канистру с бензином и отнес ее к престолу. Взяв в руки чашу, он вознес благодарение Богу, потом наполнил ее бензином и повернулся лицом к алтарю.

— Кровь Христова да сохранит тебя для вечной жизни! — нараспев продекламировал отец и выплеснул бензин на белое непрестольное покрывало. Не успела я опомниться, как он уже поджег его, и я отскочила от яростной вспышки желтого пламени. На мгновение мне показалось, что отец вознесся на небо вместе с огненными языками, и я вскрикнула. Но он повернулся ко мне, и я увидела: пламя беснуется позади него.

— Теперь ты понимаешь? — спросил отец.

Я понимала. Иногда лучше самому уничтожить дорогую тебе вещь, а не ждать, чтобы ее у тебя отняли и сделали чужой.

Когда мы вернулись к грузовику, из-под крыши церкви уже вовсю валил дым, а из окон выбивалось пламя. Суданцев пожар почти не заинтересовал. Наш Бог был для них чужим, и они смотрели на гибнущую церковь лишь потому, что огонь и разрушение всегда привлекают солдат.

Когда колонна уже трогалась, старик Гикомбе, который стал слишком дряхлым и глупым, чтобы уехать со всеми, решил опробовать на суданских грузовиках свой излюбленный трюк. Раз за разом он садился на землю перед очередной машиной, солдаты оттаскивали его в сторону, но Гикомбе снова возвращался на дорогу. Суданцы проявили поистине евангельское терпение, однако искушать судьбу слишком долго не позволено было даже Гикомбе. Водитель следующего за нашим грузовика просто не заметил одетую в пыльные лохмотья фигурку, мелькнувшую перед капотом. Машина рывком тронулась с места, раздался короткий крик, Гикомбе упал и был раздавлен тяжелыми колесами.

Уже когда мы ехали по шоссе, ветер, дувший со стороны чаго, донес до нас горький запах дыма от догорающей церкви. Христианская община Гичичи перестала существовать.

Я часто думаю, что время превращает все в свою противоположность. Юность в старость, невинность в опыт, уверенность в неопределенность. Жизнь в смерть. Время превратило Найроби в чаго задолго до того, как наступил конец. Десять миллионов человек сгрудились в лачугах, окружавших башни делового центра. И каждый день, каждый час прибывали

все новые и новые беженцы — с юга и севера, из долины Рифт и Центральной провинции, из Ибисила и Найваси, из Макинду и Гичичи.

Когда-то Найроби был красивым городом. Теперь он превратился в один большой лагерь для беженцев. Когда-то здесь зеленели обширные парки. Теперь между похожими на огромные ящики домами тянулись лишь пыльные пустыри. Все деревья были вырублены на дрова. Деревеньки вырастали вдоль дорог, а также на стадионах и спортивных площадках, как растут вдоль побережий коралловых островов кучи мусора и отбросов. Вооруженные патрули ежедневно очищали от самовольных поселенцев последние две полосы местного аэропорта. Железная дорога, перерезанная чаго на юге и на севере, давно не действовала, и около десяти тысяч человек ютились в заброшенных Басонах, пакгаузах и между рельсами на путях. Национальный парк превратился в огромную пыльную котловину — деревья пошли на дрова и на строительство лачуг, а животные разбежались или были съедены. Над городом день и ночь висел смог, состоявший из дыма, дизельных выхлопов и испарений сточных канав. Ширина пояса трущоб вокруг города достигала местами двух десятков километров. Чтобы добыть воду, приходилось совершать полуторачасовое путешествие, да и та часто оказывалась грязной, вонючей, едва пригодной для питья. Несмотря на это, найробский бидонвиль рос, как наго, не по дням, а по часам. В дело шло буквально все: пластиковая пленка, парусина, картонные коробки, остовы старых матату, краденые кирпичи, мешковина, жесть. Казалось, город и чаго тянутся друг другу навстречу, с каждым днем становясь все более похожими.

О тех первых днях, проведенных в Найроби, я мало что помню. Слишком много всего произошло за этот короткий промежуток времени, и мое ощущение реальности притупилось. Чиновники, записывавшие наши имена, семьи, которые, сидя на корточках, молча смотрели на нас, пока мы бродили вдоль рядов белых палаток, отыскивали свой номер, не вызывали ни страха, ни протеста. Все это было нам навязано, и мы подчинились новому порядку вещей, не рассуждая. Во всяком случае, так было со мной. Я запомнила только, что у меня все время звенело в ушах. Так бывает, когда хочется заплакать, но не можешь выдавить ни слезинки.

По злой иронии судьбы лагерь, куда мы попали, носил имя Святого Иоанна — как наша церковь в Гичичи. Лагерь был из новых и располагался к югу от Найроби, неподалеку от бывшего когда-то международным аэропорта. Наш номер был 1832. Один номер на всех, одна палатка, одна керосиновая лампа, одно

пластмассовое ведро для воды, один половник недоваренного риса к завтраку, обеду и ужину. На каждые сто палаток полагалась одна водоразборная колонка. На каждые сто палаток — одна выгребная яма. Мимо нашей двери тек настоящий ручей нечистот. Вонь стояла такая, что спать было совершенно невозможно, но еще хуже был холод. Старая тонкая палатка совсем не защищала, и, как мы ни кутались в одеяла, холод пробирал до костей. Бывало, мы дрожали ночи напролет, не в силах сомкнуть глаз. Удивительно, но никто не плакал — должно быть, никому не хотелось начинать первым. Не давал уснуть и шум — то гудел моторами большой самолет, то в соседних палатках начинали кричать или драться. А в самую первую ночь где-то поблизости раздались еще и выстрелы. Стрельбы я раньше не слышала, но сразу поняла, что это такое.

В Святом Иоанне мы перестали быть влиятельными людьми. Теперь мы вообще были никем и ничем. Пасторский воротничок отца не вызывал у окружающих никакого уважения. Когда он в первый раз пошел к колонке за водой, какие-то молодчики избили его и отняли пластиковое ведро. С тех пор он перестал надевать воротничок. А вскоре и вовсе перестал выходить из палатки. Целыми днями он сидел в дальнем углу, слушая радио или глядя на свои книги, которые валялись у стены, по-прежнему связанные бечевкой. Со дня нашего отъезда из Гичичи он ни разу к ним не прикоснулся.

Сейчас я думаю, что именно лагерь Святого Иоанна источил, разрушил последние скрепы, на которых держалась душа моего отца, и если бы спасение немного запоздало, он мог бы сойти с ума. А в Святом Иоанне это означало смерть. Каждый день, когда я ходила за едой к продовольственному грузовику, я видела много таких доходяг, которые сидели перед своими палатками и, держась за пальцы ног, глядели в пыль перед собой или, бессмысленно мыча, раскачивались из стороны в сторону.

Мы прожили в лагере уже пятнадцать дней (я знала это точно, потому что отмечала каждый прошедший день обгорелой спичкой на стене палатки), когда снаружи раздался шум подъехавшей машины и чей-то голос прокричал:

— Джонатан Би! Кто-нибудь знает, как найти пастора Джонатана Би?

Думаю, отец удивился бы куда меньше, если бы за ним явился сам Иисус Христос. Но нашим спасителем оказался пастор Стивен Элезеке, возглавлявший приход Воинствующей Церкви на шоссе Джогуру. С моим отцом он подружился в теологическом колледже, где они играли в футбол в одной команде. Мой отец был крестным детей пастора Элезеке, а пастор, в свою очередь,

был моим крестным отцом, хотя я в этом не уверена. Как бы там ни было, он усадил нас в белый микроавтобус «ниссан», на одном борту которого было начертано «Хвалите Его со звуком трубным», а на другом «Хвалите Его на псалтири и гуслях». Потом мы тронулись, и пастору Элезеке пришлось много раз сигналить группам подростков и молодых мужчин, которые глядели на «паршивых церковников» чуть ли не с ненавистью и не спешили уйти с дороги.

Пастор Элезеке объяснил, что нашел нас через компьютерную сеть. Оказывается, крупные церкви уже давно разыскивали своих священнослужителей в списках эвакуированных. Пастор Би оказался одним из них.

Так мы перебрались на шоссе Джогуру. Когда-то, еще до Независимости, здесь был расположен крупный учебный центр, включавший, помимо всего прочего, вполне современный двухэтажный жилой корпус. Он, конечно, уже давно был переполнен, и на каждом свободном клочке стояли палатки и деревянные хижины. Для нас, впрочем, нашлись две комнатки позади слесарной мастерской. Они были удобными, но слишком маленькими, к тому же, когда в мастерской начинались какие-то работы, у нас становилось довольно шумно. Но и это было намного лучше, чем лагерь Святого Иоанна, к тому же мы давно не верили, что где-то существует такая вещь, как укромный тихий уголок. Об уединении пришлось забыть навсегда.

Сердцем прихода Воинствующей Церкви был небольшой белый храм, имевший форму барабана и крытый соломой. Палатки и навесы беженцев окружали его со всех сторон, но держались на почтительном расстоянии. Храм оставался святыней. Одни приходили сюда молиться, другие — просто поплакать вдали от близких, чтобы не заразить их своими слезами, которые в этом отношении были еще хуже дизентерии. Частенько посещал храм и мой отец.

Несколько раз я собиралась подслушать, молится он там или плачет, но так и не решилась сделать это. Что бы ни искал в церкви отец, он так и не стал цельным человеком, каким был когда-то.

Тем временем мама пыталась воссоздать на шоссе Джогуру новый Гичичи. За жилым корпусом было небольшое поле, покрытое засохшей травой, вдоль дальнего края которого тянулись открытая сточная канава и забор из колючей проволоки, отделявший поле от шоссе. Сразу за шоссе находился давно закрытый универсальный магазин «Джогуру-роуд» (это название было написано краской на проржавевшей жестяной крыше), все пространство позади которого было занято хижинами-

развалюхами, палатками, землянками, как назывались у беженцев неглубокие ямы, кое-как прикрытые картоном или кусками пластика. В этих трущобах люди жили буквально друг у друга на головах, но на землю Воинствующей Церкви никто, как ни странно, не покушался.

И вот мама нашла несколько женщин, которые, как и она, загорелись идеей превратить поле в шамбу. Пастор Элезеке дал свое благословение, и женщины, смастерив мотыги из кузова старого автомобиля, взрыхлили землю и посадили маис и сахарный тростник.

В то лето мы с волнением наблюдали, как растет будущий урожай, а тем временем лачуги бидонвиля все ближе подступали к шоссе, все теснее смыкались вокруг магазина, который вскоре исчез, разобранный на крыши и заборы.

Но до шамбы обитатели трущоб так и не добрались. Казалось, что-то ее охраняет. Работая, женщины смеялись, пели под радиоприемник, сплетничали, а Маленькое Яичко и девочки помоложе гоняли палками крупных крыс, живших в сточной канаве. Но однажды я увидела на краю поля чашечки с пивом и блюдечки с маисовыми зернышками и поняла, кто охраняет наши посевы.

Мама старательно делала вид, будто мы снова живем в Гичичи, но я хорошо видела, что это не так. В Гичичи мужчины не выстраивались вдоль проволочной ограды и не глазели на нас столь бесстыдно. В Гичичи военные вертолеты не кружили над нашими головами, словно стервятники. В Гичичи ярко раскрашенные матату, стремительно носившиеся по шоссе, не были вооружены тяжелыми пулеметами, установленными прямо на крыше, и там не сидели подростки в спортивных костюмах, которые делали вид, будто все вокруг принадлежит им. Эти вооруженные банды — Молодые Шакалы, как их еще называли — появились в Найроби недавно. Состояли они в основном из молодых мужчин и подростков, некоторым из которых только-только исполнилось двенадцать, однако у них были и машины, и оружие, и даже подобие формы. Банды эти присваивали себе громкие названия, например: «Черные носороги», «Черные симба», «Эбеновые мальчики», «Объединенный христианский фронт» и «Черные талибы». Слово «черный» явно нравилось им больше всего...

Сколько названий, столько же было верований и даже политических взглядов, однако всех Шакалов объединяло одно: все они контролировали какой-то определенный район, регулярно патрулировали «свои» улицы и вводили свои законы. Подчинения они добивались, стреляя непокорным в коленную

чашечку или сжигая их автомобили. Свои улицы Шакалы защищали от посторонних с помощью АК-47. Мы все знали, что, когда придет чаго, банды будут драться над трупом Найроби, как настоящие шакалы или гиены.

Наша местная банда называлась «Футболисты». Они тоже носили спортивные костюмы, длинные, до колен, тренерские куртки и рисовали на бортах своих пикни, как назывались вооруженные пулеметами матату, эмблему городской футбольной команды. На их зеленого цвета знамени был изображен шар, составленный из черных и белых шестиугольников, однако, несмотря на название банды, это не был футбольный мяч. Так схематически изображалась «сфера Бакминстера», или молекула фуллерена — ароматического углеродного соединения, являвшегося наполовину живым, наполовину механическим «кирпичиком», из которых состояло вещество чаго. Предводитель «Футболистов», похожий на крысу парень в куртке с эмблемой «Манчестер юнайтед» и темных очках, то и дело сползавших ему на кончик носа, недолюбливал христиан, поэтому по воскресеньям «Футболисты» садились в пикни и с шумом и стрельбой носились туда и сюда по шоссе Джогуру.

Но это было почти все, на что они оказались способны. Как выяснилось, Воинствующая Церковь имела свои планы на будущее, обещавшее стать временем великих перемен. Однажды поздно вечером я вышла по нужде и вдруг услышала, что из кабинета пастора Элезеке доносятся голоса. Один из них принадлежал моему отцу. Выключив фонарик, я подкралась поближе к закрытому жалюзи окну.

— Нам нужны такие люди, как ты, Джонатан, — говорил пастор Элезеке. — Я думаю, мы делаем Божье дело. Именно теперь у нас появился шанс построить настоящее христианское общество.

— Но ты не можешь знать наверняка.

— Молодые Шакалы...

— Они — грязь. Стервятники.

— Выслушай меня, Джонатан. Они, конечно, не подарок, но дело не в этом. Я знаю, что кое-кто из них ходит в захваченные чаго зоны, несмотря на все карантины. Американцы очень интересуются тем, что там происходит, и готовы платить любые деньги за «сувениры» из пораженных районов. Конечно, тот, кто подрабатывает таким способом, кое-что рассказывает. Я некоторое время собирал эти сведения, и, надо сказать, картина получается весьма любопытная. Похоже, на самом деле чаго совсем не такое, как мы думаем, вернее — как нам говорят. Оно совсем, совсем другое, Джонатан. Представь себе растения-

машины, способные производить электрический ток, очищать воду, служить убежищем, давать лекарства и готовый текстиль. И знания... Говорят, там есть устройства размером с мой большой палец, которые передают информацию непосредственно в мозг. Более того — в тех краях живут люди. Это не дикари и не беженцы. Да, чаго изменило их, изменило по своему образу и подобию, но зато местные научились использовать его. Оказывается, человек все же может заставить чаго работать на себя! У подножия Килиманджаро существуют целые поселки — поселки, Джонатан! — в которых живет много таких людей, и я уверен, что это — зародыш нового, более совершенного общества, которое настолько близко к идеалу, насколько это вообще возможно. Или, вернее, вообразимо...

Последовала долгая пауза.

— Это правда, Джонатан. Если угодно — просто другой способ остаться человеком.

— К сожалению, здесь я тебе не помощник, брат мой, — ответил мой отец и вздохнул.

— Не хочешь объяснить почему?

— Хочу, — ответил отец так тихо, что мне пришлось подойти к окну вплотную. — Потому что я боюсь, Стив. Чаго отняло у меня все, но ему этого мало. Оно успокоится только тогда, когда заберет меня, изменит, сделает чужим самому себе.

— А как же твоя вера, Джонатан?

— Веру оно отняло в первую очередь.

— Ох!.. — Пастор Элезеке тоже вздохнул. Потом после непродолжительного молчания сказал: — Только помни, Джонатан: здесь тебе всегда будут рады.

— Спасибо, Стив. И все равно я ничем не могу тебе помочь.

Тем же вечером или, точнее, уже ночью я впервые вошла в белый храм Воинствующей Церкви, чтобы раз и навсегда выяснить отношения с Богом. Храм был очень красив; в нем была даже внутренняя стена — настолько длинная, что, прежде чем попасть внутрь, мне пришлось обойти храм чуть ли не кругом. Наконец я села на переднюю скамью и задумалась, с чего начать и как начать. Взгляд мой случайно упал на крест над престолом, и самый вид его неожиданно рассердил меня, хотя другому человеку эта картина показалась бы прекрасной и возвышенной. Крест был строг и прям, как сама истина, и ему не было дела ни до кого, ни до чего.

Некоторое время я сидела неподвижно, мрачно разглядывала его. Наконец я набралась храбрости и спросила:

— Так ты говоришь, ты и есть ответ? *Я — ответ,* сказал крест.

— Мой отец раздавлен страхом — страхом перед чаго, перед будущим. Он боится умереть и боится жить. Каков же твой ответ?

Я — ответ.

— Мы стали беженцами, мы живем на подачки проклятых вазунгу, моя мать выращивает маис, а моя сестра жарит его и продает у шоссе. Где же ответ?

Я — ответ.

— Существо с другой планеты отняло у нас все, что мы имели. Но оно хочет еще больше, и ничто, ничто не может ему помешать. Как остановить его? Скажи, где найти ответ?

Я — ответ.

— Ты утверждаешь, что ты — единственный ответ на любой вопрос, который только может задать человек, но что это значит? Каков ответ на твой ответ?

Я — ответ, сказал со стены молчаливый, строгий крест.

— Это не ответ! — заорала я. — Ведь ты даже не понимаешь, о чем тебя спрашивают, как же ты можешь быть ответом? Какая в тебе сила?! Никакой. Ты ничего не можешь. Моим близким нужна я, а не ты, и я сделаю то, на что ты не способен!

Я вышла из храма спокойно, не торопясь. От богов, в которых больше не веришь, не убегают. Я шла, не замечая людей, которые глядели на меня во все глаза.

На следующий день я отправилась в Найроби искать работу. В целях экономии пришлось идти пешком. По дороге мне попадались одни мужчины — они прогуливались с друзьями, собирались группами на обочинах шоссе, продавали самодельные угольные жаровни из листовой жести или батарейные лампы, мастерили что-то из старых покрышек и ржавых металлических деталей, сидели на корточках у дверей своих хижин. Где-то должны быть и женщины, но я не видела ни одной, и мне стало не по себе. Мужчины откровенно ощупывали меня взглядами, и у всех без исключения были глаза жителей трущоб — глаза, которые замечают только то, что можно использовать. К счастью, я выглядела слишком оборванной, чтобы меня грабить, и слишком тощей, чтобы вызвать желание, и все же я почувствовала себя в относительной безопасности, только когда по обеим сторонам дороги выросли многоэтажные башни городского центра, а навстречу стали попадаться желто-зеленые автобусы и юркие белые ооновские машины.

Сначала я отправилась к служебному входу крупного отеля.

— Я умею чистить фрукты и овощи, убирать и обслуживать постояльцев, — сказала я одному из помощников шеф-повара, одетому в грязную белую куртку. — Я не боюсь тяжелой работы и не ворую. Мой отец — священник.

— Таких, как ты, сюда приходит тысяч по десять в день, — ответил повар. — А ну, брысь отсюда!

Потом я отправилась к зданию Си-эн-эн, что с моей стороны, безусловно, было большой наглостью. Проскользнув в здание вслед за курьером-мотоциклистом, я подошла к миловидной негритянке-луо, сидевшей в приемной за конторкой.

— Я ищу работу, — сказала я. — Любую работу. Я все умею: могу заварить чай, работать на ксероксе, знаю основы бухгалтерии. Кроме того, я хорошо говорю по-английски и немножко по-французски. А если я чего-то не понимаю, то быстро научусь.

— Вакансий нет, — ответила луо. — И не будет. Пойми для начала это.

И я отправилась по китайским лавкам на авеню Мой.

— Работа? — переспрашивали торговцы. — Ты что, не видишь, что торговля и так идет еле-еле. Мы не можем прокормить даже собственные семьи, не говоря уже о всяких беженцах из глубинки.

Тогда я пошла к оптовикам с Кимати-стрит и городского рынка, но везде получала один и тот же ответ: экономика полетела к чертям, а значит, нет ни торговли, ни работы. Я попытала счастья у лоточников и бродячих торговцев, продававших всякую рухлядь с расстеленных прямо на мостовой кусков брезента, однако от их сквернословия и бесстыдства меня скоро замутило, и я отправилась дальше. Пройдя километров пять вдоль шоссе Угуру, я добралась да штаба ООН в Восточной Африке, размещавшегося в те времена на бульваре Хироно, но часовой у ворот даже не взглянул на меня. Машины и броневики он видел, а вот своих соплеменников не замечал в упор. Проторчав там час, я побрела восвояси.

На обратном пути я по ошибке свернула не на ту улицу и оказалась в районе, который был мне совершенно незнаком. Здесь вдоль улиц тянулись угрюмые двухэтажные дома, в которых когда-то помещались небольшие магазинчики, но сейчас часть из них была сожжена, а остальные стояли заколоченными или были закрыты тяжелыми стальными жалюзи. Поперек улицы тянулись от дома к дому тяжелые кабели, собиравшиеся петлями на провисших несущих тросах. Несколько раз я слышала далекие голоса, но так и не встретила ни единой живой души.

Вскоре я поняла, что голоса доносятся из аллеи, проложенной вдоль задних стен магазинов. Казалось, там собрались все жители района, и я подумала, что не видела такой толчеи даже в лагере Святого Иоанна. Люди стояли чуть ли не вплотную друг к другу, они то двигались в какую-то одну

сторону, словно грозовое облако, то топтались на месте, колыхаясь, словно волна. От крика и шума множества голосов у меня сразу заложило уши. В конце аллеи я рассмотрела большой автомобиль, блестевший так, что глазам было больно, и на крыше его стоял какой-то человек. К нему со всех сторон тянулись десятки, сотни рук, будто все эти люди поклонялись ему как божеству.

— Что происходит? — прокричала я, надеясь, что кто-нибудь услышит меня за шумом. Толпа снова качнулась вперед, но я стояла твердо, отказываясь двинуться с места, пока не выясню, в чем дело.

— Работа! — крикнул в ответ бритый наголо молодой парень. Он был на редкость тощим: наверное, страдал от хронического недоедания. Увидев мою озадаченную гримасу, он пояснил: — Ватекни* [Ватекни *(суахили)* — букв.: технари, технические сотрудники.], поденная работа по обработке информации. ООН считает всех жителей этой страны дерьмом, но мы достаточно умны, чтобы рассчитывать их налоговые декларации.

— И хорошо платят?

— Хорошо, что вообще платят.

Тут толпа качнулась снова, и на этот раз я двинулась вместе с ней. Сзади к нам подъехал второй автомобиль, и толпа, развернувшись, словно стая птиц, сама толкнула меня к открывшейся дверце. Оттуда вылез крупный мужчина и несколькими взмахами кулака расчистил место для агента-нанимателя. Это был низкорослый лухья в длинном белом джелябе и солнцезащитных очках-экране армейского образца. Губы его были брезгливо сжаты. Оглядев толпу, он взмахнул пачкой зажатых в кулаке бумажных карточек. Машинально я протянула руку, и он не глядя сунул мне карточку. На карточке было написано только одно слово: НИМЕПАТА.

— Пароль на сегодняшний день, — подсказал мне тот же бритый парень. — Без него не войдешь в систему.

— Туда, туда! — рявкнул один из охранников, указывая на старый автобус, остановившийся в другом конце аллеи.

Я побежала к автобусу, чувствуя, что сотни людей гонятся за мной по пятам. У дверей автобуса стоял еще один крепкий, высокий мужчина.

— Какие языки знаешь?

— Я знаю английский и немного французский, — выпалила я.

— Ты что, шутить сюда пришла, девка? — прорычал высокий. Выхватив у меня карточку, он с такой силой толкнул меня руками в грудь, что я упала.

И увидела совсем близко десятки, сотни ног, готовых

сокрушить, растоптать меня. Инстинкт спас меня — я покатилась по земле, нырнула под автобус и вылезла с другой стороны.

Я бежала, не останавливаясь, до тех пор, пока не выбралась из квартала ватекни и не оказалась на улицах, по которым ходили нормальные люди. Я так и не увидела, получил ли карточку мой тощий приятель. Впрочем, я надеялась, что ему повезло.

«Требуются исполнители песен» — гласило объявление, висевшее у подножия выходившей прямо на улицу длинной лестницы. Что ж, подумала я, раз на рынке информационных технологий мои знания и умения не нужны, придется поискать другой рынок.

И я стала подниматься по ступенькам. Они привели меня в комнату настолько темную, что я даже не сразу поняла, большая она или маленькая. В воздухе густо пахло табачным дымом, пивом и жареной кукурузой. И мужчинами — их запах я научилась различать довольно отчетливо.

— На вывеске написано — вам нужны певицы, — сказала я в темноту.

— Проходи. — Мужской голос, раздавшийся в ответ, был очень низким, прокуренным, хриплым. Я ощупью двинулась вперед. По мере того как мои глаза привыкали к темноте, я начала различать столы с перевернутыми стульями на них, барную стойку, низкую эстраду в углу. За одним из столиков я разглядела несколько темных фигур и мерцающие огоньки сигарет.

— Что ж, давай попробуем.

— Где? — спросила я.

— Здесь.

Я взобралась на эстраду. Откуда-то из угла ударил мощный луч света, мгновенно ослепивший меня.

— Сними рубаху.

Поколебавшись, я расстегнула пуговицы кофточки, сбросила ее на пол и выпрямилась, прикрывая груди руками. Мужчин я рассмотреть по-прежнему не могла, но чувствовала на себе их жадные, трущобные взгляды.

— Да не стой ты, как христианская девственница, — сказал тот же голос. — Дай нам посмотреть товар.

Я опустила руки. Те несколько секунд, что я стояла на сцене в серебряном свете прожектора, показались мне часами. Наконец я осмелилась спросить:

— Разве вы не хотите послушать, как я пою?

— Ты можешь петь, как ангел, детка, — был ответ, — но если у тебя нет сисек...

Я подобрала с полу кофточку и, просунув руки в рукава, принялась застегивать пуговицы. Одеваясь, я испытывала куда больший стыд, чем когда раздевалась. Потом я осторожно сползла со сцены. Мужчины в темноте смеялись и переговаривались вполголоса. Когда я была уже около двери, хриплый голос снова окликнул меня:

— Как насчет того, чтобы сбегать с поручением, детка?

— С каким?

— Нужно срочно отнести вот эту штуку на соседнюю улицу.

В свете, падавшем из приоткрытой двери, я увидела пальцы, сжимавшие небольшую, плотно закупоренную стеклянную пробирку.

— На соседнюю улицу?

— В американское посольство.

— Я знаю, где это, — соврала я.

— Отлично. Отдашь пузырек одному человеку.

— Какому?

— Спроси у охранника на воротах — он знает.

— Но как он поймет, кто я?

— Скажешь ему, что тебя прислал брат Дуст.

— А сколько брат Дуст мне заплатит?

Мужчины снова рассмеялись.

— Достаточно.

— Из рук в руки?

— Другого способа я не знаю.

— Договорились.

— Вот и умница. Эй!

— Что?

— Разве ты не хочешь узнать, что это такое?

— Разве ты мне скажешь?

— Это фуллерены. Фуллерены из чаго, понятно? Споры чужого мира. Американцы их покупают. Они нужны им, чтобы создавать всякие вещи из... буквально из ничего. Ты что-нибудь поняла?

— Кое-что.

— Ну и хорошо. И последнее...

— Да?

— Ты не должна нести пузырек ни в руках, ни в кармане. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Думаю, что да.

— За сценой есть раздевалка. Можешь зайти туда.

— О'кей. А можно еще один вопрос?

— Валяй.

— Эти фуллерены из чаго... Что будет, если они вырвутся из

флакона там, внутри?

— Можешь думать, что чаго никогда не трогает живую плоть, если так тебе будет спокойнее. Кстати, возьми, тебе будет легче... — В воздухе мелькнул какой-то предмет. Я протянула руку и поймала его на лету. Это оказался тюбик силиконового крема «Знаю тебя».

— Для смазки, — пояснил Дуст.

Прежде чем отправиться в туалетные комнаты, я задала еще один вопрос:

— Скажи, почему ты выбрал меня?

— Потому что для христианской девственницы ты достаточно чернокожа, — непонятно ответил он. — Кстати, имя у тебя есть?

— Меня зовут Тенделео.

Через десять минут я уже шла по городу мимо ооновских пропускных пунктов и застав. Пузырек с фуллеренами мне почти не мешал. У ворот американского посольства стояли двое часовых в белых касках и белых гетрах. Из них я выбрала чернокожего с крепкими белыми зубами.

— Я от брата Дуста, — сказала я.

— Подождите минуточку, — ответил морской пехотинец. Затем он связался с кем-то по переговорному устройству. Уже через минуту ворота посольства отворились, и оттуда вышел невысокий белый мужчина. Короткие волосы у него на голове стояли торчком.

— Идем со мной, — сказал он и повел меня в туалет при караульном помещении, где я заперлась в кабинке с портретом одного из американских президентов на «рубашке». Этого президента я знала — его фамилия была Никсон.

— Если хоть раз вернешься без такой карты к своим, — сказал мне американец, — тебя убьют.

Карту с портретом Никсона я отдала брату Дусту. Он сунул мне толстую пачку кенийских шиллингов и велел прийти еще раз во вторник.

Две трети заработанных денег я отдала матери.

— Где ты это взяла? — спросила она, держа деньги в сложенных как для благословения ладонях.

— Заработала, — ответила я с вызовом, думая, что она спросит — как. Но мать так и не задала этого вопроса. На эти деньги она купила одежду для Маленького Яичка и немного сушеных фруктов. А во вторник я снова отправилась в пропахший пивом и табаком клуб на втором этаже, получила новый груз и доставила его в американское посольство маленькому белому человеку с торчащими «ежиком» волосами.

Так я стала курьером, «варилой», связующим звеном в цепи,

которая тянулась от полусказочных поселков, укрытых туманами Килиманджаро, через границу и карантинные кордоны ООН, через стриптиз-клуб и мою вагину в посольство Соединенных Штатов. Нет, не так. Я стала звеном в цепи, начало которой находилось в газовой туманности Ро Змееносца и отстояло от нас на восемьсот обычных и столько же световых лет. Цепь протянулась через американское посольство, через госдеп США к человеку, чье лицо я видела на «рубашке» одной из игральных карт, служивших мне расчетной квитанцией. Другой конец цепи находился, судя по всему, в будущем, предсказать которое хотя бы в общих чертах не мог никто.

— Чаго пугает американцев — вот почему они так хотят его заполучить, — говорил мне брат Дуст. — Их, как мартышек, всегда тянет к тому, чего они боятся. Американцы думают, что фулленеры оживят их экономику, сделают ее более могущественной и стабильной. Но на самом деле все будет не так. Фулленеры уничтожат их промышленность и пустят под откос финансы. Ведь с помощью чаго любой человек может вырастить все, что ему необходимо. Их «свободный рынок» такого не выдержит!

Курьером я оставалась недолго. Брату Дусту очень нравилось, как спокойно я отношусь ко всему, чем старался удивить меня окружающий мир, и он сделал меня своим доверенным лицом. Я назначала встречи, вела записи, сопровождала Дуста, когда он встречался с Шерифами — предводителями молодежных банд. Чаго подходило все ближе, на улицах свирепствовали Молодые Шакалы, и даже вчерашние враги сегодня могли оказаться твоими ближайшими союзниками.

В один из дней брат Дуст преподнес мне подарок, тщательно завернутый в плотный шелк. Я развернула материю, думая о том, что из такого большого куска выйдет платок для Маленького Яичка. В свертке оказался револьвер. Первой моей реакцией был испуг: мысль о том, что шестнадцатилетняя девчонка отныне будет решать, кто может жить, а кто умрет, казалась мне противоестественной. Сумею ли я применить оружие против живого человека? Смогу ли нажать на спусковой крючок? Но очень скоро мною овладело приятное сознание собственного всемогущества. Теперь у меня в руках была власть. — Не очень-то на него рассчитывай, — предупредил брат Дуст. — Оружие не дает гарантии безопасности. Нигде в мире ни ты, ни кто-либо другой не может чувствовать себя защищенным. Жизни всегда что-нибудь угрожает.

Револьвер был тяжелым, как грех, и он жег меня, точно огонь, когда, заткнув оружие за пояс, я возвращалась домой на шоссе

Джогуру. Хранить револьвер в комнатах я не могла, но, к счастью, у меня было одно надежное место. Симеон — парень, работавший в слесарной мастерской, — уже некоторое время хранил мои деньги в нише за вывалившимся из стены кирпичом, и я попросила его спрятать туда же револьвер. Я видела, что ему очень хочется подержать оружие в руках, но я не позволила. Впрочем, скорее всего он вдоволь наигрался с ним, когда меня не было дома.

Как бы там ни было, каждое утро я заглядывала в тайник, доставала револьвер, брала немного денег и шла на работу. С деньгами и оружием в кармане я чувствовала себя достаточно уверенно, и предостережение брата Дуста казалось мне смешным и нелепым, как нелепы и смешны бывают стариковские страхи. Я была молода, проворна, сообразительна и думала, что в состоянии контролировать окружающую обстановку. Однако через два дня после моего семнадцатилетия я убедилась: брат Дуст был прав.

Уже совсем стемнело, когда я вышла из маттату на шоссе напротив Воинствующей Церкви. Это, кстати, довольно красноречиво характеризует мои тогдашние отношения с отцом и матерью — они уже давно не спрашивали, где я задержалась и откуда взяла деньги. Но как только ноги мои коснулись земли, я сразу почувствовала: что-то случилось. Подобный инстинкт развивается довольно быстро, если проводишь все время на улицах, полных опасностей. В поселке Воинствующей Церкви царила какая-то непонятная суета, люди бессмысленно метались из стороны в сторону, порывались что-то делать, но снова останавливались в растерянности. Откуда-то доносились сердитые женские крики.

Я поспешила домой и столкнулась у мастерских с Симеоном.

— Что происходит и где моя мать? — спросила я.

— На шамбе. Туда прорвались люди из трущоб.

Расталкивая христиан, сбившихся в кучу, словно бараны, я бросилась туда. Дело близилось к осени, и кукуруза вымахала выше моего роста; сахарный тростник стоял темной стеной и негромко шелестел на ветру; тропа под ногами то и дело исчезала, и я перла напролом, пока не находила ее снова. Луна пряталась за облаками, тусклое зарево города, хотя и окружало шамбу со всех сторон, не давало никакого света, и мне приходилось ориентироваться только по звуку голосов. На них я и шла, пока между стеблями не замелькали отсветы факелов и желтых лигроиновых* [Лигроин — один из продуктов перегонки нефти, применяется как дизельное топливо и в качестве растворителя для лакокрасочной промышленности.] ламп. Голоса

звучали совсем рядом; кричали в основном мужчины, сердито и громко. Я всегда боялась, когда мужчины начинали повышать голос. Не заботясь об урожае, я ринулась в ту сторону, ломая стебли и сбивая на землю тяжелые, спелые початки.

Женщины из поселка Воинствующей Церкви стояли на краю покалеченного поля. Маис, картошка, сахарный тростник, бобы были отчасти втоптаны в грязь, отчасти вырваны с корнем. Напротив стояли бидонвильцы. Мужчины держали в руках фонари, лопаты или ножи; канги женщин оттопыривались, и я поняла, что там — краденые овощи. Даже корзинки детей были полны маисовых початков и бобовых стручков. И все эти воры бесстыдно таращились на нас. Чуть дальше, за опрокинутым проволочным забором, стояла вторая, еще более многочисленная толпа. То были гиены, которые ждали, чья возьмет. Если бы победили мародеры, эти люди присоединились бы к ним; если бы удалось отбить нападение нам, они бы растворились в темноте, расползлись по своим хижинам и стали ждать следующего раза.

Численностью враги превосходили нас, причем раз в двадцать. Но у меня имелся револьвер, и это придало мне уверенности.

— Убирайтесь отсюда! — крикнула я дерзко. — Это не ваша земля!

— И не ваша! — заорал в ответ предводитель захватчиков — босой, тощий как скелет мужчина, одетый в обрезанные джинсы и грязную, изодранную тряпку, которая когда-то была майкой. В левой руке он держал сделанную из консервной банки лампу-коптилку, а в правой сжимал мачете.

— Вся эта земля, — продолжал он, — взята на время у чаго. Когда оно придет, то заберет ее назад, и она никому не достанется. Мы хотим взять, что можно, пока эта земля не пропала.

— Обратитесь в ООН! — снова крикнула я.

Но предводитель бидонвильцев только покачал головой, и толпа с грозным ворчанием качнулась вперед. Наши женщины негромко зашумели и крепче сжали свои тяпки и мотыги.

— В ООН? Ты что, не слышала последние новости? ООН решила сократить объемы выделяемой нам помощи. Они бросают нас на милость чаго!

— Это наша еда! Мы вырастили ее, и она принадлежит нам. Уходите с нашей земли.

— Да кто ты такая? — Вожак засмеялся. Мужчины, поигрывая большими блестящими панга* [Панга — большой нож с широким лезвием.], снова двинулись вперед, но я не испугалась. Смех предводителя разжег во мне мрачный огонь, который разглядел

брат Дуст — огонь, который превращал меня в бойца. Чувствуя, как от гнева и ощущения собственной силы начинает слегка кружиться голова, я выхватила револьвер и подняла высоко над головой. Один, два, три громких выстрела разорвали ночь.

Наступившая затем тишина была еще более оглушительной, чем сами выстрелы.

— Эге, у девчонки-то револьвер! — пробормотал тощий предводитель.

— И девчонка умеет им пользоваться. В случае чего ты умрешь первым, — пригрозила я.

— Возможно, — согласился он. — Но у тебя осталось три пули, а нас здесь — триста человек. Идем, ребята, она ничего не сделает!

Трущобные ринулись в атаку, и мать едва успела оттащить меня в сторону. Они врубались в наш маис и сахарный тростник, словно саранча, и их канга отливали желтым в свете чадящих ламп. За мужчинами шли женщины и дети — они собирали срезанные стебли и початки в корзины, а то и просто за пазуху. Триста пар рук очистили наше поле в мгновение ока. Тяжелый револьвер оттягивал мне руку, но я им так и не воспользовалась. Помню, я плакала от сознания собственного бессилия и стыда. Врагов было слишком много, и мое могущество, моя решимость, хотя и подкрепленные силой оружия, оказались пустой бравадой, хвастовством, пшиком.

К утру поле превратилось в вытоптанный пустырь, засыпанный сломанными стеблями, измятыми листьями, обглоданными маисовыми кочерыжками. На всей шамбе не осталось ни зернышка.

Утро застало меня на обочине шоссе Джогуру. Я пыталась остановить матату, вытянув руку с поднятым пальцем. В маленьком спортивном рюкзачке за спиной лежали все мои пожитки. Я снова стала беженкой. Мой разговор с родителями вышел коротким и немногословным.

— Что это такое? — Не дотрагиваясь до лежащего на кровати револьвера, мама издали указывала на него. Что касалось отца, то ему не хватило смелости даже взглянуть на оружие. Он так и сидел, сгорбившись, в продавленном старом кресле и разглядывал собственные колени.

— Где ты взяла эту ужасную вещь?

Темное пламя во мне еще не остыло. С толпой оно не справилось, но для моих родителей его жара было больше чем достаточно.

— У Шерифа, — ответила я. — Ты знаешь, кто это такой? Это очень большой человек. Он дает мне споры чаго, а я ношу их в

своей щелочке американцам, европейцам, китайцам — всем, кто может хорошо заплатить.

— Не смей так с нами разговаривать!

— Почему? Ведь вы палец о палец не ударили, только сидели и ждали, чтобы что-то изменилось. Но ничего не изменится. Чаго придет и уничтожит все. Это неизбежно, и я знаю это не хуже вас, но я по крайней мере взяла на себя ответственность за семью. Я вытащила вас и себя из сточной канавы. Благодаря мне вам не надо воровать еду!

— Это грязные деньги! Грязные, греховные деньги!

— Ты брала их у меня и не спрашивала, откуда они.

— Если бы мы только знали!..

— Разве вы хоть раз спросили, где я их достаю?

— Ты должна была сама все рассказать.

— Что толку, если вы не хотели знать? Не хотели и боялись!..

На это матери нечего было ответить, и она снова показала пальцем на револьвер — как на единственное неоспоримое доказательство моей порочности.

— Ты когда-нибудь... пользовалась им?

— Нет, — ответила я с вызовом. Только попробуй назвать меня лгуньей, всем своим видом говорила я.

— А ты... смогла бы? Например, вчера ночью?..

— Да, — ответила я. — Я бы и выстрелила, если бы знала, что это поможет.

— Что с тобой случилось, Тенделео? — Мама с горечью покачала головой. — Что мы такого сделали, в чем провинились?

— Вы не сделали *ничего,* — ответила я. — В том-то и беда. Вы сдались, опустили руки. Ты тоже сидишь здесь, как он. — Я указала на отца, который так и не произнес ни слова. — Вы оба сидите и ничего не делаете, только ждете, что Бог вам поможет. Но если бы Он мог, разве он наслал бы на нас чаго? По его милости мы все едва не превратились в напуганных, жалких нищих!

Только тут мой отец поднялся со своего продавленного кресла.

— Тебе придется уйти из этого дома, — сказал он очень тихо, и я удивленно вытаращилась на него. — Собирай свои вещи и уходи. Сейчас же. И никогда, никогда не возвращайся. Ты больше не принадлежишь этой семье.

Вот как получилось, что с рюкзаком за плечами, с револьвером, заткнутым за пояс джинсов под одеждой, и толстой пачкой денег в ботинке я ушла из родного дома. Мой путь лежал через весь поселок Воинствующей Церкви, и, шагая к шоссе, я чувствовала, что из каждого окна, из каждого домика и каждой

палатки на меня устремлены десятки глаз.

В тот день я узнала, что христиане тоже могут смотреть, как трущобные.

* * *

Я поселилась в клубе — в крошечной каморке, которую нашел для меня брат Дуст. Кажется, он решил, что благодаря этому обстоятельству у него появился реальный шанс со мной переспать. В каморке скверно пахло; по ночам в ней было невыносимо шумно, к тому же мне частенько приходилось уступать ее проституткам, чтобы они могли заняться своим ремеслом, но зато эта комната была моей, и я считала себя свободной и счастливой.

Но отцовское проклятие продолжало тяготеть надо мной. Я не находила себе покоя. Я обвинила родителей в том, что они ничего не предпринимают, но что сделала я сама? Что я стану делать, когда придет чаго? Какой у меня план? Между тем дни летели за днями, и граница чаго подошла уже к Муранге, к водопадам Ганья, к Тике, и каждый раз, думая об этом, я вспоминала о родителях и сестре.

Правительство погрузилось в машины и отбыло в Момбасу — колонна грузовиков и лимузинов тащилась мимо кафе на авеню Хайл-Селасси, где я пила свой утренний курьерский кофе, добрых полтора часа. Размалеванные пикни носились по улицам, паля во все стороны трассирующими пулями, пока бронетранспортеры ООН не прогнали их. Однажды я несколько часов просидела в придорожном кювете, спасаясь от шальной пули и прислушиваясь к перестрелке, которую две соперничавшие банды затеяли из-за двух угнанных бензовозов. Несколько раз я поднималась на смотровую площадку ретранслятора «Муа Телеком» и смотрела, как над пригородами встает черный дым пожарищ и как еще дальше, на севере и на юге, где над пестрым одеялом палаточных городков и бидонвилей дрожит раскаленное марево, пламенеют не по-земному яркие краски чаго. Наконец настал день, когда все газеты — те, которые еще выходили, — написали, что 18 июля 2013 года стены чаго сойдутся и Найроби перестанет существовать. Где же спасение, спрашивала я себя. Где искать его?

Брат Дуст сказал: в себе. В своем духе.

Но что мне делать, я по-прежнему не знала.

Когда умирает человек, конец виден сразу. Грудь в последний раз опускается и не поднимается больше. Перестает биться сердце. Кровь остывает и сворачивается. В глазах гаснет отблеск сознания. Гораздо труднее сказать, в какой момент умирание

начинается. Быть может, тогда, когда организм начинает стареть? Или когда в нем появляется первая переродившаяся раковая клетка? А может, человек начинает умирать с той самой минуты, когда, передав свою ДНК потомству, превращается в генетический излишек? Или с той минуты, когда появляется на свет? Это по крайней мере имеет смысл. Один государственный служащий рассказывал мне, что, выписывая свидетельство о рождении, он должен был сразу же заполнить бланк справки о смерти.

То же самое можно сказать и о городах. Когда погиб Найроби, мир увидел только самый финал, переданный со спутников-шпионов и записанный автоматическими камерами. Но где было начало конца? Одни считают: агония началась, когда ООН отвела войска и отозвала своих наблюдателей, оставив город на растерзание бандам молодчиков. Другие утверждают, что это случилось, когда остановилась электростанция в Эмбакаси и были перерезаны топливопроводы и телефонные линии, соединявшие город с побережьем. Третьи говорят: Найроби начал умирать, когда над домами Уэстленда появилась первая Башня-Инкубатор. Для большинства же начало конца прочно ассоциируется с телерепортажем, в котором был показан чагомох, медленно растворяющий дорожный указатель с надписью «Добро пожаловать в Найроби!».

Для меня конец Найроби настал в тот день, когда я переспала с братом Дустом в своей каморке за сценой ночного клуба.

Я сразу предупредила его, что еще никогда не была близка с мужчиной.

— Я с самого начала понял, что имею дело с настоящей христианской девственницей, — ответил Дуст. И хотя моя невинность изрядно его возбудила, он действовал неторопливо и нисколько не грубо. Я, напротив, суетилась, не зная толком, что и как нужно делать, и изо всех сил притворялась, будто мне очень приятно, хотя, по правде сказать, никакого удовольствия я Не испытала. А если быть откровенной до конца, то я просто не понимала, что такого особенного в сексе.

Почему я в таком случае согласилась? Не знаю. Я думаю, это было что-то вроде печати в воображаемом удостоверении молодой преступницы или последней подписи под договором, который окончательно связал меня с городом.

Дуст был внимателен, почти нежен, но тем не менее мы никогда больше не спали вместе.

В последние месяцы в Найроби стало совсем скверно. Я думаю, бывают в жизни времена настолько плохие, что память невольно сохраняет только то немногое, что было в них хорошего, светлого. Но я тем не менее постараюсь рассказать о тех временах

честно и непредвзято.

Мне тогда уже исполнилось восемнадцать. С тех пор как я ушла из дома, прошло больше года, и все это время я ни разу не видела ни мать, ни отца, ни Маленькое Яичко. Для этого я была слишком горда, к тому же я все еще слишком злилась и слишком боялась встречи с ними, и все же не проходило и дня, чтобы я не вспоминала о своих родных и о своем долге перед ними.

Чаго наступало на город с двух сторон. Оно подкрадывалось по равнине с юга, атаковало широким фронтом с севера и уже успело поглотить некогда фешенебельные районы Уэстленд и Гарден-Гроув. Кенийская армия вяло оборонялась, обстреливая из минометов огромную массу растительности, получившую название Большой Стены, и поражая Башни-Инкубаторы артиллерийским огнем. Впрочем, с тем же успехом можно было пытаться поджечь море. ООН на юге прилагала колоссальные усилия, стараясь поддерживать в рабочем состоянии международный аэропорт. Между тем в самом городе молодежные банды грызлись между собой, словно бродячие псы. Союзы заключались и в тот же день разрывались, сосед восставал на соседа, брат на брата. Бульвары в центре города, словно ковром, были покрыты слоем стреляных гильз, а на углах чернели сожженные пикни. На всей авеню Муа не осталось ни одного целого стекла, ни одного неограбленного магазина. И все же в городе было еще почти двенадцать миллионов жителей.

Мы, «Девочки Дуста», тоже вступали в союзы и разрывали их. Объединившись с «Момби», только что разгромившими одного из местных главарей, мы решили заключить тайный союз с «Черным симба», которые день ото дня становились все сильнее и, по нашим расчетам, должны были стать основой грядущего нового порядка после прихода чаго. Наших глупых, хвастливых «Футболистов» в одну ночь вырезало восточное крыло «Симба» из пригорода Стареге. Кустарно переделанные под броневики мататy наших бывших покровителей не могли тягаться с русскими БТР, а яркие нейлоновые курточки «Футболистов» не защищали так, как боевые светорассеивающие костюмы. Произошедшее было настолько естественно, что я только приветствовала перемену, однако в целом к политике брата Дуста я относилась довольно настороженно. На мой взгляд, он слишком полагался на свои связи среди людей богатых и влиятельных. В мирное зремя иного я бы и не желала, но сейчас грубая сила значила даже больше, чем деньги. Поэтому, несмотря на наши АК-47 и клевую форму — а в последние дни в форме ходили буквально все, — нам угрожала нешуточная опасность. Те же блаженной памяти «Футболисты» при всей своей слабости могли без труда

расправиться с нами — ведь мы были уголовниками, а не бойцами.

Лимуру, Тигани, Киамбу на севере, река Ати, Мата-дия, Эмбакаси на юге — чаго наступало не спеша. Тут оно поглотило школу, там захватило дом, тут заняло полцеркви или четверть улицы. Пятьдесят метров в сутки — не быстрее, но и не медленнее. Когда командование Восточно-африканских подразделений миротворческих сил ООН объявило, что граница чаго достигла Нгары, я сделала свой ход. Прямо в форме «Девочек Дуста», состоявшей из полосатого, как зебра, пластикового плаща до пят и коротких шорт, я села в такси и велела везти меня в американское посольство.

Водитель поехал через Ривер-сайд.

— На Лимурском шоссе приземлился «планер», — объяснил он.

«Планеров» я побаивалась. Они свисали с Башен-Инкубаторов, как огромные летучие мыши, ожидая момента, когда можно будет отделиться от насеста, расправить крылья и поплыть над городом, рассыпая споры. Мне они представлялись чем-то вроде крылатых ангелов смерти — слишком уж много сидело во мне ветхозаветных образов. Армейская артиллерия уничтожила много таких «планеров» прямо на башнях, еще больше расстреливали прямо в воздухе вертолеты, но одному-двум всегда удавалось прорваться, поражая Найроби изнутри.

Район Ривер-сайд когда-то был из дорогих. Я видела плавательный бассейн, из которого торчала башня танка, видела теннисные корты, заваленные распухшими телами в темно-вишневой, «под чаго», полевой форме. За уцелевшими деревьями торчали растопыренные веером лиловые отростки сухопутных кораллов, и от этого зрелища мне стало жутко.

Я велела водителю ждать меня у ворот. На территории посольства чуть ли не вплотную друг к другу стояли мощные грузовики. Солдаты и служащие, выстроившись цепью, грузили картонные коробки с документами и офисное оборудование.

Чернокожий часовой давно меня знал.

— Уезжаете? — спросила я.

— Как видите, мэм, — ответил он. Я отдала ему револьвер, и морпех кивнул в знак того, что я могу пройти.

В коридорах посольства мне то и дело попадались служащие с увесистыми пачками бумаг и коробками, на которых красовалась надпись «Собственность государственного департамента США». В комнатах стрекотали шредеры.

Наконец я отыскала нужный кабинет. Маленький белый человек со стрижкой «ежиком» упаковывал картонные коробки.

— Мы больше не работаем, — сказал он (его фамилия была Кнутсон). — Лавочка закрывается.

— Я здесь не по этому делу, — сказала я и объяснила, зачем пришла. Несколько секунд Кнутсон смотрел на меня так, словно я сообщила, что мир соткан из овечьей шерсти или что чаго повернуло вспять. Поэтому я столкнула на пол несколько коробок и разложила на столе фотографии.

— Наверное, я чего-то не понимаю, — сказала я. — Объясните же мне, что вас так привлекает? Может быть, все дело в том, что мальчики в этом возрасте мало чем отличаются от девочек? Или вам нравится, когда потеснее?

— Убирайся к черту! Ты все равно не сможешь опубликовать эти фото.

— Они уже опубликованы. И если отдел кадров дипломатического корпуса не будет получать пароль каждую неделю, файл загрузится автоматически.

Если бы у Кнутсона под рукой оказалось ружье, я думаю, он бы убил меня на месте.

— Что ж, мне следовало ожидать чего-то подобного от женщины, которая продавала свое влагалище инопланетянам.

— Все мы проститутки, мистер Кнутсон, Итак, что скажете?

— Подожди здесь. Чтобы выйти отсюда, тебе нужен чип. — Кнутсон вышел. Пока он отсутствовал, я разглядывала портрет президента на стене. Его черты показались мне хорошо знакомыми. Быть может, задумалась я, в самой атмосфере этой комнаты есть что-то такое, что делает всех президентов похожими друг на друга?

Наконец Кнутсон вернулся. С собой он принес какое-то устройство из пластика и металла, похожее на большой шприц-пистолет для подкожных инъекций.

— Имя, адрес, номер карточки социального страхования?

Я сказала. Кнутсон нажал несколько крошечных клавиш на боку устройства, потом схватил меня за запястье и прижал шприц к руке. Раздался щелчок. Я почувствовала острую боль, но сумела сдержать крик.

— Поздравляю. Теперь ты — агент военной разведки США. Надеюсь, тебе было больно.

— Да, — подтвердила я. Кровь текла по моей руке. — Мне нужно еще три чипа. Вот имена. — Рядом с зернистыми фотографиями, изображавшими Кнутсона в постели с голыми чернокожими детьми, я положила листок бумаги с данными моих родителей и сестры.

Кнутсон протянул мне шприц.

— На, возьми эту хреновину. В этой суматохе ее все равно не

хватятся. Пользоваться инжектором очень просто, только сначала надо ввести данные с наборной панели — вот отсюда и отсюда.

Я смела со стола фотографии и засунула их во внутренний карман плаща вместе с инжектором. Свобода, воплотившаяся в крошечном электронном устройстве под кожей, переполняла меня, пока я шла по заваленным бумагами коридорам к выходу из посольства.

Вернувшись к клубу, я расплатилась с таксистом золотом. Золото и кокаин давно стали единственной валютой преступного мира, принимавшейся без каких-либо ограничений. Свои личные сбережения я вот уже несколько месяцев переводила в крюгеровские рэнды, хотя обменный курс был не особенно выгодным.

Взбежав по ведущей в клуб лестнице, я распахнула дверь... и оказалась на бойне.

Бар расстреливали, не жалея патронов. Под ногами хрустело битое стекло, а в воздухе сильно пахло разлитым виски. Столы были повалены и расщеплены. Между опрокинутых, изломанных стульев в противоестественных позах валялись тела мужчин — завсегдатаев клуба. Ковер стал липким от подсыхающей крови, и над мертвыми с жужжанием вились мухи. Потом я увидела своих сестер — «Девочек Дуста». Все они лежали на полу, их волосы, кожа, полосатые набивные платьица «под джунгли» тоже были залиты кровью. Шагая между ними, я думала о зебрах на высокогорных пастбищах, которых настигли львы, представляла разодранные шкуры, мускулы, мясо. Страшная это штука — запах крови, он способен преследовать тебя годами, и от него почти невозможно избавиться.

Брата Дуста я нашла в самой глубине зала. Он полусидел на полу, привалившись спиной к сцене. Брат Дуст был мертв — кто-то разрядил ему в лицо полную пистолетную обойму. Похоже, нашему с ним сотрудничеству пришел конец.

Сзади раздался какой-то шум. Круто повернувшись, я выхватила револьвер — вернее, я увидела, что уже держу его наготове. Никого. Только мертвецы в лужах засохшей крови и с оружием в руках.

Выскочив из клуба, я кубарем скатилась по лестнице. Словно обезумев, я неслась по улице с револьвером в руке, криками разгоняя прохожих, и только мой полосатый плащ развевался по ветру, едва поспевая за мной. Я бежала изо всех сил. Мне нужно было домой. Мне нужно было на шоссе Джогуру, где я оставила близких мне людей, и никто не смог бы меня остановить. Никто, впрочем, и не пытался, потому что у меня было оружие. Я твердо знала, что вернусь домой и заберу своих, спасу от этого безумия.

Единственное доброе дело, которое ООН способно было для нас сделать, это посадить нас в самолет и увезти отсюда, и я пообещаю это отцу и матери. Я скажу им, что мы улетим в такое место, где нам не нужны будут пистолеты, лагеря, чужое милосердие и унизительные подачки, где мы снова сможем стать тем, чем были когда-то — семьей.

Так я бежала в своем развевающемся плаще и глупых высоких ботинках на каблуках мимо палаточного городка, мимо старой автобусной станции, мимо опрокинутых баррикад на Ландхи-роуд, мимо догоравших на кольцевой развязке пассажирских автобусов, пока не добралась до шоссе Джогуру.

Шоссе перегородила толпа — много, много людей и белые ооновские машины. Потом я увидела солдат. Поселка Воинствующей Церкви отсюда было еще не разглядеть, поэтому я с разбега врезалась в толпу сзади, бесцеремонно расталкивая людей и при случае пуская в ход рукоятку револьвера.

— Пропустите! С дороги! Мне нужно домой!

Кто-то схватил меня, развернул. Я увидела, что меня держит за плечи солдат кенийской армии.

— Туда нельзя!

— Но там живет моя семья! В поселке Воинствующей Церкви! Я должна с ними увидеться!

— Туда нельзя, — повторил солдат. — Нам приказано никого не пропускать. Да и поселка Воинствующей Церкви больше нет.

— Как нет? Почему?

— «Планер». Приземлился несколько часов назад.

Я вырвалась и, стиснув зубы, стала пробиваться дальше, пока не наткнулась на кордон. В сотне метров за ним на шоссе стояло несколько вездеходов и бронетранспортеров. А еще метрах в ста за ними начиналась инопланетная зараза.

«Планер» врезался в жилой корпус поселка. Среди расползающихся по белой штукатурке грибков и губкоподобной плесени еще можно было разобрать отвратительные перепончатые крылья. Острые гребни сухопутных кораллов приподняли и во многих местах прорвали жестяную крышу над актовым залом, где когда-то учились поселковые дети. Понастроенные вплотную к жилому корпусу хижины превратились в месиво, в лужу полурастворившегося пластика, над которым вставали и лопались, разбрасывая бурую пыль, полупрозрачные пузыри. Там, куда попадала эта пыль, вспучивались новые пузыри. Круглый храм исчез под кружевной мантильей, сотканной из тонких, красных, как вены, извивающихся нитей. Даже полотно шоссе было сплошь покрыто мелкими желтыми цветочками и синими цилиндрами, и

щупальца ползучего мха уже тянулись к кордону. На моих глазах высокое дерево, росшее на краю поселка, повалилось в сточную канаву, и вверх взмыло целое облако жужжащих серебристых мушек.

— Где же люди? — спросила я у какого-то солдата. — Куда они подевались?

— В санобработке.

— Но там была моя семья! Мои родители! — закричала я.

Солдат пожал плечами. Тогда я повернулась к толпе и, выкрикивая имена отца, матери, Маленького Яичка, стала расталкивать стоящих, заглядывая им в лица, но людей было слишком много. Солдаты начали коситься на меня, время от времени переговариваясь по радио. Очевидно, я им мешала. Каждую минуту меня могли арестовать и отправить в комендатуру, но скорее всего меня бы просто отвели за броневики и пустили пулю в затылок.

Лиц по-прежнему было слишком много. Спрятав револьвер, я присела и, проскользнув между ног собравшихся, оказалась в тылу толпы. Санобработка! Поганое ооновское словечко! Впрочем, в штабе должны быть списки пораженных. Значит, мне нужно на Хиромо-роуд, но пешком туда не добраться. Надо поймать машину.

Выбравшись из толпы, я снова помчалась во всю прыть. Сначала я бежала по шоссе, мимо стадиона, потом свернула на Ландхи. К счастью, гражданские машины еще не исчезли с улиц, и я, встав на середине проезжей части, махала револьвером каждому проезжавшему мимо автомобилю.

— Хиромо-роуд! Мне нужно на Хиромо-роуд! — кричала я.

Водители объезжали меня, сердито гудели клаксонами и бранились, но я снова оказывалась перед капотом их машин.

— Отвезите меня на Хиромо-роуд, или я вас убью!

Молодые Шакалы, проносившиеся по дороге на своих пикни, громко смеялись надо мной и выкрикивали оскорбления. Никто так и не остановился. Даже мирное население давно не боялось оружия, которого оно повидало слишком много.

Я решила добраться пешком. По бульвару Пумвани шла колонна кенийской армии, поэтому я двинулась через трущобы в Кариокор. Я знала, что покуда река и болото, образованное дренажными и канализационными стоками, остается по левую руку от меня, я не собьюсь с пути и выйду к району Нгара. Обитатели трущоб со страхом разбегались от разъяренной фурии в полосатом плаще и с большим револьвером в руках.

— С дороги! — кричала им я. — Прочь с дороги!

И вдруг бидонвильцы перестали меня слушаться. Они

замерли, точно по команде, и задрали головы вверх.

Я почувствовала его приближение еще до того, как увидела. Тень его скользнула по мне, и я кожей ощутила холод. Остановившись, я тоже посмотрела вверх и увидела «планер», который пикировал прямо на меня.

Так, во всяком случае, я тогда думала, так чувствовала. Я была совершенно уверена, что эта штука, рожденная где-то в самом сердце чаго, была послана именно за мной. «Планер» был значительно больше, чем мне всегда казалось, и намного темнее. Он пронесся прямо над моей головой, а я не могла сдвинуться с места, парализованная страхом. Потом я вспомнила о револьвере, который держала в руках. Подняв его над головой, я стала стрелять в похожее на гигантскую летучую мышь чудовище.

Я нажимала на спусковой крючок до тех пор, пока не услышала сухие щелчки курка. Дрожа всем телом, я проводила взглядом исчезающий за пластиковыми крышами лачуг «планер». Потом я посмотрела на руку, сжимавшую револьвер. У меня на глазах ребра барабана покрылись крошечными почками, которые, раскрываясь, превращались в мелкие желтые кристаллы, а те, в свою очередь, разбегались по вороненой стали бурой окалиной. Дульный срез револьвера тоже покрылся почками, которые ползли по стволу назад, приближаясь к моим рукам. Взведенный курок уже оброс желтыми кристаллами, и я отшвырнула револьвер, словно ядовитую змею. Я вцепилась в волосы, раздирала на себе одежду и царапала ногтями лицо. Но было поздно — одежда уже начала меняться. Мой полосатый плащ пошел пузырями. Я выхватила из кармана чип-инжектор и увидела, что он сплошь покрыт желтыми кристаллами и цветами. Он был никуда не годен, и я поняла: с надеждой спасти родных мне придется расстаться.

Инжектор я бросила. На землю вывалились из кармана фотографии Кнутсона с детьми. Они тоже запузырились и обратились в пыль. Я рванула плащ, и он расползся у меня в пальцах, превратившись в облепленные спорами нити полужидкого пластика. Каблук моего правого ботинка тоже подломился, я упала и покатилась по земле, но тут же вскочила и проворно сбросила обувь и остатки плаща.

Вокруг меня метались напуганные обитатели Карио-кора. Они тоже разрывали на себе одежду и царапали ногтями лица. И я, крича от ужаса, металась из стороны в сторону вместе с ними. Я позволила себе поддаться всеобщей панике. Остатки моей одежды давно обратились в лохмотья, в пыль. Я оказалась совершенно голой, но мне было наплевать. Я лишилась не только одежды, но и всего, что у меня когда-то было. Ничего не осталось,

кроме вживленного чипа под кожей правой руки.

А чаго продолжало безмолвно бурлить слева и справа от меня, одну за другой поглощая жалкие лачуги бидонвиля и выбрасывая высоко в воздух ярко окрашенные стебли, усики, ленты.

На выходе с Кариокорского рынка мы наткнулись на кордон безопасности ООН. Солдаты стояли в несколько рядов, сомкнув плетеные щиты. Дубинки-рунгу поднялись, опустились, и люди рядом со мной покатились в пыль, сжимая разбитые головы.

Я бросилась прямо на шеренгу солдат и просунула правую руку в щель между щитами:

— Пропустите меня! У меня под кожей чип!

Дубинки взлетели в воздух над самой моей головой.

— Ооновский чип, пропуск! Я — сотрудник ООН!

Дубинки-рунгу дрогнули и замерли. Мужской голос прокричал с американским акцентом:

— Господи Иисусе, она не врет! Давайте ее сюда. Живо! Щиты разошлись, сразу несколько рук схватили меня и втянули в щель.

— Прикройте ее чем-нибудь!

Кто-то набросил мне на плечи куртку от полевой формы. Затем меня очень быстро повели сквозь боевые порядки к белому вездеходу с красным крестом на борту. Белый мужчина в жилете с красным крестом на кармане провел по моему предплечью ручным сканером, и я почувствовала, как свежая ранка от чип-инжектора снова заныла.

— Тенделео Би, агент разведывательного отдела посольства США.

— О'кей, Тенделео, я не знаю, что ты делала в пораженном районе, однако тебе придется пройти санобработку наравне со всеми.

В это время к вездеходу подошел второй военный, как я догадалась — офицер.

— Нет времени, — сказал он. — Гражданских специалистов приказано эвакуировать до двадцати трех ноль-ноль.

Врач надул щеки:

— Но существует порядок...

— Порядок? — перебил офицер. — Какой, к дьяволу, может быть порядок, кода гребаный город доживает последние часы? Да и американцы поднимут вой, если им не понравится, как мы обращаемся с их лазутчиками. Пропустить ее через моечную, и дело с концом...

И меня повели к большому трейлеру, на борту которого был намалеван знак биологической опасности. Стоял он довольно далеко от остальных машин, но тогда я даже не задумалась —

почему. От пережитого потрясения меня знобило. Я не проронила ни слова, когда мне выбрили все волосы на теле. Потом кто-то осторожно снял с меня куртку и подтолкнул к тому месту, где я должна была встать. Трое санитаров в костюмах противохимической защиты размотали шланги высокого давления, присоединили их к кранам в борту трейлера и обработали меня с головы до ног. Вода была холодной и била с такой силой, что я с трудом терпела боль. Моя кожа пылала. Я вертелась волчком, стараясь защитить соски и другие чувствительные части тела от хлещущих струй, но они настигали меня везде.

Когда после двух небольших перерывов санитары взялись за меня в третий раз, я наконец поняла, что они делают.

— Отправьте меня в санобработку! — закричала я. — Мне нужно в санобработку. Там моя семья, неужели вы не понимаете?

Но санитары не обратили на мои протесты ни малейшего внимания. Я думаю, они даже не особенно задумывались над тем, что тело, которое они окатывают шипящими струями, принадлежит молодой женщине. Все оставались глухи к моим мольбам. Меня высушили потоками горячего воздуха, одели в просторную полевую форму без знаков различия и сунули на заднее сиденье вездехода с дипломатическими номерами, который тут же рванул с места и в считанные минуты домчал меня до аэропорта. В здание терминала, где я могла бы попытаться бежать, мы не пошли. Вместо этого вездеход въехал в ворота из колючей проволоки и подкатил к грузовому люку русского транспортного самолета. Люк был открыт, и пассажиры цепочкой поднимались в трюм по наклонной рампе. В основном это были белые, многие шли с детьми, и все несли с собой чемоданы, сумки и коробки. Они тоже стали беженцами — как и я.

— Моя семья осталась в Найроби, — сказала я охраннику со сканером, дежурившему у основания рампы.

— Мы найдем ваших родных, — ответил он, проверяя мой иудин чип и сверяя данные со своим списком. — Счастливого пути и всего хорошего.

Я поднялась по металлической рампе в самолет. Русская стюардесса нашла мне свободное место в центральной посадочной секции, довольно далеко от бортовых иллюминаторов. Пристегнувшись ремнем безопасности, я сидела и дрожала до тех пор, пока не услышала, как закрывается грузовой люк и начинают работать двигатели. Только тогда я окончательно поняла, что ничего не могу сделать. Дрожь сразу прекратилась. Несколько раз подпрыгнув на выщербленном

бетоне, самолет вырулил на взлетную полосу, и я подумала о том, что вот сейчас что-то произойдет, самолет упадет и я умру. Умереть я хотела больше всего. Я заслужила смерть, погубив все, что должна была спасти, и сохранив то, что не имело никакой ценности.

Но вот двигатели загудели громче, и самолет начал разбег. И хотя мне были видны только спинки кресел и дверь пилотской кабины, я точно уловила момент взлета, ибо именно в этот момент я почувствовала, как оборвалась последняя ниточка, связывающая меня с Кенией. Надрывно гудя моторами, самолет нес меня в новое изгнание.

Здесь я, пожалуй, прерву свой рассказ — о том, что было дальше, лучше расскажет другой человек.

* * *

Меня зовут Шон. Это ирландское имя, но я не ирландец. Как вы, вероятно, видите, во мне нет ни капли ирландской крови. Просто моей матери нравилось это имя, к тому же тридцать лет назад все ирландское было в моде.

Боюсь, я не умею рассказывать так складно, как Тенделео. Моя специальность не слова, а цифры. Так, во всяком случае, считается. Меня можно назвать бухгалтером поневоле. Я хорошо справляюсь со своими обязанностями, но душа у меня к ним не лежит. Вот почему в фирме, где я служу, мне поручают в основном всякую случайную работу. Одной из них и был тот афро-карибский ресторан неподалеку от Ченел-стрит. Назывался он «Острова». Меню в нем обновлялось каждый день, атмосфера была приятной, а музыка — просто великолепной. Когда в первый раз я явился туда в костюме и при галстуке, его владелец Уинтон до того обиделся, что я больше никогда так не наряжался. Большую часть времени я просиживал за выделенным мне столиком и просматривал налоговые ведомости, кивая головой или притопывая ногой в такт барабанам или бас-гитаре. Уинтон опробовал на мне новые музыкальные записи, и я сигнализировал ему со своего места, показывая поднятый вверх или опущенный вниз большой палец. В конце рабочего дня Уинт подавал мне кофе с отменным ликером, который он и в самом деле привозил с Ямайки. Я выпивал его и уходил. По-хорошему, стоимость кофе стоило бы вычесть из тех денег, которые Уинт платил фирме, но поступить так значило бы обидеть его, и я не отважился ни

поговорить с ним об этом, ни хотя бы отказаться от ежедневной чашечки ароматного напитка.

Однажды Уинт сказал:

— Почему бы тебе не зайти к нам вечером? Будет хорошая музыка, а не это чертово «бум-бум-бум»! Никаких придурочных диск-жокеев — только живая музыка.

Но все мои приятели любили придурочных диск-жокеев и «бум-бум», поэтому я пошел в «Острова» один. В дверях стояла очередь на вход, но швейцар узнал меня и пропустил. В баре нашлось свободное место, где сразу же за счет заведения мне подали полюбившийся «особый» кофе. Музыкальная программа уже началась, и пространство в центре зала было занято танцующими.

Оркестр свое дело знал. Закончив танцевальную часть, соло-гитарист указал на кого-то в толпе, и сразу же на сцену поднялась тоненькая темнокожая девушка, которая обычно появлялась во второй половине дня, обслуживая столики или помогая Уинту в баре. Тихая, невысокая, она почти не бросалась в глаза, если б не чрезвычайно короткая стрижка. Казалось, волосы только-только начинают отрастать после стрижки «под ноль».

Встав у микрофона, девушка смущенно улыбнулась. Потом она запела, и я удивился, что не обращал на нее внимания раньше! Ее медленная и печальная песня была на незнакомом языке, но слова оказались не нужны. Каким-то образом ее голос сумел выразить боль, тоску, печаль разлуки. Бас-гитара и ритм-секция только подчеркивали бездонное горе, звучавшее в каждой ноте. Но это не был плач; в ее интонациях звучало нечто неподатливое и твердое. Она словно говорила: да, я побывала в том месте, о котором сейчас пою, — побывала и выжила. Я слушал, и время для меня остановилось. Но вот девушка взяла последнюю высокую ноту, которая тянулась, звенела под потолком, плыла вместе с табачным дымом, пока наконец не затихла, как затихает в отдалении крик летящей высоко в небесах птицы.

Несколько секунд зал молчал, потом взорвался аплодисментами. Девушка застенчиво кивнула и, сбежав с эстрады, стала пробираться к бару сквозь толпу, выражавшую свое одобрение свистом и криками. Через пару минут она уже снова разносила напитки и протирала стаканы, такая же незаметная, как раньше, но я уже не мог оторвать от нее глаз. Теперь я точно знаю, что влюбиться на всю жизнь можно за пять минут, и это совсем не трудно.

Когда она подошла ко мне, чтобы забрать пустую чашку, я сумел пробормотать только что-то вроде «Спасибо» и «Это было

великолепно».

Так все и произошло. Так я встретил Тен, сказал ей пару пустячных фраз и влюбился. Произносить ее имя полностью я так и не научился. В послеобеденные часы, когда в баре было совсем мало посетителей, мы сидели за моим столиком и болтали, и каждый раз, когда я пытался назвать Тенделео ее полным именем, она качала головой и музыкально смеялась над тем, как я коверкал гласные звуки.

— Не «ео», а «эй-о».

— «Йо»?..

И снова ее коротко остриженная голова тряслась от смеха. Впрочем, мое имя ей тоже не давалось. Шан — вот как она говорила.

— Не «Шан», а «Шо-он».

— «Шоун»?..

Поэтому я звал ее просто «Тен», что означало для меня «самая лучшая», «самая красивая», «самая нежная и желанная». А она звала меня Шан. Кажется, на одном из африканских языков «шан» значит «солнце».

Однажды я спросил Уинтона, что за имя — Тенделео:

— Я знаю, что она из Африки — это видно по акценту, но ведь Африка большая...

— Разве она тебе не сказала?

— Пока нет.

— Она скажет, когда будет готова. И, мистер бухгалтер, потрудитесь относиться к Тенделео с уважением.

Примерно через две недели она подошла к моему столику и выложила передо мной несколько стандартных бланков, похожих на карты таро. Это была карточка социального страхования, налоговая декларация, пособие на жилое помещение и прочие документы.

— Говорят, ты неплохо разбираешься в цифрах, — сказала она. — Взгляни, пожалуйста, я что-то не понимаю, почему я должна столько платить.

— Вообще-то это не моя специализация, но я посмотрю. — Я бегло проглядел карточки. — Ты вырабатываешь слишком много часов в неделю... И они хотят срезать тебе пособие. Это классическое противоречие, заложенное в саму систему нашей социальной помощи. Короче говоря, чем меньше ты работаешь, тем больше пособие получаешь.

— Я не могу не работать, — ответила Тен.

Последней оказалась регистрационная форма министерства иностранных дел для лиц, подавших заявление на предоставление территориального убежища. Должно быть, она

заметила, как мои глаза широко раскрылись от изумления.

— Гичичи? Кения?!

— Да.

Я стал читать дальше.

— Боже мой! Тебе удалось вырваться из Найроби!

— В последний момент.

Я немного поколебался, но все же решился спросить:

— Там было очень плохо?

— Да, — ответила она. — Я была очень плохая.

— Ты?..

— Что?

— Ты сказала: «*Я* была очень плохая». Что это значит?

— Я хотела сказать: в Найроби было очень плохо.

Наступившее молчание могло закончиться скверно, даже привести к катастрофе, и я поспешил заполнить вакуум, сказав Тенделео все, что мне хотелось сказать ей уже очень давно:

— Можно мне пригласить тебя куда-нибудь? Когда? А можно сегодня? Когда ты заканчиваешь? Хочешь поужинать со мной?

— Я бы очень хотела, — ответила она.

Уинтон отпустил ее пораньше, и я повел Тен в лучший ресторан в Чайна-тауне, где официанты спрашивают, сколько вы намерены истратить, еще до того, как пустить вас в зал.

— Что это такое? Никогда не видела такой еды, — сказала Тен, когда принесли первое блюдо.

— Съешь, тебе понравится, — ответил я как можно убедительнее.

Глядя в стол, она болтала своими палочками в миске с вантаном* [Китайское блюдо в виде клецек со свиным фаршем и специями. Обычно подается вместе с бульоном.].

— Я расскажу тебе о Найроби сейчас, — сказала она.

Блюда китайской кухни были дорогими, очень вкусными и подавались в изысканной фарфоровой посуде, но мы почти не ели. Перемена за переменой возвращались в кухню нетронутыми, а Тенделео все рассказывала мне о своей жизни — о церкви в Гичичи, о лагерях беженцев вокруг Найроби, о своей карьере члена преступного сообщества контрабандистов, о чаго, погубившем ее семью, разрушившем ее дом, надежды и едва не отнявшем саму жизнь. Чаго я видел по телевизору, как и для большинства обывателей, оно оставалось где-то на заднем плане и почти не влияло на мою повседневную жизнь. Да, я знал, что живое существо, явившееся из другого мира, захватило Южное полушарие, но думал не о нем, а о том, что африканским сафари теперь пришел конец и что бразильцы больше не будут играть в финале Кубка мира. Это было, конечно, очень огорчительно, но

тут же я вспомнил, что на будущей неделе надо сдавать отчет за очередной квартал и что ставки по вкладам снова поползли вверх. Подумаешь, какие-то пришельцы! Ну еще один гуманитарный кризис — мало их было, что ли? Правда, я следил за последними часами Найроби — первого действительно крупного города, уничтоженного чаго, но мне стоило огромного труда убедить себя, что это не Брюс Уиллис воюет против мафии и что Голливуд здесь ни при чем. Но когда я наконец понял, что это не кино и что чаго действительно поглотило двенадцать миллионов человек, сердце у меня болезненно сжалось. На моих глазах радужные стены сомкнулись, похоронив под собой небоскребы центральной части Найроби, и я впервые разглядел за эффектными картинками реальные человеческие жизни. Реальных живых людей, которые гибли на моих глазах. В отличие от большинства друзей и коллег, этот репортаж вызывал у меня настоящий шок. Теперь же, осознав, что гибельный мрак пощадил одну жизнь, я испытал потрясение едва ли не более сильное. Странно и страшно было думать, что непосредственный участник событий, которые я только видел на экране телевизора, живет рядом, ходит, как и я, по улицам Манчестера.

Ресторан уже готовился к закрытию, когда Тен завершила свою историю рассказом о том, как вместе с другими кенийскими беженцами ее высадили в аэропорту Шарля де Голля и как месяцами она пробивалась сквозь препоны и рогатки иммиграционного законодательства Европейского содружества с его жесткими въездными квотами, пока — изнервничавшаяся, растерянная и бедная как церковная мышь — дождливым и прохладным английским летом не оказалась в Манчестере.

Когда она закончила, я некоторое время молчал. Любые слова показались бы банальными и незначительными по сравнению с тем, что я только что выслушал. Наконец я спросил, не хочет ли она зайти ко мне домой выпить по чашечке кофе.

— Да, — ответила Тен. После долгого рассказа ее голос звучал чуть хрипловато и невыразимо привлекательно. — С удовольствием.

Я оставил официантам непомерно щедрые чаевые — так на меня подействовал рассказ Тенделео.

Моя квартира ей понравилась. Больше всего Тен удивили ее размеры. Отправляясь на кухню, чтобы отрыть бутылку вина, я оставил девушку на софе, куда она улеглась, широко разбросав руки и ноги, явно смакуя пространство.

— Какой милый дом, — сказала она. — Большой, теплый, красивый. Твой.

— Да, — ответил я и, наклонившись, поцеловал ее. Потом сел

рядом, взял Тен за руку и поцеловал красный, круглый шрам на коже, на Котором притаился чип.

В ту ночь Тен спала со мной, но мы не занимались сексом. Целомудренная и невинная, она лежала, подтянув коленки к груди и прижимаясь спиной к моему животу. Во сне она часто вскрикивала или всхлипывала, и от ее кожи пахло Африкой.

В конце концов ей все-таки отказали в пособии на жилое помещение, и Тен была в отчаянии. Жилье значило для нее очень много. Вся ее жизнь представляла собой долгий, долгий поиск собственного дома — безопасного, постоянного, надежного.

— У тебя есть два выхода, — сказал я ей. — Первый: ты можешь бросить работу.

— Ни за что, — тут же ответила она. — Я работаю, и мне это нравится. Почему я должна бросать работу?

Уголком глаза я заметил улыбку Уинтона, протиравшего бокалы за стойкой бара.

— В таком случае почему бы тебе не попробовать второй вариант?

— Какой же?

— Переезжай ко мне.

Ей понадобилась почти неделя, чтобы решиться. И я понимал, почему она колеблется. Мой дом был безопасным, надежным, большим, но он не принадлежал Тен.

Однако в субботу она позвонила. Не смогу ли я помочь ей перевезти вещи? Я поехал за ней в Сэлфорд. Убогие, холодные комнаты были обставлены мебелью, купленной на благотворительной распродаже, и выглядели ужасно. Воздух пропах наркотиками, в гостиной орал телевизор, который никто не смотрел, из комнат тоже доносилась громкая музыка — каждый слушал свое. Пока Тен собирала вещи, соседи по квартире смотрели на меня так, словно я был неким порождением чаго, а не таким же человеком, как они.

Вещей у Тен оказалось немного — узел с одеждой и узел с кассетами и книгами. Оба отлично поместились на заднем сиденье машины.

Жизнь с Тен... Как описать ее? Свои книги она поставила на полку и сложила в комод белье. Когда я слушал записи, она всегда подпевала, часто импровизируя, не зная всех слов. Она пользовалась любым предлогом, чтобы зажечь свечи. В ванной она способна была сидеть часами. Аккуратной Тен была даже в мелочах. Свою небольшую зарплату она расходовала очень экономно и никогда не соглашалась взять у меня деньги взаймы. Работала она по-прежнему в «Островах» и каждую пятницу — пела. Всякий раз, когда Тен поднималась на сцену, я восхищался

ею так же сильно, как в первый раз.

Говорила она мало, но всегда по существу. Мне она казалась серьезной и бесконечно прекрасной. Улыбалась Тен редко, но когда это случалось, я чувствовал себя так, словно мне в сердце вонзили нож — такой острой была моя радость. Секс придавал нашим отношениям остроту иного рода. Девушке близость со мной давалась нелегко. Вернее, она никогда не отдавалась сексу полностью. Я уверен, что Тен получала от него большое удовольствие, однако ни на минуту не переставала контролировать себя. Удовольствие тоже должно было принадлежать ей, принадлежать полностью. Ни разу она не позволила себе ни вскрикнуть, ни застонать. Должно быть, Тен слишком боялась затаившегося внутри животного начала.

Со стороны она казалась намного старше, чем была на самом деле. И только когда мы выбирались на танцы, та же сила, что овладевала ею во время пения и занятий сексом, выплескивалась, оживляла ее, и Тен снова становилась похожа на нормальную, общительную, остроумную и энергичную восемнадцатилетнюю девушку.

Она любила меня. И я любил ее так сильно, что мои чувства приобрели почти болезненное свойство. Мне нравилось наблюдать за Тен, особенно когда она об этом не подозревала. Я любил смотреть, как она жестикулирует, когда говорит по телефону, как подбирает под себя ноги, садясь на диван перед телевизором, как чистит зубы по утрам. Часто я просыпался по ночам только за тем, чтобы посмотреть, как она спит. Порой меня охватывал безотчетный страх, и я наклонялся к ней, чтобы прислушаться, дышит ли она. Не знаю, чего я боялся... Должно быть, какой-то неожиданности, непредвиденной случайности, которая отнимет у меня Тен.

К холодильнику она прикрепила сделанную со спутника фотографию африканского континента и научила меня, как различать в разрывах облаков крошечные кружочки чаго. Каждую неделю Тен обновляла карту, и я видел, как они сливаются друг с другом.

Так, по кружочкам чаго, я отмерял нашу с Тен жизнь, день за днем, неделю за неделей. Но с каждой неделей родина Тен становилась все меньше. Где-то там далеко, под серо-голубым покрывалом облаков, скрывались ее родители и сестра, и разрастающееся чаго оставляло им все меньше шансов.

Тен ни на минуту не позволяла себе забыть о том, что она не оправдала надежд матери и отца. Ни на минуту она не забывала, что является беженкой. Это сознание и делало ее во многих отношениях серьезнее, взрослее меня. В этом, вероятно, крылась

и главная причина ее почти болезненной аккуратности и приверженности порядку. Тен вела себя так, как будто явилась в мой дом ненадолго. Она словно чувствовала: все это может быть отнято у нее без всякого предупреждения.

Ей нравилось готовить для меня по воскресеньям, хотя после этого кухня целую неделю благоухала перцем и кореньями. О том, что от ее стряпни меня неизменно несет, я так ни разу и не признался. Тен с таким упоением крошила, резала, толкла специи, приобретенные в маленьких лавках индусов и выходцев с Карибских островов, так весело напевала себе под нос, что у меня просто не хватало на это духу. Когда Тен готовила, я наблюдал за нею из коридора, где она не могла меня видеть. Но когда, неловко опустив нож, она негромко выругалась на календжи и поднесла порезанный палец к губам, я вихрем ворвался в кухню.

— Черт, черт, черт! — повторяла она. Порез оказался глубоким, и кровь текла по указательному пальцу обильной струей. Первым делом я подвел Тен к крану и заставил сунуть палец под холодную воду, а сам бросился в ванную комнату, где у меня была домашняя аптечка. Вернулся с бинтом, пластырем и непоколебимой уверенностью в своей способности вылечить все порезанные пальцы на свете.

— Порядок! — встретила меня Тен, поднимая больной палец вверх. — Все уже прошло.

Порез действительно исчез. Во всяком случае, ни самой раны, ни даже корочки засохшей крови на пальце не оказалось — остался только небольшой розовый шрам, который у меня на глазах побелел и рассосался.

— Что произошло? Как?!

— Я не знаю, — ответила Тен. — Все прошло.

Расспрашивать ее я не стал. По правде говоря, мне не очень-то хотелось вникать в суть. В жизни Тен и без того хватало непростых моментов. Я желал бы, чтобы все ее беды ограничивались прошлым — чтобы там они и остались, но не верить своим глазам я не мог. Я сразу понял — эта невероятная способность к регенерации не имеет никакого отношения ни к нашей земле, ни к человечеству. Она была чужой, инопланетной, и я малодушно решил, что если не стану заострять этот вопрос, то все останется, как было, и прошлое нас не потревожит. Но я позабыл о террористах.

Началось все в Лондоне, потом взрывы прогремели в Эдинбурге и Дублине. Каждый раз это случалось в пятницу, во второй половине дня, накануне выходных, при большом скоплении людей. Манчестер был наготове, но и террористы не дремали. Во вторник — аккурат в обеденный час — в «Островах»

сработало спрятанное под одним из столиков взрывное устройство, состоящее из полукилограмма семтекса и нескольких сотен гвоздей и ржавых бритвенных лезвий. Никто не погиб, но женщине, сидевшей за соседним столом, оторвало взрывом обе ноги до колен. Кроме нее было ранено еще пятьдесят человек.

В этот день Тен работала. Во время взрыва она находилась в двадцати метрах от злополучного столика. Из больницы мне позвонили как раз в тот момент, когда, обмирая от страха, я слушал ужасные новости по радио.

— Немедленно поезжай туда, — приказал мне Вилли, мой непосредственный начальник, но приказа мне не требовалось.

В приемном покое Манчестерской Ее Величества городской больницы царил бедлам. Спешили куда-то озабоченные врачи, и ожидавшие в приемной пациенты и родственники с надеждой глядели им вслед; полицейские опрашивали свидетелей и пострадавших; шелестя резиновыми колесами и негромко позвякивая, двигались по коридору каталки, и я невольно подумал: вот так же, наверное, было в Найроби в последние дни. Дежурная регистраторша провела меня в комнату, где я должен был дожидаться лечащего врача. Но усидеть там я был не в состоянии, поэтому врача — невысокую усталую китаянку — встретил в коридоре.

— А-а, мистер Гидденс... Вы хотите узнать насчет мисс Би, верно?

— Да, правильно. Как она?

— Ее привезли к нам с множественными осколочными ранениями торса, левой стороны лица, левого плеча и предплечья...

— О боже!.. И что... Как она теперь?..

— Взгляните сами.

Тен шла мне навстречу по коридору. Если бы не больничный халат, я бы мог поклясться: с утра она ничуть не изменилась.

— Шан...

Рубцы и шрамы на ее руках и лице уже побледнели и стали едва заметны. Ужасное предчувствие овладело мной. Холодок побежал по спине, и внезапно мне стало так страшно, что меня едва не стошнило.

— Мы хотели бы оставить мисс Би еще ненадолго, чтобы провести некоторые дополнительные анализы, — сказала китаянка. — Как вы понимаете, мистер Гидденс, ни с чем подобным мы еще не сталкивались.

— Я в порядке, Шан. Я хочу домой!

— Просто на всякий случай, мистер Гидденс...

Когда я вернулся в больницу с вещами Тен, дежурная

регистраторша направила меня в отделение интенсивной терапии. Вне себя от страха, я преодолел шесть лестничных пролетов на одном дыхании. Тен лежала в запертой комнате со стеклянным окошечком, сквозь которое виднелись горы специального медицинского оборудования. Увидев меня, она соскочила с койки и, подбежав к окошку, прижала к нему ладони.

— Шан! — донесся ее голос из зарешеченного переговорного отверстия. — Они меня не выпускают!

Усталой китаянки нигде не было видно. Другой, незнакомый врач провел меня в комнату по соседству. В ней сидели два полисмена и мужчина в гражданском костюме.

— Что все это означает? — спросил я сердито.

— Скажите, мистер Гидденс, верно ли, что мисс Би беженка и приехала из Кении? — спросил мужчина.

— Вам это отлично известно, черт побери!

— Спокойнее, мистер Гидденс, — сказал врач. — Мы проделали серию специальных анализов и обнаружили, что в крови мисс Би присутствуют фуллереновые нано-процессоры.

— Нано... что?

— Их еще называют спорами чаго.

Я вспомнил рассказ Тен. Вот Тенделео, «Девочка Дуста», стреляет в «планер» из револьвера, который прямо у нее в руках покрывается крошечными желтыми бутонами и цветами, а вокруг тают и текут хижины бидонвиля, и ее одежда разваливается на куски, а рука с чипом, которую она протягивает между полицейскими щитами, все еще болит после инжектора. Я вспомнил и солдат, которые сначала обрили ее наголо, а потом поливали из шлангов. Видимо, это не помогло. Крошечные споры чаго успели внедриться в ее организм. А может, все началось гораздо раньше, когда она доставляла в американское посольство стеклянные пузырьки-контейнеры.

— О боже!..

В этой комнате тоже было окно. Сквозь него я видел, что Тен, упершись локтями в колени и низко опустив голову, сидит возле койки на пластмассовом стульчике.

— Мистер Гидденс... — Мужчина в костюме взмахнул у меня перед носом удостоверением. — Иммиграционная служба министерства иностранных дел. Кем вы приходитесь мисс Би?.. — Он кивнул головой в направлении смотрового окошка.

— Друг.

— Понятно. Так вот, мистер Гидденс, вынужден вам сообщить: мы не можем быть уверены, что дальнейшее пребывание мисс Би в стране не представляет опасности для общества. Ваша подруга может быть источником инфекции.

Статус беженца в нашей стране присваивается прибывающим в нее лицам только в случае, если они удовлетворяют определенным требованиям...

— Вы хотите ее депортировать, черт бы вас побрал?

Полицейские повернулись в мою сторону, и я понял, что они здесь не из-за Тен, а из-за меня.

— Речь идет об опасности для всего общества, возможно — об эпидемии неизвестной, страшной болезни. Строго говоря, мисс Би вообще не должны были разрешать въезд в страну. Мы до сих пор не знаем, каковы могут быть последствия для экологии, для окружающей среды. Вам-то должно быть лучше других известно, на что способны фуллерены-нанопроцессоры — что они уже сделали и продолжают делать. Мы должны заботиться о безопасности общества, мистер Гидденс!

— В задницу вас с общественной безопасностью!

— Но послушайте...

Я встал и, подойдя к окошечку, несколько раз стукнул кулаком по армированному проволокой стеклу.

— Тен! Тен! Они хотят выслать тебя из страны! Они хотят отправить тебя обратно!

Полицейские оттащили меня от окна. Тен в своей комнатке что-то кричала, но до меня не доносилось ни звука.

— Поверьте, мне совсем не хочется этого делать, но я вынужден, — сказал человек в костюме.

— Когда?

— Мистер Гидденс...

— Только скажите мне — когда? Сколько у нее еще времени?

— Обычно высылке предшествует непродолжительный административный арест с правом обжалования решения властей, но поскольку в данном случае речь идет о безопасности всего общества...

— Поскольку речь идет о безопасности общества, вы намерены вышвырнуть ее прямо сейчас?

— В моем приказе сказано «немедленно», мистер Гидденс. Эти джентльмены, — мужчина кивнул на полицейских, — отправятся с вами к вам домой. Если бы вы смогли собрать ее вещи...

— Но позвольте мне хотя бы попрощаться с ней! Господи Иисусе, вы не можете мне отказать!

— Могу и должен, мистер Гидденс. Существует опасность заражения...

— Заражения? Да ведь я жил с ней целых полгода!..

Когда полицейские уже выводили меня из комнаты, врач, молчавший на протяжении всего разговора, нашел наконец

нужные слова:

— Нанопроцессоры в крови мисс Би...

— Именно из-за них вы собираетесь вышвырнуть ее из страны!

— Фуллерены...

— Да, я знаю, что на ней все заживает, как на собаке, даже быстрее. Ну и что с того?

— Вы не понимаете, мистер Гидденс. Фуллерены не только помогают ткани регенерировать. Не исключено, что мисс Би никогда больше не будет болеть. Кроме того, у нас есть сведения, что фуллерены препятствуют быстрому истощению теломеров* [Теломер — конец хромосомы, лежащий дистально от цетромеры.] при делении клеток.

— И что это значит?

— Это значит, что мисс Би стареет гораздо медленнее, чем мы с вами. Благодаря этому она может прожить... даже не знаю — сколько. Может, лет двести, триста или даже больше.

Я уставился на него. Полицейские тоже вытаращили глаза.

— Но и это еще не все. В мозгу мисс Би обнаружены неизвестные образования. Что это такое, мы не знаем, однако существует гипотеза, согласно которой нанопроцессоры используют мертвые нейроны для создания второй нервной системы.

— Это означает — второй мозг?..

— Я бы сказал — дополнительный мозг.

— И для чего он нужен?

— Для чего?.. — Врач отер губы тыльной стороной ладони. — Для всего, мистер Гидденс. Это, конечно, просто догадка, но...

— Но?..

— Каким-то образом она может его контролировать. Лично я считаю... правда, это чисто умозрительное заключение... что дополнительный мозг нужен для организации взаимодействия с нанопроцессорами. Мисс Би способна отдавать им команды, программировать их.

— Спасибо, что просветили меня, — сказал я с горечью. — Это, конечно, все упрощает.

Я отвез полицейских к себе домой и сказал, что они могут выпить на кухне чаю — пусть только заваривают сами. Тем временем я собрал с полок книги и компакт-диски, вынул из комода аккуратно сложенное белье Тен и забрал из ванной комнаты туалетные принадлежности. Все это я положил в те же две сумки, с которыми она переехала ко мне. Сумки я отдал полисменам, и они унесли их в машину.

С Тен я так и не попрощался. Я даже не узнал, каким рейсом

и с какого аэродрома она отправилась в очередное изгнание. Ее лицо за стеклом — вот и все, что у меня осталось. Случилось то, чего я так боялся — слепая, безумная судьба отняла у меня Тен.

После того как Тен исчезла, я на некоторое время словно обезумел. Я не замечал ни солнечного света, ни ветра, ни дождя. Дни и ночи перестали для меня существовать, и единственной реальностью, которую я еще мог ощущать, был тоскливый, пронзительный вой, который, не прекращаясь, звучал у меня в ушах.

Я думаю, это тосковала моя душа.

Коллеги держались в моем присутствии подчеркнуто спокойно, словно ничего не произошло. Только оставшись со мной наедине, кто-нибудь из них очень осторожно интересовался, как я себя чувствую.

— Как я себя чувствую? — отвечал я. — Как человек, которого застрелили наповал, а он об этом не знает.

Всю бухгалтерию «Островов» я передал другому работнику. Уинтон несколько раз звонил мне, но я не смог с ним разговаривать. Тогда он прислал мне бутылку своего знаменитого ямайского ликера и записку: «Приходи в любое время, тебе всегда будут рады». Вилли устроил мне отпуск и договорился о нескольких психотерапевтических сеансах.

Этого парня звали Грег. Он был из тех специалистов, которые полностью ориентированы на пациента. Это означало, что я могу говорить сколько угодно и о чем угодно, а он обязан все это слушать. Но во время наших сеансов я говорил очень мало — отчасти потому, что чувствовал себя глупо, отчасти потому, что мне вообще не хотелось ни с кем разговаривать. Но понемногу — я и сам не заметил как — это стало срабатывать. Впервые я ощутил пользу от психотерапевтических сеансов, когда мне вдруг стало ясно — Тенделео исчезла, но не умерла. Последняя фотография Африканского континента все еще была примагничена к моему холодильнику, и, бросив на нее взгляд, я вдруг понял кое-что новое: где-то там, под тонким облачным покровом, живет Тен.

Это открытие подействовало на меня двояким образом. С одной стороны, я был оглушен, ошеломлен открывшейся мне истиной. С другой стороны, я все еще боялся спугнуть вновь затеплившуюся во мне робкую надежду.

Мои ощущения можно сравнить с тем, что испытывает человек, внезапно оказавшийся в кромешном мраке. В такой ситуации он обычно воображает себе комнату, где нет ни окон, ни дверей и, следовательно, никакого выхода. Но когда проходит первоначальное потрясение, этот человек начинает слышать

звуки, ощущать на своем лице движение воздуха, чувствовать едва уловимые запахи, и понемногу ему становится ясно: он и не в комнате вовсе, а движение воздуха — это просто ветер, звуки — голоса ночных птиц, запах — благоухание распустившихся к вечеру цветов.

А главное — он начинает различать над собой бледные пятна далеких звезд.

Когда я рассказал о своих ощущениях Грегу, он ничего не сказал. Эти ориентированные на пациента психоаналитики никогда ничего не комментируют, но я не особенно нуждался в его оценке. Сразу после сеанса я засел за компьютер и начал разыскивать в Сети следы Тенделео Би.

По закону о праве на информацию никто не мог запретить мне воспользоваться данными Иммиграционной службы. Там я узнал, что Тен отправили в Момбасу самолетом военно-транспортной авиации. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Момбасе поместило ее в Ликони-12 — новый лагерь, расположенный к югу от города. Но двенадцатого декабря* [День независимости Кении.] Тен перевели в другое место, и мне понадобилось два дня, чтобы отыскать ее в списках лагеря Северный Самбуру. В разделе медицинских данных сообщалось, что у Тенделео Би зафиксированы средней степени истощение и обезвоживание организма, которые, однако, легко поддавались лечению глюкозой и солевыми таблетками. Но главное — Тен была жива!

В середине декабря после почти трехмесячного отсутствия я вернулся на работу. Это было в понедельник, а уже в пятницу Вилли принес мне распечатку вакансий, полученную из онлайнового рекрутингового агентства.

— Мне кажется, — сказал он, — тебе будет полезно сменить обстановку. А этим парням как раз нужен толковый бухгалтер.

«Парнями» оказались «Врачи без границ», и бухгалтер был нужен им не где-нибудь, а в восточноафриканском регионе.

И вот через восемь месяцев после того, как два полисмена забрали из квартиры вещи Тен, я впервые ступил на землю Кении в аэропорту Момбасы.

Мне сразу показалось, что именно так должен выглядеть настоящий ад. Момбаса доживала свои последние дни в качестве столицы Республики Кении. Разрушенные дома, дороги и отели, перебои с электричеством и водой, коллапс экономической жизни — все это еще больше усугублялось присутствием сотен и сотен тысяч беженцев, сконцентрированных в лагерях Ликони и Шимба, а также в гавани Момбасы, где они жили в лодках или на самодельных плотах. Христианство и ислам ожесточенно дрались

за контроль над этим постоянно бурлящим котлом, а с запада (после того как в Танга упал еще один биоконтейнер) и с юга к городу подступало чаго.

В самом центре этого бедлама оказался ваш покорный слуга, специалист по финансам.

Моя работа в восточноафриканском отделении «Врачей без границ» была нелегкой, но зато стабильной и серьезной и заключалась в том, чтобы покупать медикаменты и перевязочный материал где угодно, когда угодно и как угодно, торговаться с водителями грузовиков и русскими летчиками, заключать контракты на ремонт и поставку запасных частей для наших «лендроверов», не выдерживавших беспощадной, круглосуточной эксплуатации. Бюджет «Врачей без границ» был не особенно большим, и, чтобы удовлетворить самые насущные нужды, приходилось перетряхивать его чуть ли не каждый день, понемногу урезая там или сям и прибавляя, сколько нужно, здесь. Все же эта работа нравилась мне гораздо больше, чем любая другая. Я был так занят, что порой даже забывал, зачем я вообще приехал в Африку. И только на пути из офиса в поселок, глядя из окна охраняемого автобуса на дым, вставший над гаванью, или прислушиваясь к треску выстрелов, эхом отражавшемуся от глухих стен домов арабской постройки, я вспоминал лицо Тен за зеленоватым армированным стеклом и чувствовал, как внутри у меня все переворачивается.

Моим начальником в Африке был француз Жан-Поль Гастино — стреляный воробей, побывавший во всех «горячих точках» и очагах эпидемий на всех континентах за исключением разве что Антарктиды. Жан-Поль любил гаванские сигары, оперу, красное вино из той долины во. Франции, где появился на свет, и не привык отказывать себе ни в одном из перечисленных удовольствий, как бы дорого они ни обходились. Он не терпел вранья и не боялся абсолютно ничего. Жан-Поль мне очень нравился. Меня он в глаза называл слабосильным негритосом, годным только на то, чтобы жонглировать цифрами, однако мой творческий подход к бухгалтерии ему определенно импонировал. К сожалению, в Момбасе его таланты не находили применения — по характеру Жан-Поль был настоящим фронтовым врачом. Во всяком случае, он не мог ни минуты посидеть спокойно — его беспокойная натура требовала действий.

Однажды в обеденный перерыв я зашел к нему в кабинет. Жан-Поль как раз откупоривал бутылку своего знаменитого вина. Когда я поинтересовался, легко ли отыскать в лагерях беженцев какого-то определенного человека, он бросил на меня проницательный взгляд и спросил:

— Кто она?

Я ответил не сразу, и Жан-Поль воспользовался паузой, чтобы наполнить вином и второй стакан. Этот жест был настолько дружественным, что вся моя неловкость куда-то испарилась. За бутылочкой вина (оно оказалось весьма и весьма приличным) я рассказал ему всю мою историю.

— Официальным путем ни черта не добьешься, — сказал Жан-Поль, выслушав меня. — Так что лучше всего поездить по лагерям самому. Кстати, приятель, ты знаешь, что тебе положен отпуск?

— Вы ошибаетесь.

— А я говорю — положен. Недели три или около того. Возьми с собой вот это... — Жан-Поль порылся в ящиках своего письменного стола и бросил мне на колени коробочку из черного пластика, похожую на мобильный телефон-переросток.

— Что это?

— Все американские идентификационные чипы имеют микросхему-ответчик глобальной поисковой системы. Американцам, видишь ли, очень нравится знать, где находятся их парни. Если твоя подруга «зачипована», ты без труда ее найдешь.

— Спасибо, мсье. Он пожал плечами:

— Французы — нация романтиков, к тому же, хотя ты и черномазый, в этих краях только ты сумел по достоинству оценить настоящее «Бьюне».

Я вылетел на север на русском грузовом самолете. В иллюминатор мне было хорошо видно границу чаго. Оно казалось слишком большим и громоздким, чтобы являться частью ландшафта или географическим объектом. Невольно я сравнил его с угрюмым и мрачным морем, но тут же мне пришло в голову, что это неверно. Чаго выглядело так, словно оно было... другим миром, незаметно вызревавшим рядом с нашим, пока, подобно великим идеям, не стало слишком большим, чтобы уместиться в тесные рамки наших привычных воззрений. А не вместившись в эти рамки, чаго неминуемо должно было взломать их, взорвать, изменить до неузнаваемости. И если врач из манчестерской больницы не солгал и не ошибся, когда говорил о возможных свойствах фуллеренов в крови Би, значит, речь шла не только о новом мире, но и о новом человечестве, а также о том, что все правила, все законы и закономерности, на основе которых мы привыкли строить свою повседневную жизнь, вот-вот полетят ко всем чертям!

Впрочем, подумал я, лагеря беженцев тоже стали слишком велики, чтобы свободно вписаться в наше устоявшееся мировоззрение. Самим своим существованием они были способны

разрушить уютные маленькие мирки, которые мы с таким тщанием и терпением создавали каждый вокруг себя. Стоит однажды увидеть такой лагерь своими глазами, и все, во что ты верил до этого, окажется ниспровергнутым, разрушенным, поставленным с ног на голову. В этом смысле — да и в других тоже — все, что происходило в Момбасе в те дни, не было генеральной репетицией конца света. Это и был самый настоящий конец света во всем его неприкрытом уродстве.

— Значит, ты кое-кого ищешь, — сказал мне Хейно Раутавана. Жан-Поль работал с ним еще в Найроби; он уверял, что ему вполне можно доверять, однако я, вне всякого сомнения, казался Хейно полным идиотом или в лучшем случае наивным романтиком. — Людей у нас порядочно.

Я знал, что официальные списки могут быть неполными или неточными, но не переставал надеяться на лучшее. Свои поиски я начал с Северного Самбуру, где Тен была зарегистрирована в последний раз. Однако ее следов я не обнаружил. Инспектор комиссариата ООН — маленькая американка с суровым лицом — напрасно водила меня туда и сюда вдоль палаток. Сколько я ни вглядывался в лица беженцев, Тен нигде не было, и пеленгатор в моем набедренном кармане тоже молчал.

Ночью я, словно наяву, увидел эти лица на потолке моей комнаты, да и в последующие ночи они часто мне снились.

— Неужели ты рассчитывал, что тебе сразу повезет? — спросил меня Хейно, когда мы тряслись в «лендровере» «Врачей без границ» по дороге в лагерь Дон-Дуль.

В Дон-Дуле мне, однако, повезло, если это можно так назвать. Тен, несомненно, побывала здесь два месяца назад, но в лагере она проживала всего восемь дней. В регистрационном журнале была запись о прибытии и убытии, но никаких сведений о том, куда ее могли отправить, я не обнаружил.

— Лагерей здесь тоже хватает, — «утешил» меня Хейно, основным качеством которого, как я успел заметить, был мрачный скептицизм. Сопровождать меня дальше он не мог, зато с его помощью мне удалось обзавестись документами, дававшими мне право путешествовать с колоннами «Красного креста». Такие поездки регулярно предпринимались вдоль северной границы чаго. За те две недели, что длился рейс, я увидел нищеты и горя больше, чем (как мне казалось раньше) способно вынести человеческое существо. Я смотрел на осунувшиеся лица, протянутые к нам худые руки, согнутые голодом и дизентерией тела, закутанные в тряпье, и думал: зачем непременно нужно держать всех этих людей здесь? От чего мы их спасаем? Разве внутри чаго так плохо? Пусть люди станут жить дольше,

перестанут болеть, обзаведутся дополнительным мозгом!

Само чаго я так и не увидел. Оно лежало где-то за линией горизонта на юге, однако я постоянно ощущал его близость — так люди, которым в череп вживлена металлическая пластинка, ощущают постоянное давление. Иногда вместо лиц беженцев, которые преследовали меня даже во сне, меня будил странный, не похожий ни на что запах — не сильный, но вполне различимый, слегка напоминающий фрукты, чуть мускусный, теплый, слегка эротичный. Это был запах чаго, который нес с собой южный ветер.

Так я путешествовал вдоль границы, ночуя то в палатке, то в кузове грузовика. Мой трехнедельный отпуск подходил к концу; пора было договариваться о возвращении в Самбуру и обратном перелете в Момбасу. Мне оставалось всего три дня, когда я попал в Элдорет, региональный центр ЮНЕКТА на озере Виктория.

Элдорет буквально бурлил. В отелях, магазинах, кафе было не протолкнуться, однако белые лица, американский акцент и европейское платье ясно указывали, что поселок этот еще принадлежит цивилизованному миру. Гостиница «Рифт Вэли», где я остановился, казалась раем после восемнадцати дней, проведенных в буквальном смысле на передовой. Я просидел целый час в бассейне, чувствуя себя наверху блаженства. Внезапно налетевшая гроза разогнала всех, кроме меня. Я продолжал сидеть по шею в воде, любуясь тем, как крупные дождевые капли, словно пули, буравят спокойную гладь вокруг меня.

На закате я отправился по лагерям. Они располагались к югу от поселка — с той стороны, где наступало чаго. Так гонят навстречу врагу ополченцев, давая регулярным войскам возможность перегруппироваться. Только на этот раз никакой армии не было — был только поселок белых, готовых эвакуироваться при малейших признаках опасности.

Для проформы я сверился с регистрационными записями, но никакой Тенделео Би не обнаружил. Тем не менее я отправился осматривать лагерь. Он ничем не отличался от тех, которые я уже видел, а ужасы на меня почти не действовали. Человек привыкает к виду чужих страданий, и другого выхода нет. Если ты остановился в большом отеле, где у тебя есть возможность купаться в бассейне и заказывать в номер нормальные обеды, ты просто вынужден смотреть на лица беженцев спокойно, не думая о том, какая грустная история может стоять за их скорбными, исполненными молчаливого горя взглядами. Самые несентиментальные, суровые, жесткие люди, каких я когда-либо знал, работают именно в разного рода фондах поддержки и благотворительных программах.

Я довольно спокойно шагал вдоль бесконечного ряда палаток, пока где-то на половине пути не вспомнил о той игрушке, которую дал мне Жан-Поль. Я вытащил ее из кармана. Небольшой экран светился зеленым. На нем было только два слова: «Обнаружен сигнал».

Я чуть не выронил пеленгатор.

Мне казалось — сердце вот-вот остановится. Ощущение было такое, будто кто-то всадил мне пулю между глаз. Я перестал дышать. Казалось, земля заколебалась под ногами, и все окружающее как-то опасно накренилось. Пальцы дрожали так сильно, что мне долго не удавалось перевести пеленгатор в другой режим. Кое-как справившись с ознобом, я побежал вдоль ряда палаток, пристально вглядываясь в меняющиеся цифры на экране. Они показывали, в скольких метрах к северо-востоку от меня находится источник сигналов. Цифры увеличивались, и я сообразил, что бегу не в ту сторону. Развернувшись, я нырнул в просвет между палатками и помчался на восток. Цифры на экране начали уменьшаться, потом остановились и снова принялись расти. Перелет. Я снова повернул назад. Кажется, сюда. Да, точно, сюда. Изо всех сил напрягая зрение, я всматривался в сгущающиеся сумерки. В конце очередного ряда палаток несколько человек беседовали друг с другом при свете желтой керосиновой лампы. Я снова побежал, продолжая одним глазом коситься на экранчик прибора. Я спотыкался о растяжки палаток, опрокидывал ведра, расшвыривал детей, извинялся перед рассевшимися на дороге старухами. Цифры на экране продолжали сменять друг друга с калейдоскопической быстротой. Вот осталось тридцать пять, тридцать, двадцать пять метров. Даже в темноте я различил в группе людей фигуру, одетую в полевую форму защитного темно-вишневого цвета. На восток — ноль, на север — двадцать, восемнадцать, шестнадцать... Судя по очертаниям, замеченная мною фигура принадлежала женщине. Двенадцать метров, десять... Она была невелика ростом, и у нее были короткие, мягкие, стриженные «ежиком» волосы. Восемь метров. Шесть. За четыре метра до нее я остановился, не в силах двинуться с места. Я не мог даже говорить. Если не считать крупной дрожи, сотрясавшей все мое тело, я был полностью парализован.

Почувствовав мое присутствие, молодая женщина обернулась. Желтый свет керосиновой лампы упал на ее лицо.

— Тен... — с трудом проговорил я.

Ее лицо отразило пятьдесят, нет — сто чувств одновременно! В следующую секунду Тен бросилась ко мне, и я, выронив пеленгатор, подхватил ее на руки и прижал к себе.

Не думаю, чтобы кто-то сумел выразить словами то, что я чувствовал в эти минуты.

Так вновь пересеклись наши жизни, и моя история близится к завершению.

Я верю, что человеческие чувства способны каким-то образом влиять на время и пространство. Только так я могу объяснить тот факт, что еще до того, как обернуться, я догадалась — это Шан пришел за мной. Я знала — он искал меня и наконец нашел. Казалось бы, в этом ничего особенного нет, но для меня все было иначе. Ведь ради меня Шан совершил невозможное. Когда я увидела его там, в лагере, я испытала самое сильное в жизни потрясение. Мне даже казалось, что мир, который до сих пор только и делал, что пытался навязать мне свои совершенно неприемлемые для меня правила и законы, внезапно сказал: «Нет, я готов изменить правила игры ради тебя, Тенделео, так будет справедливо». Как бы там ни было, Шан совершил невозможное. Он сумел изменить то, во что я верила и знала; он был со мной, и этим все сказано.

Бывает, от слишком большой радости люди плачут, а от горя — смеются.

Шан отвез меня в отель. Пока в вестибюле он ждал свой ключ-карточку, персонал пристально меня разглядывал. Все они знали, кто я такая, но никто не посмел сказать ни слова. Даже белые, сидевшие в баре, оборачивались и глазели на меня. Им тоже было известно, что означает одежда вишневого цвета.

Потом мы с Шаном поднялись к нему в номер, заказали пива и сели на балконе. В тот вечер была гроза — здесь, в горах, по ночам часто случались грозы, но эта бушевала среди отрогов Нанди к западу от Элдорета. Молнии вспыхивали в просветах между тучами, а при каждом раскате грома пивные бутылки на шатком железном столике между нами тихонечко звякали. Я рассказала Шану, где я была все это время, что делала, как жила. Это была долгая история, и к тому времени, когда я закончила, небо очистилось и на востоке занялась заря нового дня. Когда-то мы с Шаном часто беседовали так, рассказывая друг другу о себе.

Он не задал мне ни одного вопроса, пока я не закончила, хотя по глазам я видела, что вопросов у него очень, очень много.

— Да, наверное, это действительно похоже на старые подземные рельсовые дороги, которые прокладывали рабы, — ответила я на один из них.

— Никак не пойму, почему людям не дают ходить туда и обратно, — пожал плечами Шан.

— Потому что они нас боятся. Я имею в виду ООН, а

особенно — развитые страны... С помощью чаго мы можем создать общество, которое не будет нуждаться в их подачках. Мы являемся живым вызовом всем их идеалам. Там мы как будто снова возвращаемся к колыбели человечества, когда не существовало ни философии, ни религии, ни законов. Чтобы приобрести что-то, достаточно на это просто взглянуть. Или, вернее, вообразить... Вспомни сказки — разве не к этому исстари стремились люди? Что ж, теперь они сбылись. Я читала, изучала политику, философию и многое другое. Все это есть там... — Я махнула рукой в сторону горизонта. — Ты можешь вообразить банки данных, хранилища информации размером с самый большой небоскреб? Я могу, потому что видела их собственными глазами. И там содержатся данные, касающиеся не только нашей истории. Каждый может узнать все о других народах, о других расах разумных существ. И не только узнать — можно отправиться к ним, стать ими, жить их жизнью, видеть, познавать окружающее при помощи их органов чувств. Мы не первые, Шан. Мы только звено в длинной-предлинной цепочке, и история на нас не заканчивается. Но это не мешает нам владеть всем миром. Мы сможем контролировать, изменять физическую реальность, приспосабливать ее к своим нуждам так же легко, как компьютер обрабатывает информацию.

— Да бог с ними, с мировыми державами!.. Ты пугаешь *меня,* Тен!

Мне всегда нравилось, когда он называл меня Тен. В том, как Шан это произносил, было что-то особенное, неповторимое.

Потом он спросил:

— А как же твоя семья?

— Маленькое Яичко живет в поселке, который называется Киландуи. Там собрались ткачи, и она теперь тоже ткачиха. Они изготавливают превосходную парчу. Я часто с ней вижусь.

— А твои отец и мать?

— Я обязательно их найду.

Но на большинство вопросов я могла дать только один ответ: «Идем со мной, и я все тебе покажу».

Этот ответ я приберегла напоследок. И, как я и ожидала, он потряс Шана. Бедняга даже покачнулся, словно от удара.

— Похоже, ты говоришь серьезно... — пробормотал он.

— Почему бы мне не быть серьезной? Однажды ты привел меня к себе домой, позволь теперь мне пригласить тебя к себе. Но сначала скажи... Все-таки прошел целый год и многое изменилось...

Шан понял.

— Этот костюм тебе очень идет, — сказал он. — И ты по-

прежнему мне очень нравишься.

Мы много смеялись, вспоминали прошлое, которое почти позабыли. Было очень приятно стряхнуть пыль, пепел и ржавчину и снова почувствовать себя живым человеком. Я помню, как заглянувшая в номер горничная увидела нас, невольно ахнула... и ушла, хихикая и зажимая рот ладонью.

Шан однажды сказал мне, что «Золотой век» великой Британской империи, век ее наибольшего расцвета, зиждился на четырех простых словах — почему бы и нет? На протяжении целого тысячелетия христианство правило Англией с помощью вопроса «Зачем?». Зачем нужно возводить соборы, писать пьесы, открывать новые земли, развивать новые науки, основывать банки и строить заводы? На этот вопрос елизаветинская эпоха ответила просто: «Почему бы и нет?» — и с этого все началось.

По складу характера Шан оказался тем самым жителем елизаветинской эпохи, который на любой вопрос способен был ответить: почему бы и нет? Я не сомневаюсь, что ему вовсе не хочется возвращаться к колонкам цифр, дебету и кредиту, к налоговым ловушкам — к унылому, серому городу, к унылому, серому, умирающему миру, который, хотя и выглядел стабильным и безопасным, ничего не обещал в будущем. Я же предлагала ему мир совершенно новый, молодой, который бы мы могли строить своими собственными руками. Я предлагала будущее, и не только для нас, но и для миллионов других людей. Перед нами лежали тысячи дорог, тысячи способов устроить свою жизнь, а главное, если бы вдруг что-то не задалось, у нас всегда оставалась возможность скатать созданное, как ком гончарной глины, и начать лепить заново.

Мне это было очевидно, но я не торопила Шана с ответом. Он, как и я, понимал, что ему предстоит сделать трудный выбор. Потерять свой мир — или потерять друг друга; именно так стоял вопрос, а с подобными проблемами мы сталкиваемся далеко не каждый день. Поэтому, пока он думал, я вовсю наслаждалась удобствами, которые мог предоставить мне отель.

В один из дней я решила принять ванну. В номере была отличная ванная комната, где к тому же было полным-полно разных приятных мелочей, выдававшихся бесплатно. И вот, лежа в душистой горячей пене, я услышала, что Шан снял телефонную трубку. О чем он говорил, с кем говорил, я не поняла, однако беседа заняла у него несколько минут.

Когда я вернулась в спальню, мой друг сидел на кровати, а рядом на покрывале стоял телефонный аппарат. Лицо у Шана было очень строгое и официальное.

— Я только что звонил Жан-Полю, — заявил он. — И сказал

ему, что увольняюсь.

Через два дня мы отправились к границе чаго. Ехать пришлось на матату. В школах как раз начались каникулы, и в кузов скоро набилось очень много детей, возвращавшихся домой, к родителям. Садясь в матату, дети галдели, смеялись, шумели, и было видно, что оптимизма и энергии им не занимать. Но, углядев нас, они тотчас наклонялись друг к другу и принимались о чем-то шептаться. Шан это заметил.

— Они обсуждают нас, — сказал он.

— Просто они знают, кто я такая и чем занимаюсь. Одна из девочек, одетая в черно-белую школьную

форму, как видно, понимала по-английски. Наградив Шана убийственным взглядом, она сказала:

— Тенделео — воин. С ней мы снова станем народом.

Большинство детей вышли в Капсабете, где они пересаживались на другие матату. Мы не поехали дальше и вскоре оказались в самом сердце Нанди. Это была холмистая, зеленая возвышенность, отдаленно похожая на родину Шана — Англию. Я попросила водителя остановиться сразу за придорожным металлическим крестом, воздвигнутом на том месте, где когда-то давно скончался или погиб кто-то из путников.

— И что дальше? — спросил Шан, садясь на небольшой рюкзачок с теми немногими вещами, которые я разрешила ему взять с собой.

— Дальше будем ждать, — ответила я. — Не волнуйся, это недолго.

По красной глинистой дороге проехало двадцать автомобилей, навстречу им прошла санитарная колонна, два грузовика и междугородный автобус. Потом из мрака между деревьями бесшумно возникли Меджи, Хамид и Наоми, похожие не то на тени, не то на персонажи из сновидения. Они помахали нам рукой. Позади них из зарослей выходили мужчины, женщины, дети — целые семьи, включавшие грудных младенцев и древних стариков. Всего их было два десятка человек — два десятка наших новых граждан, которые по одному появлялись из темноты, боязливо оглядывались и бегом пересекали прямую как стрела пустынную дорогу.

Поздоровавшись со мной, Меджи смерил Шана взглядом.

— Это он?

— Да, это Шан.

— Я думал, он будет, гм-м...

— Белее? — спросил Шан.

Меджи рассмеялся и, пожав ему руку, представился сам и

назвал остальных проводников. Затем он достал из кармана аэрозольный баллончик и принялся опрыскивать Шана защитным спреем. Шан отскочил и закашлялся:

— Что это за штуковина?

— Стой спокойно, если не хочешь, чтобы твоя одежда рассыпалась на куски, когда мы войдем в чаго, — сказала я.

Наоми перевела мои слова остальным. Раздался дружный смех — очевидно, ситуация показалась собравшимся довольно комичной.

Закончив обрабатывать одежду Шана, Меджи побрызгал из баллончика его рюкзак.

— Дальше пойдем пешком, — объяснила я Шану. Ночь мы провели в хижине вождя в деревне Сенгало.

Это была конечная остановка нашей железной дороги. Еще в бытность свою одной из «Девочек Дуста» я твердо усвоила, что друзей нужно заводить где только можно. Поэтому я не стала прятать Шана от тех, кто приходил в деревню поглазеть на «живого чернокожего англичанина», рассудив про себя, что от него не убудет. Правда, сначала Шан счел столь бесцеремонное разглядывание унизительным, но в конце концов успокоился и рассказал любопытствующим свою историю. Я, как могла, переводила. Когда Шан закончил, толпа, собравшаяся у дома вождя, захлопала в ладоши и защелкала пальцами в знак одобрения.

— Ах, Тенделео, разве мне с ним сравниться? — полушутя сказал Меджи, когда люди разошлись.

В ту ночь я спала плохо и часто просыпалась. Мне чудилось гудение самолета, приближавшегося к деревне под прикрытием грозового фронта.

— Я тебе мешаю? — спрашивал Шан сквозь дрему.

— Нет, не ты. Спи спокойно.

Нас разбудил солнечный свет, пробивавшийся сквозь щели в стене из толстых бамбуковых стволов. Пока Шан умывался перед хижиной (за ним пристально следили десятка три ребятишек, живо интересовавшихся, сойдет или не сойдет от воды черная краска), мы с вождем настроили его коротковолновый приемник на частоты, которыми пользовалась ООН. В эфире шел активный радиообмен на клингонском наречии* [язык обывателей планеты Клинтон из сериала «Звездный путь»; в свое время пользовался популярностью среди фэнов.], но нас это не сбило. Вы, американцы, считаете, что только вы смотрите «Звездный путь».

— Их кто-то предупредил, — сказал вождь.

И мы начали доставать оборудование и снаряжение из тайника под домом вождя. Шан с интересом наблюдал за тем, как

Хамид, Наоми, Меджи и я надевали коммуникаторы. Он ничего не сказал, когда черно-зеленый комок чаго-пластика укрепился у меня на затылке и вырастил два щупальца, протянувшиеся к моему уху и губам, и только покачал головой.

— Можно? — спросил он, протягивая руку к моему посоху.

— Не бойся, он тебя не укусит.

Шан пристально разглядывал янтарно-желтый, величиной с кулак набалдашник с выгравированным на нем изображением шара, состоявшего из черных и белых шестиугольников.

— Это что — футбольный мяч? Не знал, что ты болельщица, — заметил он.

— Это «сфера Бакминстера», схематическое изображение молекулы фуллерена, — объяснила я. — Можно сказать, что это наш герб, символ нашего могущества.

И снова Шан ничего не сказал, просто молча вернул мне посох. Мы тем временем достали наши автоматы, зарядили, проверили и тронулись в путь. В тот день мы шли через заброшенные поля и разрушенные деревни на восток вдоль отрогов Нанди. И все это время мы слышали далекий гул вертолетов. Время от времени мы даже видели их сквозь разрывы в плотном покрывале листвы над нашими головами. Вертолеты кружили высоко в небе и напоминали крупных черных москитов. Стариков и женщин рев их турбин пугал: я тоже тревожилась, хотя и не хотела этого показывать. Отозвав проводников в сторону, я сказала:

— Вертолеты нас нагоняют.

Хамид кивнул. Это был тихий двадцатидвухлетний парень с черной, как у настоящего эфиопа, кожей, козлиной бородкой и грустными темно-карими глазами. Несмотря на молодость, он успел окончить факультет политологии Университета Найроби.

— Но ведь каждый раз мы идем другим путем, — сказал он. — Откуда они узнали, какую тропу мы избрали сегодня?

— Нас кто-то предал, — предположил Меджи.

— Не может быть! Ведь мы выбрали этот маршрут совершенно случайно.

— А если они перекрыли все маршруты? — возразил Меджи.

После полудня мы начали спуск к долине Рифт и границе чаго. Когда мы ступили на старую, все еще скользкую после ночного дождя охотничью тропу, вдоль склона с ревом пронесся боевой вертолет, и мы бросились врассыпную в поисках укрытия. Вертолет развернулся и прошел над нами еще раз — так низко, что я различила, как бликует в лучах солнцезащитный щиток пилотского шлема.

— Они играют с нами в «кошки-мышки», — проворчал Хамид.

— На самом деле ничто не мешает им расстрелять нас здесь.

— Но как они нас нашли? Как они следят за нами? — воскликнула Наоми, которая обычно говорила только то, что было совершенно необходимо и когда это было необходимо.

— Мне кажется, я знаю, — вмешался Шан, прислушивавшийся к нашему разговору. Он спустился, или, точнее, сполз по тропе к нам и встал рядом как раз в тот момент, когда вертолет сделал третий заход, раскачивая вершины деревьев и засыпая нас сорванными с ветвей листьями и сучками.

— Все дело в этом, — сказал Шан, похлопав меня по руке. — Если я смог найти тебя, они и подавно сумеют.

Я закатала рукав. Иудин чип глубоко под кожей как будто даже нагрелся, и запястье пульсировало, словно после укуса ядовитого насекомого.

— Возьми меня за руку, — велела я Шану. — Держи крепче и не выпускай, что бы ни случилось!

Прежде чем он успел что-то возразить, я вытащила нож. Такие вещи нужно делать сразу. Стоит на секунду задуматься и потом уже никогда не решишься. С другой стороны, и промахиваться нельзя, потому что отважиться на вторую попытку еще труднее.

Взмахнув ножом, я всадила его в руку чуть выше запястья. Короткое движение вниз, поворот клинка, и вот я уже зацепила предательский чип острием. Рывок — и окровавленная микросхема упала на землю.

Было чертовски больно, но кровь сразу остановилась, и рана закрылась.

— Придется мне принять меры, чтобы не потерять тебя снова, — заметил Шан.

Очень тихо и очень осторожно мы снова собрали нашу группу и один за другим стали спускаться по заросшему деревьями склону вниз, в долину, где людей уже нельзя было различить даже с вертолета. Насколько я поняла, боевая машина так и осталась наверху — караулить выброшенный нами чип-шпион.

В эту ночь мы спали под открытым небом, сбившись в кучу, чтобы согреться. А на третий день нашего путешествия мы наконец добрались до Тиндерета, где проходила граница чаго.

Тен вела нас достаточно быстро, словно ей не терпелось поскорее выбраться с кенийской территории. Часов этак с одиннадцати утра мы двигались вверх по отлогому склону могучей горы. В свое время мне доводилось ходить по горам, поэтому для меня в этом не было ничего нового, но детям и женщинам с младенцами на руках приходилось нелегко. Однако

когда я окликнул Тен и попросил сделать остановку, ее лицо на мгновение исказила гримаса нетерпения и гнева.

Привал наш оказался очень коротким. Казалось, не успели мы расправить усталые члены, как Тен уже двинулась дальше, и нам волей-неволей пришлось снова подниматься и взваливать на плечи пожитки. Я попытался догнать Тен, но она все ускоряла шаг, так что на подступах к вершине мы почти бежали.

— Шан! — крикнула она мне на ходу. — Скорее! Иди сюда!

И Тен снова припустила к вершине, лавируя между редеющими деревьями. Напрягая остатки сил, я бросился вдогонку, перепрыгивая неглубокие канавы и впадины в земле. Деревья внезапно расступились, и я оказался на гребне горы.

У самых моих ног начинался пологий спуск в зеленую долину, раскинувшуюся под горой. Кое-где внизу еще можно было различить красно-коричневые, серые и желтые пятна заброшенных полей и огородов. Открывшаяся мне перспектива — а с горы долина просматривалась минимум на пятьдесят километров — искажала, размывала естественные цвета растительности и участков голой земли, вызывая подсознательное желание протереть глаза. Но не успел я поднять руку, как произошло нечто совершенно невероятное. Долина внизу изменилась в одно мгновение, словно по мановению волшебной палочки. Красновато-коричневый марс* [железистый красящий пигмент.] и охра голой земли заиграли всеми оттенками бордо, прочерченного изломанными, словно молнии, ярко-алыми и белыми линиями. В следующее мгновение картина буквально взорвалась мне в лицо, превратившись в яркий цветной хаос и разлетевшись во все стороны, словно детские игрушки, высыпанные на пестрый китайский ковер. От обилия красок и оттенков заболели глаза и заломило в затылке, словно мозг не в силах был вместить увиденное мною богатство. И все же я продолжал смотреть, стараясь найти в происходящем хоть каплю смысла. Вот из хаоса внизу поднялась стена глубокого красного цвета. Высотой почти в гору, на которой я стоял, она была не сплошной, а состояла из титанических колонн или, точнее, гигантских древесных стволов. Должно быть, деревья были действительно огромными, если я смог разглядеть их даже с такого расстояния. На моих глазах они выбросили ветки и оделись густой ярко-малиновой листвой, накрывшей долину, словно кружевное одеяло. Чуть дальше этот удивительный полог представлял собой совершенно невообразимую смесь самых разных оттенков зеленого — от бледно-салатового до темно-бутылочного, и из него выступало несколько высоких холмов-останцов наподобие Башни Дьявола в Вайоминге или потухших

вулканов Пью ди Доум, но, в отличие от них, эти возвышенности блестели на солнце, точно стеклянные. Еще дальше земля, словно шкура тигра, была покрыта темно-коричневыми и светло-желтыми полосами, и над ней вздымались молочно-белые образования, напоминающие накренившиеся айсберги. Что творилось за ними, я уже не мог разглядеть отчетливо; совершенно ясно было одно — безумное буйство неземных красок тянулось до самого горизонта и, возможно, даже дальше.

Не знаю, сколько времени я стоял так, словно завороженный глядя на чаго. Я утратил всякое представление о времени. В какой-то момент я осознал, что Тен находится совсем рядом, но она не заговаривала со мной и не торопила. Она-то отлично знала, что чаго принадлежит к разряду вещей, которые нужно сначала увидеть, почувствовать и только потом можно попытаться как-то объяснить. Один за другим к нам присоединялись остальные члены группы. Вскоре уже мы все стояли, выстроившись в ряд на вершине горы, и в благоговейном молчании смотрели на наш новый дом.

А потом мы начали спускаться в долину.

Через полчаса Меджи, шедший впереди, знаком велел нам остановиться.

— Что там такое? — спросил я у Тен. Прежде чем ответить, она прикоснулась кончиками пальцев к своему коммуникатору. От него тотчас же отделилось еще одно гибкое щупальце. Выгнувшись, словно половинка яичной скорлупы, живой пластик прижался к ее правому глазу.

— Ничего хорошего, — сказала Тен. — Над Мененгаи виден дым.

— Мененгаи?

— Так называется поселок, куда мы идем. Меджи пытается вызвать его жителей по радио.

Я посмотрел на Меджи. Прижимая ладонь к уху, он внимательно оглядывал окрестности. Лицо его показалось мне обеспокоенным.

— И как?

— Никак.

— Что мы теперь будем делать?

— Пойдем дальше.

Мы продолжили спуск, явственно ощущая, как меняется температура. В долине было градусов на пятнадцать теплее, чем на возвышенности Нанди. Внизу нам пришлось пробираться то сквозь густой подлесок, то сквозь заросли кустарника, тянувшиеся вдоль заброшенных шоссейных дорог. Время от времени попадались нам и разрушенные деревни, но ни единой

живой души так и не встретилось. Четверо наших проводников-воинов держали оружие наготове, а Тен время от времени оглядывала небосклон своим волшебным чаго-глазом. Теперь я тоже видел дым и чувствовал его запах — запах горящих специй. Время от времени я слышал, как Меджи продолжает вызывать Менengai, но радио молчало.

Вскоре после обеда мы пересекли границу. Чаго ясно различимо только издалека, на самом же деле его граница совсем не такая четкая, как кажется, к примеру, с самолета. Под ногами у меня все еще были спутанная трава и колючие кустарники, но между их стеблями и корнями я вдруг начал замечать тонкие полоски голубого мха. Быть может, я бы не обратил на них внимания, если бы не странная, противоестественная прямизна волокон. Приглядевшись, я разглядел, что отдельные полоски соединяются точно под углом в сто двадцать градусов, образуя правильные шестиугольники, а те, в свою очередь, складываются в полупрозрачные шары, точнее, скелеты шаров, словно вплетенные в беспорядочную путаницу наших земных кустарников.

Впервые заметив это, я остановился как вкопанный. Тен в двадцати шагах впереди меня была уже в другом мире, а я замешкался на границе своего.

— Оно все равно дотянется до тебя, даже если не будешь шевелиться, — донесся до меня ее голос.

Я опустил глаза и увидел тонкие голубые ручейки, подкрадывавшиеся к моим ногам.

— Идем. — Тен вернулась назад и, протянув мне руку, перевела меня через последний рубеж. Очень скоро знакомая земная трава совершенно исчезла, уступив место чаго-растительности.

Почти до самого вечера мы пробирались через зону сплошных разрушений. Вокруг нас валились деревья, бесшумно проседали и растворялись в голубых лужицах непроходимые кустарники, таяла и исчезала трава. Взамен по сторонам тропы вырастали диковинные грибы и похожие на кораллы деревья. Прозрачные голубые пузыри стайками проносились у самого моего лица, но не касались его. Я шел сквозь чаго, как сквозь пылающую печь, — и был все еще жив.

Меджи велел остановиться под высоким выростом чаго-мха, похожим на стрельчатую арку готического собора. Ему наконец удалось с кем-то связаться, и он собирался сообщить нам неутешительные новости.

— На Менengai напали, — коротко сказал он.

Это известие взволновало всех. Люди затараторили,

забросали Меджи вопросами, и он поднял руку, призывая нас к молчанию.

— Это были африканцы, — сказал Меджи. — Кто-то снабдил их чагозащитными костюмами и оружием. У них на кокардах были буквы «АОК».

— Армия Освобождения Кении, — пояснила молчаливая Наоми.

— У нас есть враги, — добавил политолог Хамид. — Правительство Кении до сих пор считает районы, занятые чаго, своими и не упускает случая напомнить нам, кто хозяин в стране. Чиновникам хотелось бы постоянно гнать нас, травить, словно диких животных, не давая укрепиться на одном месте и начать строить новую жизнь. Так называемая Армия Освобождения Кении — это просто бандиты, которым Запад помогает оружием и деньгами.

— А что там насчет Менengai? — спросил я. Меджи покачал головой:

— Высочайший повел всех уцелевших на Ол-Паньята. Я перевел взгляд на Тен:

— Высочайший?! Это не... Она молча кивнула.

С Высочайшим мы встретились под сенью Большой Стены. Место было достаточно укромным и даже мрачным: вокруг теснились толстые, гладкие стволы, а плотное покрывало из гигантских листьев колыхалось и шумело чуть ли не в километре над нашими головами. Время от времени листва расходилась, и тогда на землю падал луч дневного света. В этом гигантском лесу люди казались карликами и невольно старались говорить тише, испытывая благоговение и страх. Должно быть, примерно так же чувствовали себя средневековые крестьяне в своих огромных соборах.

Странное это ощущение — знакомиться с кем-то, кого знал только по чужим рассказам. Все время хочется сказать: вы меня не знаете, но я много о вас слышал, и вы совсем не такой, каким я вас себе представлял.

Рассказ Высочайшего был прост и трагичен. Когда поселок проснулся, ничто не предвещало беды. Люди, как всегда, переходили со двора во двор, из дома в дом, переговаривались, сплетничали, обсуждали новости, пили кофе. Потом послышались чужие голоса и затрещали выстрелы, но жители поселка не сразу поняли, в чем дело. Пока же они гадали, что стряслось, вооруженные чужаки стремительно ворвались в поселок, крича и бранясь, стреляя на бегу во все, что двигалось, поджигая все, что попадалось им на глаза. Люди падали там, где их сразили пули, языки пламени вставали над соломенными крышами, словно

диковинные красные цветы, едкий дым застилал улочки между домами. На дальнем конце поселка чужаки развернулись и, промчавшись по улицам в обратном направлении, исчезли в зарослях. Все было проделано именно так — небрежно, быстро, жестоко. За каких-нибудь десять минут Менengаи превратился в покойницкую. Высочайший, впрочем, рассказывал об этом, словно о чем-то совершенно обычном, но костяшки его сжимавших посох пальцев побелели от напряжения.

Возможно, такова была жизнь в поселках внутри чаго, но для человека, который приехал из мирной, законопослушной страны, это казалось дикостью.

Разумеется, я видел драки и даже настоящие побоища, и они неизменно меня пугали, однако мне никогда не приходилось сталкиваться с жестокостью, о какой говорил Высочайший. И хотя я вместе со всеми прятался от вертолета на склоне горы, в глубине души я все-таки не верил, что летчик может открыть огонь — что он станет стрелять в меня из крупнокалиберных «гатлингов».

Точно так же не укладывалось у меня в голове, что бандиты из Армии Освобождения Кении, единственной целью которых было истребление народа чаго, могут находиться сейчас где-то поблизости, перевооружаясь, пополняя запасы провианта и боеприпасов из тайников или сброшенных с вертолета контейнеров, чтобы после короткого отдыха отправиться на поиски новых мишеней. Мне казалось, что это просто невозможно в таком величественном, почти святом месте. Встретить в лесу Большой Стены отряд наемников — абсурд!

Но Меджи и Тен поверили Высочайшему сразу. И как только мы снова смогли двигаться, они без всякой жалости погнали нас дальше.

— Куда мы идем теперь? — спросил я у Тен.

— На восток. У «Черных симба» есть несколько поселков в районе Кириньянги. Там по крайней мере можно обороняться.

— И далеко это?

— Три дня пути.

— Послушай, Тен, в нашей группе есть женщина, которая скоро не сможет идти вовсе. Я говорю о Хоуп... Насколько мне удалось выяснить, она где-то месяце на восьмом. Точнее я узнать не смог — Хоуп совсем не говорит по-английски, а я едва изъясняюсь на суахили. Я помог бедняжке перебраться через канаву, и она не знала, как меня благодарить. Ужасно приятно смотреть на ее огромный живот — ведь это значит, что жизнь продолжается и что ее так просто не одолеешь.

— Я знаю, — сказала Тен.

А я понял, что хотя она была вооружена, носила посох и переговорное устройство, решения давались ей нелегко. Господи, подумал я невольно, ведь тебе еще нет и двадцати, маленькая моя воительница!

Мы долго шли, петляя между огромными корнями деревьев, поддерживавших багрово-красную крышу нашего мира. Круглые набалдашники посохов в руках проводников начали светиться мягким желтым светом, и Тен объяснила мне, что это биолюминесценция. Освещая себе путь этими живыми фонариками, мы забирались все глубже в сырую и темную чащу леса-стены. Местность снова начала повышаться, медленно и равномерно, и я отправился в арьергард отряда, чтобы помочь Хоуп. Мы смогли даже поговорить, и это немного скрасило нам тяготы пути.

Лес Большой Стены неожиданно кончился, и мы вступили в царство грибов. Багровые поганки с широкими, мясистыми шляпками были в несколько раз выше моего роста, крупные дождевики осыпали нас мелкими желтыми спорами, лисички в форме гигантских воронок окатывали нас потоками холодной воды, собравшейся в углублениях шляпок, гроздья ложных опят белели в полумраке, словно пальцы мертвецов, а из листвы следили за нами крошечные мартышки с зеленоватой шкурой.

Карабкаясь по горным отрогам, напоминавшим растопыренные пальцы руки, мы поднимались все выше. Хоуп рассказывала, как во время налета на Менengаи погиб ее муж, а я не знал, как утешить бедняжку. Потом она попросила рассказать мою историю, и я попытался сделать это на скверном суахили, а желтые огоньки посохов вели нас все дальше, все выше...

— Тен!..

Мы как раз остановились, чтобы поужинать. Что хорошо в чаго, так это то, что здесь невозможно умереть с голода. Достаточно протянуть руку, и все, к чему ты ни прикоснешься, окажется съедобным. Тен сказала мне, что если закопать собственные экскременты, то на утро на этом месте можно найти очень вкусные клубни, однако последовать ее совету я так и не отважился. Как бы там ни было, для инопланетного завоевателя чаго относилось к насущным человеческим потребностям достаточно внимательно.

— Что?

— Боюсь, я ошибся, когда определил срок беременности Хоуп. Она готова родить с минуты на минуту.

Тен покачала головой.

— Скажи, если Хоуп начнет рожать, ты остановишься?

Она немного поколебалась.

— О'кей, мы остановимся... ненадолго.

Хоуп терпела еще два дня. За это время мы успели спуститься в небольшую долину, где нам пришлось буквально продираться сквозь пятнистые, словно шкура жирафы, шарообразные скопления чаго-мхов, и снова подняться на нагорье, которое было расположено куда выше, чем холмы и возвышенности Нанди.

— Где мы находимся? — спросил я Тен. Чаго до неузнаваемости изменило ландшафт, сделав непригодными даже самые лучшие карты, и мы ориентировались главным образом по компасу и наиболее заметным объектам местности.

— Мы прошли через долину Ньяндаруа и теперь поднимаемся по восточному склону Абердарского хребта.

Между тем отряд сильно растянулся. Мы с Наоми шли чуть ли не самыми последними, помогая старикам, женщинам с младенцами и беременной Хоуп. Но если у остальных сил, чтобы одолеть подъем, еще кое-как хватало, то Хоуп слабела буквально на глазах и все чаще останавливалась. Во время одной такой передышки она пробормотала, положив руки на живот:

— Я думаю... мне кажется...

— Свяжись с Тен по этой штуке, — потребовал я у Наоми. Женщина пробормотала что-то в микрофон, потом покачала головой:

— Она не отвечает.

— Почему?

— Не знаю. Тен не отвечает.

Я бросился бежать. Спотыкаясь, падая, я едва ли не на четвереньках вскарабкался на гребень очередной возвышенности. Далее ландшафт снова резко менялся, как это бывает только в занятых чаго районах. Вместо мхов я увидел похожие на гигантские пшеничные колосья деревья, росшие такими ровными рядами, будто их высадили здесь люди.

Тен была уже в сотне метров ниже по склону. Она стояла неподвижно, как статуя, среди колосьев-переростков, крепко упершись в землю своим посохом. На мой крик она никак не отреагировала, и я подбежал к ней.

— Тен, Хоуп не может идти дальше. Нам придется остановиться.

— Нет! — крикнула в ответ Тен. На меня она даже не посмотрела, взгляд ее по-прежнему был устремлен куда-то вперед, в просвет между рядами деревьев.

— Тен!.. — Я схватил ее за руку и заставил повернуться ко мне. Лицо моей любимой отражало одержимость, страх, решимость, печаль, радость, словно в зарослях этих чужих деревьев она увидела что-то до боли знакомое.

— Но, Тен, ты же обещала!

— Шан! Шан! Я знаю, где мы! Я знаю это место! Там перевал, а здесь проходило шоссе, вот долина, а вот — река. А там, Шан, там — Гичичи!.. — Она оглянулась назад и крикнула, обращаясь к появившимся между деревьями фигурам: — Высочайший, это Гичичи! Мы дошли. Мы — дома!

Потом Тен бросилась вперед. Свой посох она держала на плече наподобие охотничьего копья. Она легко перепрыгивала через обломки скал и упавшие стволы, она поднимала тысячи брызг, наступая ногой в ручьи и канавы, она ловко огибала встающие на пути кусты и деревья. Я помчался за ней, но догнать Тен мне было не под силу, и вскоре я потерял ее из виду.

Я нашел ее на поляне. Тен стояла перед стволом упавшего пшеничного дерева, повалившего соседние деревья, словно костяшки домино. Ее посох был глубоко воткнут в мягкую землю. Тен не обернулась, и я понял, что не должен ей мешать. Я не произнес ни слова и не сделал ни одного шага, догадавшись, что стал свидетелем настоящего чуда.

Тен опустилась на колени. Закрыла глаза. Крепко уперлась ладонями в моховую подстилку. В следующую секунду я увидел, как от кончиков ее пальцев по чаго-мху разбежались извилистые темные линии, похожие на черные молнии. Они перекрещивались, соединялись между собой, пробивая новые дорожки, пока весь мшистый покров земли не стал похож на потрескавшуюся глазурь старой китайской вазы.

И все эти трещины сходились к Тен. Она была создательницей и повелительницей этой тончайшей паутины, и чаго-мох потянулся к ее нитям, как собираются вдоль линий напряженности магнитного поля железные опилки. Под колышущимся зеленоватым покровом, как ребра под кожей, появлялись и исчезали какие-то фигуры. Они образовывали прямоугольники, квадраты, медленно приподнимавшие слой чаго. Вскоре я догадался, что это такое. Я видел, как из небытия вновь возникают заборы и стены когда-то стоявших здесь домов. Частица за частицей, миллиметр за миллиметром вставал из земли поселок Гичичи.

К тому моменту, когда остальные спустились с вершины и подошли к нам, стены были уже по пояс высотой, а из земли вырастали электрогенераторы, водяные насосы, обогревательные батареи, ячейки нанофабрик и другие необходимые механизмы и приспособления. Беглецы и воины в одинаковом изумлении бродили между ними, разглядывая блестящие, словно фарфоровые, стены, которые продолжали расти и тянуться вверх.

Много позже Тен обратила на меня внимание.

Подняв голову, она посмотрела мне в глаза. Ее зубы были крепко сжаты, волосы спутались, пот тек по щекам и по лбу, собираясь на подбородке. Глаза Тен ввалились, лицо осунулось: столь интенсивное программирование миллиардов нанопроцессоров потребовало от нее колоссальных физических затрат.

— Мы можем контролировать его, Шан, — прошептала она. — Мы можем построить такой новый мир, какой захотим. И сделать его своим домом.

Высочайший положил руку на ее плечо:

— Достаточно, дитя мое. Остановись. Теперь чаго сумеет закончить и без тебя.

Тен кивнула. Прервав заклинание, она повалилась набок, тяжело, хрипло дыша и дрожа всем телом.

— Все, кончено... — прошептала она. — Шан...

Она так и не научилась произносить мое имя правильно. Я наклонился и поднял Тен на руки. Вокруг нас бесшумно и быстро вырастал поселок; он раскрывал крыши, будто зонтики, высаживал сады и заплетал вьюнками извилистые улочки. Слова были не нужны. Тен сказала все, что могла, но совсем близко раздался исполненный страдания и радости крик рожающей женщины, и я впервые подумал о том, что имя Хоуп значит «надежда».

Мы начали с поселка и поселком заканчиваем. Это совсем разные поселки в двух разных мирах, но их объединяет одно — название. Кажется, я уже говорила, что имена очень важны. Оджок, сын Хоуп, стал нашим первым гражданином. Сейчас ему только два, но каждый день через перевал к нам приходят все новые люди — чтобы остаться здесь насовсем. Сейчас в Гичичи живет уже две тысячи человек, и население продолжает расти. Пятьсот домов выстроились вдоль края долины, и перед каждым есть свой сад-шамба и компактная нанофабрика, которая может производить все, что необходимо человеку. Гичичи славится своими нанопрограммистами, и мы с удовольствием одалживаем их жителям деревень и поселков, которые, как грибы после дождя, появились в долине Ньери и у подножия горы Кения. Насколько мне известно, сейчас там возводится огромный город и зарождается новая цивилизация, но пройдет, конечно, еще очень много времени, прежде чем она наберет силу. Что касается Гичичи, то мы здесь богаты по-своему. У нас есть общественный культурный центр, кондитерская лавка, три бара, парикмахерская и даже небольшой театр. Только церкви в Гичичи нет. Пока нет. Если к нам придут христиане, они, возможно, построят здесь

храм. Я надеюсь, что они освятят его в честь Святого Иоанна и вьюнки снова оплетут его стены и окна.

Наша жизнь по-прежнему небезопасна. Армия Освобождения Кении объединилась с другими бандитскими группировками, а через компьютерную сеть мы узнали, что западные державы усиливают блокаду занятых чаго районов. Нападения на наши поселки — особенно вдоль северной границы — стали обычным делом, и у меня нет оснований считать, что Гичичи ничто не угрожает. Должно быть, сейчас мы пугаем власти предержащие больше, чем когда бы то ни было. К счастью, биоконтейнеры падают на Землю все так же регулярно, а это значит, что мир продолжает меняться. Кроме того, жизнь никогда не может чувствовать себя в полной безопасности — ей всегда что-то угрожает. Эта истина, которую преподал мне брат Дуст, оказалась настолько близка к реальности, насколько это вообще возможно, а я хорошо усвоила его уроки.

И все же я верю в будущее. Скоро в списках жителей Гичичи — этого уютного и прекрасного поселка в плодородной долине между отрогами Абердарского хребта — появится новое имя. Разумеется, мы с Шаном все время спорим, как мы назовем нашу дочь. Он хочет назвать ее в честь времени суток, когда ребенок появится на свет, а я предпочла бы что-нибудь ирландское.

— Но ведь ты не можешь выговорить правильно ни одного ирландского имени! — смеется Шан, а я уверена — мы что-нибудь придумаем. И дело вовсе не в имени. Я не сомневаюсь, что как бы мы ни назвали нашу дочь, у нее будет своя жизнь и своя история. Моя же история заканчивается здесь, и я прощаюсь с вами, чтобы вернуться к своим делам, как вы возвращаетесь к своим, ибо перед нами лежит еще долгий путь.